КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

1926

КНИГА
ТРЕТЬЯ
МАРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

КРАСНАЯ НОВЬ

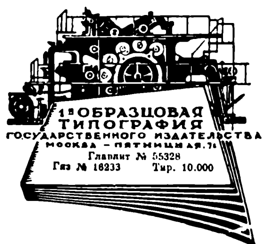
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 3

МАРТ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1926 ЛЕНИНГРАД


1-я ОБРАЗЦОВАЯ
ТИПОГРАФИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА
МОСКВА — ПЯТНИЦКАЯ, 71
Главлит № 55328
Гиз № 18233 Тир. 10.000

Дело Артамоновых.

(2-й отрывок из романа) [1].

М. Горький.

... До двадцати шести лет Яков Артамонов жил хорошо, спокойно, не испытывая никаких особенных неприятностей, но затем время, враг людей, которые любят спокойную жизнь, начало играть с Яковом запутанную, бесчестную игру. Началось это в апреле, ночью, года три спустя после мятежей, встряхнувших терпеливый народ.

Яков лежал на диване и курил, наслаждаясь ощущением насыщенности, исключающей все желания; это ощущение он ценил выше всего в жизни, видя в нем весь ее смысл. Оно являлось одинаково приятным и после вкусного обеда, и после обладания женщиной.

Женщина, кругленькая и стройная, стояла среди комнаты у стола, задумчиво глядя на сердитый, лиловый огонь спиртовки под кофейником; ее голые руки и детское лицо, освещенные огнем лампы под красным абажуром, окрашивались в цвет вкусно поджаренной корочки пирога. Растрепанные темные волосы картинно осыпали шею и плечи. На голом теле Полины золотисто-желтый бухарский халат, на ногах — зеленые, сафьяновые туфли. В ней есть что-то очень легкое, не русское; у нее милая рожица подростка-мальчишки; пухлые губы, задорные глаза, круглые, как вишни; даже в этот час, когда Яков сыт ею, она приятна ему. Она, конечно, несравнимо лучше всех девиц и женщин, которых он знал, и была бы совершенно хороша, если б не ее глупый, неуловимый характер.

— Я не хочу кофею, Апельсинчик, — сказал Яков сквозь густую пелену дыма папиросы.

Полина, не взглянув на него, спросила:

— А я?

— Не знаю, чего ты хочешь, — ответил Яков, устало зевнув.

— Нет, знаешь, — схватив его слова налету и встряхнув головою, заговорила женщина ломким голосом.

---

[1]) От редакции. Яков, Мирон и Илья — третье поколение Артамоновых — сыновья Петра Артамонова (см. «Кр. Новь», №№ 1 и 2). Время действия — эпоха 1907—1918 г.г.

Послушав минуту, две ее царапающие, крючковатые слова, Яков сел, бросил папиросу на пол и, надевая ботинки, сказал, вздохнув:

— Не понимаю твоей привычки портить хорошее настроение! Ведь ты знаешь: я не могу жениться, пока отец не помер...

Тут, как всегда, Полина осыпала его обидными словами:

— Конечно, тебе, паук, только бы хорошее настроение. Я знаю, ты для хорошего настроения готов продать меня татарину, старьевщику, да. Ты — бесчестный человек...

Яков особенно не любил, когда она именовала его пауком, в ласковые минуты у нее было для него другое забавное имя — Солененький. И ему казалось, что уж сегодня-то она могла бы воздержаться от ссоры: за два часа пред этим он дал ей сто рублей.

— Криком ты ничего не добьешься, — спокойно предупредил он ее, надев шляпу, протягивая руку. — До свиданья!

— Свинья! И опять окурков на пол набросал...

По улице метался сырой ветер, тени облаков ползали по земле, как бы желая вытереть лужи, на минуту выглядывала луна, и вода в лужах, покрытая тонким льдом, блестела медью. В этот год зима упрямо не уступала место весне: еще вчера густо падал снег.

Яков Артамонов шел не торопясь, сунув руки в карманы, держа под мышкой тяжелую палку, и думал о том, как необъяснимо, странно глупы люди. Что нужно милой дурочке Полине? Она живет спокойно, не имея никаких забот, получает не мало подарков, красиво одевается, тратит около ста рублей в месяц. Яков знал, чувствовал, что он ей нравится. Ну, что же еще? Почему она хочет венчаться?

— Глупо, как мышь в банке варенья, — заключил он любимой, им самим придуманной, поговоркой. Жизнь казалась ему простой, не требующей от человека ничего, кроме того, чем он уже обладает. В сущности ведь ясно: все люди стремятся к одному и тому же—к полноте покоя; суета дня — это только малоприятное введение к тишине ночи, к тем часам, когда остаешься один на один с женщиной, а потом, приятно утомленный ее ласками, спишь без сновидений. В этом — все действительно значительное и настоящее. Люди — глупы уже потому, что почти все они, скрыто или явно, считают себя умнее его; это им кажется потому, что они зачем-то выдумывают очень много лишнего; возможно, что они делают это по силе какой-то слепоты: каждый хочет отличиться от всех других, боясь потерять себя в людях, боясь не видеть себя.

Глуп Илья, запутавшийся в книгах еще тогда, когда он учился в гимназии, а теперь заболтавшийся где-то среди социалистов. Много обидного видел от него Яков, а теперь вот, недавно пришлось посылать Илье денег куда-то в Сибирь. Отличился. Невыносимо, хотя и смешно, глупа мать; еще более невыносимо и тяжело глуп угрюмый отец, старый медведь, явно не умеющий жить с людями, пьяный и грязный. Смешон суетливый попрыгун дядя Алексей; ему хочется попасть в государственную думу, ради этого он жадно питается газетами, стал фальшиво ласков со всеми

в городе и заигрывает с рабочими фабрики, точно старая распутная баба. Особенно же и как-то подавляюще, страшно глуп этот носатый дятел Мирон; считая себя самым отличным умником в России, он, кажется, видит себя в будущем министром и уже теперь не скрывает, что только ему одному ясно, что надо делать, как все люди должны думать. Он тоже старается притереться к рабочим, устраивает для них различные забавы, организовал команды футболистов, завел библиотеку, он хочет прикормить волков морковью. Рабочие ткут великолепное полотно, одеваясь в лохмотья, живя в грязи, пьянствуют; они в массе околдованы тоже какой-то особенной глупостью, дерзко открытой, лишенной даже той простенькой, хозяйственной хитрости, которая есть у каждого мужика. О рабочих Якову Артамонову приходилось думать больше, чем о всем другом, потому что он ежедневно сталкивался с ними и давно, еще в юности, они внушили ему чувство вражды: он имел тогда немало резких столкновений с молодыми ткачами из-за девиц и до сего дня некоторые из его соперников, видимо, не забыли старых обид. Когда он был еще безбородым, в него дважды по ночам бросали камнями. Матери тогда не однажды приходилось откупаться деньгами от скандалов и бабьего визга, при этом она смешно уговаривала его:

— Что уж это ты, как петух! Подождал бы, когда женишься, или уж заведи одну и — живи! Пожалуются на тебя отцу, так он тебя, как Илью, прогонит...

За два, три мятежных года Яков не заметил ничего особенно опасного на фабрике, но речи Мирона, тревожные вздохи дяди Алексея, газеты, которые Артамонов младший не любил читать, но которые с навязчивой услужливостью и нескрываемой, злорадной угрозой рассказывали о рабочем движении, печатали речи представителей рабочих в думе,—все это внушало Якову чувство вражды к людям фабрики, обидное чувство зависимости от них. Ему казалось, что он уже научился искусно скрывать это чувство под мелкой уступчивостью их требованиям, под улыбками и шуточками. Но в общем все шло не плохо, хотя иногда внезапно охватывало и стесняло какое-то смущение, как будто он, Яков Артамонов, хозяин, живет в гостях у людей, которые работают на него, давно живет и надоел им, они скучно помалкивая смотрят на него так, точно хотят сказать:

— Что ж ты не уходишь? Пора!

В часы, когда он испытывал это, у него являлось смутное предчувствие, что на фабрике скрыто и невидимо тлеет, дымится что-то крайне опасное для него, лично для него.

Яков был уверен, что человек — прост, что всего милее ему — простота и сам он, человек, никаких тревожных мыслей не выдумывает, не носит в себе. Эти угарные мысли живут где-то вне человека и, заражаясь ими, человек становится тревожно непонятным. Лучше не знать, не раздувать эти чадные мысли. Но, будучи враждебен этим мыслям, Яков чувствовал их наличие вне себя и видел, что они, не развязывая тугих узлов всеобщей глупости, только путают все то простое, ясное, чем он любил жить.

Умнее всех людей, которых он знал, ему казался старик Тихон Вялов; наблюдая его спокойное отношение к людям, его милостивую работу, Яков завидовал дворнику. Тихон даже спал умно, прижав ухо к подушке, к земле, как будто подслушивая что-то.

Он спросил старика:

— Ты сны видишь?

— Зачем? Я не баба, — сказал Тихон, и под словами его Яков почувствовал что-то густое, устоявшееся, непоколебимо сильное.

— Бабьи сны, — думал Артамонов младший, слушая споры и речи в доме дяди Алексея, думал и внутренно усмехался.

Вообще же он думал трудно, а задумываясь двигался тяжело, как бы неся большую тяжесть, и, склонив голову, смотрел под ноги. Так шел он и в ту ночь от Полины; поэтому и не заметил, откуда явилась пред ним приземистая, серая фигура, высоко взмахнула рукою. Яков быстро опустился на колено, тотчас выхватил револьвер из кармана пальто, ткнул в ногу нападавшего человека, выстрелил; выстрел был глух и слаб, но человек отскочил, ударился плечом о забор, замычал и съехал по забору на землю. Лишь после этого Яков почувствовал, что он смертельно испуган, испуган так, что хотел закричать и не мог; руки его дрожали и ноги не послушались, когда он хотел встать с колен. В двух шагах от него возился на земле, тоже пытаясь встать, этот человек, без шапки, с курчавой головою.

— Застрелю, сволочь,— хрипло сказал Яков, вытягивая руку с револьвером.

Человек повернул к нему широкое лицо и пробормотал:

— Застрелили уж... Будет.

Тут Яков узнал его, тоже забормотал изумленно:

— Носков? Ах, подлец! Ты?

Страх Якова быстро уступал чувству, близкому радости; это чувство было вызвано не только сознанием, что он счастливо отразил нападение, но и тем, что нападавший оказался не рабочим с фабрики, как думал Яков, а чужим человеком. Это — Носков, охотник и гармонист, игравший на свадьбах, одинокий человек; он явился в городе после смутного шестого года и с той поры жил на квартире у дьяконицы Параклитовой; о нем до этой ночи никто в городе не говорил ничего худого.

— Так вот чем ты занимаешься? — сказал Яков и встал на ноги, оглядываясь; было тихо, только ветер встряхивал сучки деревьев над забором.

— А — чем я занимаюсь?— вдруг громко спросил Носков.— Я пошутить хотел, попугать вас, больше ничего. А вы — сразу — бац. За это не похвалят, глядите. Я сам испугался...

— Ах, вот как? — насмешливо, тоном победителя, сказал Артамонов. — Ну, вставай, идем в полицию.

— Итти я не могу, вы меня изувечили.

Носков поднял шапку и, глядя внутрь ее, прибавил:

— А полиции я не боюсь.

— Ну, там увидим. Вставай.

— Не боюсь,—повторил Носков.—Чем вы докажете, что я на вас напал, а не вы на меня, с испуга? Это — раз!

— Так. А — два? — спросил Яков, усмехнувшись, но несколько удивляясь спокойствию Носкова.

— Есть и два. Я для вас человек полезный.

— Это — сказка. Это из сказки.

И, направив револьвер в лицо гармониста, Яков с внезапной злостью пригрозил:

— Вот я тебе башку размозжу.

Носков поднял глаза и, снова опустив их в шапку, сказал внушительно:

— Не затевайте скандала. Доказать вы ничего не можете, хотя и богатый. Я говорю: пошутить хотел. Я папашу вашего знаю, много раз на гармонии играл ему.

Он резким жестом взбросил шапку на голову, наклонился и стал приподнимать штанину, мыча сквозь зубы, потом, вынув из кармана платок, начал перевязывать ногу, раненую выше колена. Он все время что-то бормотал невнятно, но Яков не слушал его слов, вновь обескураженный странным поведением неудачного грабителя.

С необыкновенной для него быстротой Яков Артамонов соображал: «Конечно, надо оставить Носкова тут у забора, итти в город, позвать ночного сторожа, чтобы он караулил раненого, затем итти в полицию заявить о нападении. Начнется следствие, Носков будет рассказывать о кутежах отца у дьяконицы. Может быть, у него есть друзья, такие же головорезы, они, возможно, попытаются отомстить. Но нельзя же оставить этого человека без возмездия...».

Ночь становилась все холоднее; рука, державшая револьвер, ныла от холода; до полицейского управления — далеко, там, конечно, все спят. Яков сердито сопел, не зная как решить, сожалея, что сразу не застрелил этого коренастого парня, с такими кривыми ногами, как будто он всю жизнь сидел верхом на бочке. И вдруг он услыхал слова, поразившие его своей неожиданностью:

— Я вам прямо скажу, хотя это — секрет, — говорил Носков, все зозясь с ногою своей. — Я тут для вашей пользы живу, для наблюдения за рабочими вашими. Я, может быть, нарочно сказал, что хотел напугать вас, а мне, на самом-то деле, надо было схватить одного человека, я и опознался...

— Ч-чорт, — сказал Яков. — Как?

— Да, вот так... Вы — не знаете, а у дьяконицы в бане собираются социалисты и опять говорят о бунте, книжки читают...

— Врешь, — тихо сказал Яков, веря ему. — А — кто? Кто собирается?

— Этого я не могу сказать. Арестуют, узнаете.

Носков, держась за доски забора, встал и попросил:

— Дайте мне палку, без нее я не дойду...

Наклонясь, Яков поднял палку, подал ему и оглянулся, тихо спрашивая:

— Но тогда как же ты, зачем же вы набросились на меня?

— Я — не набрасывался. Я — опознался. Мне нужно было не вас, а другого. Вы все это оставьте. Ошибка. Вы увидите скоро, что я говорю правду. Должны дать мне денег на лечение ноги. Вот что...

И, придерживаясь за забор, опираясь на палку, Носков начал медленно переставлять кривые ноги, удаляясь прочь от огородов, в сторону темных домиков окраины, шел и как бы разгонял холодные тени облаков, а, отойдя шагов десять, позвал негромко:

— Яков Петрович!

Яков подошел к нему очень близко. Носков сказал:

— Вы об этом случае — никому ни словечка! А то... Сами понимаете.

Он взмахнул палкой и пошел дальше, оставив Якова отупевшим. Приходилось думать сразу о многом и нужно было сейчас же решить: так ли он поступил, как следовало? Конечно, если Носков занимается наблюдением за социалистами, это — полезный, даже необходимый человек, а если он наврал, обманул, чтобы выиграть время и потом отомстить за свою неудачу и за выстрел? Он врет, что опознался и что хотел напугать, врет, это ясно. А вдруг он подкуплен рабочими, чтобы убить? Среди ткачей на фабрике была большая группа буянов, озорников, но социалистов среди них трудно вообразить. Наиболее солидные рабочие, как Седов, Крикунов, Маслов и другие, сами недавно предложили, даже требовали, чтоб контора рассчитала одного из наиболее неукротимых безобразников. Нет, Носков, наверное, обманул. Нужно ли рассказать об этом Мирону? Яков не мог представить, что будет, если рассказать о Носкове Мирону, но, разумеется, брат начнет подробно допрашивать его, как судья, в чем-то обвинит и, наверное, так или иначе, высмеет. Если Носков шпион — это, вероятно, известно Мирону. И, наконец, все-таки не совсем ясно — кто ошибся? Носков или он, Яков? Носков сказал:

— Скоро увидите, что я говорю правду.

Он смотрел вслед охотнику до поры, пока тот не исчез в ночных тенях. Как будто все было просто и понятно: Носков напал с явной целью ограбить, Яков выстрелил в него, а затем начиналось что-то тревожно-запутанное, похожее на дурной сон. Необыкновенно идет Носков вдоль забора и необыкновенно густыми лохмотьями ползут за ним тени; Яков впервые видел, чтоб тени так тяжко тащились за человеком...

Задерганный думами, устав от них, Артамонов младший решил молчать и ждать. Думы о Носкове не оставляли его, он хмурился, чувствовал себя больным, и в обед, когда рабочие выходили из корпуса, он, стоя у окна в конторе, присматривался к ним, стараясь догадаться: кто из них социалист? Неужели — кочегар Васька, чумазый, хромой, научившийся у плотника Серафима ловко складывать насмешливые частушки?

Через несколько дней Артамонов младший, проезжая застоявшуюся лошадь, увидел на опушке леса жандарма Нестеренко в шведской куртке, в длинных сапогах, с ружьем в руке и туго набитым птицей ягдташем на боку. Нестеренко стоял лицом к лесу, спиною к дороге и, наклоня голову, подняв руки к лицу, раскуривал папиросу; его рыжую кожаную спину освещало солнце и спина казалась железной. Яков тотчас решил, что нужно делать, подъехал к нему, торопливо поздоровался:

— А я не знал, что вы здесь!

— Третий день; жене моей, батенька, все хуже, да-с!

Это печальное сведение Нестеренко сообщил очень оживленно и тотчас, хлопнув рукою по ягдташу, прибавил:

— А я, вот! Не плохо, а?

— Вы знаете Носкова, охотника?—спросил Яков негромко; рыжеватые брови офицера удивленно всползли кверху, его китайские усы пошевелились, он придержал один ус, сощурился, глядя в небо; все это вызвало у Якова догадку:

— Соврет.

— Но—как? Носков? Кто это?

— Охотник. Курчавый, кривоногий.

— Да? Как будто видел такого в лесу. Скверное ружьишко... А что?

Теперь офицер смотрел в лицо Якова пристальным, спрашивающим взглядом серых глаз с какой-то светленькой искрой в центре зрачка; Яков быстро рассказал ему о Носкове. Нестеренко выслушал его, глядя в землю, забивая в нее прикладом ружья сосновую шишку, выслушал и спросил, не подняв глаз:

— Почему же вы не заявили полиции? Это — ее дело, батенька, и это ваша обязанность.

— Я же говорю: он будто бы шпионит за рабочими, а это — ваше дело...

— Так, — сказал жандарм, гася папиросу о ствол ружья, и, снова глядя прищуренными глазами прямо в лицо Якова, внушительно начал говорить что-то не совсем понятное; выходило, что Яков поступил незаконно, скрыв от полиции попытку грабежа, но что теперь уж заявлять об этом поздно.

— Если бы вы его тогда же сволокли в полицейское управление, ну — дело ясное! Но и то не совсем. А теперь как вы докажете, что он нападал на вас? Ранен? Ба! В человека можно выстрелить с испуга. Случайно, по неосторожности...

Яков чувствовал, что Нестеренко хитрит, путает что-то, даже как бы хочет запугать и отодвинуть его или себя в сторону от этой истории; а когда офицер сказал о возможности выстрела с испуга, подозрение Якова упрочилось:

— Врет.

— Да-с, батенька. За то, что он выдает себя каким-то наблюдателем, этот гусь, конечно, поплатится. Мы спросим его, что он знает.

И, положив руку на плечо Якова, офицер сказал:

— Вот что: вы мне дайте честное слово, что все это останется между нами. Это — в ваших интересах, понимаете? Итак: честное слово?

— Конечно. Пожалуйста.

— Вы не скажете об этом ни дяде, ни Мирону Алексеевичу, — вы действительно не говорили еще им? Ну, вот. Предоставим это дело его внутренней логике. И — никому ни звука! Так? Охотник сам себя ранил, вы тут не при чем.

Яков улыбался: с ним говорил другой человек, веселый, добродушный.

— До свидания, — говорил он. — Помните: честное слово!

Артамонов младший возвратился домой несколько успокоенный; вечером дядя предложил ему съездить в губернию, он уехал с удовольствием, а через восемь дней, возвратясь домой и сидя за обедом у дяди, с новой тревогой слушал рассказ Мирона:

— Нестеренко оказался не таким бездельником, как я думал, он и в городе поймал троих: учителя Модестова и еще каких-то.

— А у нас? — спросил Яков.

— У нас: Седова, Крикунова, Абрамова и пятерых помоложе. Хотя арестовывать приезжали жандармы из губернии, но, разумеется, это дело Нестеренко, и, таким образом, жена его хворает с явной пользой для нас. Да, он не глуп: Боится, чтоб его не кокнули...

— Теперь — перестали убивать, — заметил Алексей.

— Н-ну, — сказал Мирон. — Да! — В городе арестован еще этот охотник.

— Носков? — тихо, испуганно спросил Илья.

— Не знаю. Он жил у дьяконицы, у нее же в бане устраивали свои конгрессы эти революционеры. А в доме у нее — и с нею, — забавлялся твой отец, как тебе известно. Совпадение — дряненькое...

— Да уж, — сказал Алексей, мотнув лысой головою. — Что с ним делать?

У Якова потемнело в глазах, и он уже не мог слушать, о чем говорит дядя с братом. Он думал: Носков арестован; ясно, что он тоже социалист, а не грабитель, и что это рабочие приказали ему убить или избить хозяина; рабочие, которых он, Яков, считал наиболее солидными, спокойными! Седов, всегда чисто одетый, и уже немолодой; вежливый, веселый слесарь Крикунов; приятный Абрамов, певец и ловкий на все руки работник. Можно ли было думать, что эти люди тоже враги его?

Ему показалось даже, что за эти дни в доме дяди стало еще более крикливо и суетно. Золотозубый доктор Яковлев, который никогда ни о ком, ни о чем не говорил хорошо, а на все смотрел издали, чужими глазами, посмеиваясь, стал еще более заметен и как-то угрожающе шелестел газетами.

— Да, — говорил он, сверкая зубами. — Шевелимся, просыпаемся! Люди становятся похожи на обленившуюся прислугу, которая, узнав

о внезапном, неожиданном ею возвращении хозяина и боясь расчета, торопливо, нахлестанная испугом, метет, чистит, хочет привести в порядок запущенный дом.

— Двусмысленно говорите вы, доктор, — заметил Мирон, поморщившись. — Этот ваш анархизм, скептицизм...

Но доктор говорил все громче, речи его становились длиннее, слова внушали Якову тревогу. Казалось, что и все чего-то боятся, грозят друг другу несчастиями, взаимно раздувают свои страхи. Можно было думать даже так, что люди боятся именно того, что они сами же делают, своих мыслей и слов. В этом Яков видел нарастание всеобщей глупости, сам же он жил страхом невыдуманным, а вполне реальным, всей кожей чувствуя, что ему на шею накинута петля, невидимая, но все более тугая и влекущая его навстречу большой, неотвратимой беде.

Его страх возрос еще более месяца через два, когда снова в городе явился Носков, а на фабрике—Абрамов, гладко обритый, желтый и худой.

— Возьмете меня, старика? — спросил он улыбаясь.

Яков не посмел отказать ему.

— Что, трудно в тюрьме? — спросил он.

Абрамов ответил все с тою же улыбкой:

— Тесно очень! Если б тиф не помогал начальству — не знаю, куда бы оно сажало народ!

«Да, — подумал Яков, — ты улыбаешься, а я знаю, что ты думаешь».

В тот же вечер Мирон из-за Абрамова устроил ему оскорбительную сцену, почти накричал на него, даже топнул ногою, как на лакея.

— Ты с ума сошел? — кричал он, и нос его покраснел со зла. — Завтра же дай расчет...

А через несколько дней, когда он утром купался в Оке, его застигли поручик Маврин и Нестеренко; они подъехали в лодке, усатой от множества удилищ. Хладнокровный поручик поздоровался с Яковом небрежным кивком головы, молча, и тотчас же отъехал на середину реки, а Нестеренко, раздеваясь, тихо сказал:

— Вы напрасно не приняли Абрамова, очень жалею, что не мог предупредить вас.

— Это — Мирон, — пробормотал Артамонов младший, чувствуя, что слова офицера крепко пахнут спиртом.

— Да? — спросил Нестеренко. — Это не от вас зависело?

— Нет.

— Жаль. Парень этот был бы полезен. Приманка. Живец.

И, глядя на Якова глазами соучастника, голый, золотистый на солнце, блестя кожей, как сазан чешуей, офицер снова спросил:

— А приятеля вашего — видели? Охотника?

Нестеренко засмеялся тихим смехом самодовольного человека.

— Знаете, что его побудило охотиться на вас? Ружье хотел купить, двустволку. Все — страсти, батенька, страсти руководят людями, да-с!

Он, охотник, будет очень полезен теперь, когда я его крепко держу за горло благодаря его ошибке с вами...

— Какая же ошибка, когда вы говорите...

— Ошибка, сударь мой, ошибка! — настойчиво повторил офицер и, разбрызгивая воду, крестя голую грудь, пошел в реку, шагая как лошадь.

«Чорт вас всех побери!» — уныло подумал Яков.

Вдруг, — точно дверь закрыли в комнату; где был шум, — пришла смерть.

Среди ночи Якова разбудила, всхлипывая, мать:

— Вставай скорее, Тихон прискакал, дядя Алексей скончался.

Яков вскочил, забормотал:

— Как же это! Он и не хворал, ведь...

Пошатываясь, тяжко дыша, в дверь влез отец.

— Тихон, — ворчал он. — Где Тихон, там уж добра не жди! Вот Яков, а? Вдруг...

Босый, в халате, накинутом на ночное белье, он дергал себя за ухо, оглядывался, точно попал в незнакомое место, и ухал:

— Ух...

— Как же это? — недоумевал Яков.

— Без покаяния, — сказала мать, похожая на огромный мешок муки.

Поехали на бричке; Яков сидел за кучера, глядя, как впереди подпрыгивает на коне Тихон, а сбоку от него, по дороге стелется, пляшет тень, точно пытаясь зарыться в землю.

Ольга встретила их на дворе; она ходила от сарая к воротам туда и обратно, в белой юбке, в ночной кофте; при свете луны она казалась синеватой, прозрачной; и было странно видеть, что от ее фигуры на лысый булыжник двора падает густая тень.

— Вот и кончилась моя жизнь, — тихонько сказала она.

Черная собака Кучум неотвязно шагала вслед за нею.

На скамье, под окном кухни, сидел согнувшись Мирон; в одной его руке дымилась папироса, другою он раскачивал очки свои, блестели стекла, тонкие золотые ниточки сверкали в воздухе; без очков нос Мирона казался еще больше. Яков молча сел рядом с ним, а отец, стоя посреди двора, смотрел в открытое окно, как нищий, ожидая милостыни. Ольга возвышенным голосом рассказывала Наталье, глядя в небо:

— Не заметила я, когда... Вдруг плечико у него стало смертно холодное, ротик открылся. Не успел, родной, сказать мне последнее слово свое. Вчера пожаловался: сердце колет.

Рассказывала Ольга тихо и от слов ее тоже, как будто, падали тени.

Мирон, бросив погасшую папиросу, боднул Якова головою в плечо и тихонько провыл:

— Т-ты не знаешь, какой он хороший...

— Что ж делать? — ответил Яков, не находя иных слов. Надобно было сказать что-нибудь и тетке, а — что скажешь? Он замолчал, глядя в землю, шаркая ногою по ней.

Отец, крякнув, осторожно пошел в дом, за ним на цыпочках пошел и Яков. Дядя лежал, накрытый простынею, на голове его торчал рогами узел платка, которым была подвязана челюсть, большие пальцы ног так туго натянули простыню, точно пытались прорвать ее. Луна, обтаявшая с одного бока, светло смотрела в окно. Шевелилась кисея занавески; на дворе взвыл Кучум и, как бы отвечая ему, Артамонов старший сказал ненужно громко, размашисто крестясь:

— Жил легко и помер легко...

Из окна Яков видел, что теперь по двору рядом с теткой ходит Вера Попова, вся в черном, как монахиня, и Ольга снова рассказывает возвышенным голосом:

— Во сне скончался...

— Не дури! — тихо крикнул Вялов; он, вытирая лошадь клочками сена, мотал головою, не давая коню схватить губами его ухо; Артамонов старший тоже взглянул в окно, проворчал:

— Орет дурак; ничего не понимает...

— Ничего не надо говорить? — подумал Яков, выходя на крыльцо, и стал смотреть, как тени черной и белой женщин стирают пыль с камней; камни становятся все светлее. Мать шепталась с Тихоном; он согласно кивал головою, конь тоже соглашался: в глазу его светилось медное пятно. Вышел из дома отец, мать сказала ему:

— Никите Ильичу депешу бы послать, Тихон знает, где он.

— Тихон знает! — сердито повторил отец. — Пошли, Мирон...

Мирон встал, пошел, задел плечом косяк двери и погладил косяк ладонью.

— Илье тоже пошли, — сказал Артамонов старший вслед ему.

Из темной дыры, прорезанной в стене, Мирон ответил:

— Илья не может приехать.

— Ведь я с ним тридцать лет прожила, — рассказывала Ольга, и точно сама удивлялась тому, что говорит.—Да еще до венца четыре года дружились. Как же теперь я буду?

Отец подошел к Якову.

— Илья где?

— Не знаю.

— Врешь?

— Не время теперь говорить об Илье, папаша.

Во двор поспешно вошел доктор Яковлев, спросил.

— В спальне?

«Дурак, — подумал Яков. — Ведь не воскресишь».

Его угнетала невозможность пропустить мимо себя эти часы уныния. Все кругом было тягостно, не нужно: люди, их слова, рыжий конь, лоснившийся в лунном свете, как бронза, и эта черная, молча скорбевшая

собака. Ему казалось, что тетка Ольга хвастается тем, как хорошо она жила с мужем; мать в углу двора всхлипывала как-то распущенно, фальшиво, у отца остановились глаза, одеревенело лицо и все было хуже, тягостнее, чем следовало быть.

В день похорон дяди Алексея на кладбище, когда гроб уже опустили в могилу и бросали на него горстями желтый песок, явился дядя Никита.

«Вот еще», — подумал Яков, разглядывая угловатую фигуру монаха, прислонившуюся к стволу березы, им же и посаженной.

— Опоздал ты, — сказал ему отец, подходя к брату, вытирая слезы с лица. Монах втянул, как черепаха, голову свою в горб. Вид у него был нищий; ряса выгорела на солнце, клобук принял окраску старого жестяного ведра, сапоги стоптаны. Пыльное его лицо опухло, он смотрел мутными глазами в спины людей, окружавших могилу, и что-то говорил отцу неслышным голосом, дрожала серая бороденка. Яков исподлобья оглянулся, — монаха любопытно щупали десятки глаз: наверное люди смотрят на уродливого брата и дядю богатых людей и ждут, не случится ли что-нибудь скандальное? Яков знал, что город убежден: Артамоновы спрятали горбуна в монастырь для того, чтоб воспользоваться его частью наследства после отца.

Толстый, благодушный священник отец Николай тенористо уговаривал Ольгу:

— Не станем оскорблять стенанием и плачем господа бога нашего, ибо воля его...

А Ольга отвечала все тем же возвышенным голосом:

— Да ведь я не плачу, не жалуюсь я!

Руки у нее дрожали, она странно судорожными жестами ошаривала юбку свою, хотела спрятать в карман мокрый от слез комочек платка.

Тихон Вялов умело засыпал могилу, помогая сторожу кладбища; у могилы, остолбенело вытянувшись, стоял Мирон, а горбатый монах тихо, жалобно говорил Наталье:

— Ой, какая ты стала — не узнать!

И, ткнув пальцем в передний горб свой, прибавил неуместно, ненужно:

— Меня нельзя не узнать. Этот — твой, Яков? А тот, высокий, Алешин, Мирон? Так, так? А — девицы? Нет девиц? Ну, пойдемте, пойдемте...

Яков остался на кладбище. За минуту пред этим он увидал в толпе рабочих Носкова; охотник прошел мимо его рядом с хромым кочегаром Васькой и, проходя, взглянул в лицо Якова нехорошим, спрашивающим взглядом. О чем думает этот человек? Конечно, он не может думать безвредно о человеке, который стрелял в него, мог убить.

Подошел Тихон, стряхивая ладонью песок с поддевки, и сказал:

— Ведь вот уж как старался Алексей Ильич, а все-таки... И Никита Ильич слабенек...

— Тут есть, — вдруг сказал Яков и оборвал слова свои.

— Чего?

— Рабочие жалеют дядю.

— А — как же?

— Тут есть один — Носков, охотник, — снова начал Яков. — Я бы тебе сказал про него...

— Лошадь падет и ту — жаль, — раздумчиво говорил Тихон. — Алексей Ильич бегом жил, с разбегу и скончался. Как ушибся обо что. А еще за день до смерти говорил мне...

Яков замолчал, поняв, что его слова не дойдут до Тихона. Он решил сказать Тихону о Носкове потому, что необходимо было сказать комулибо о этом человеке; мысль о нем угнетала Якова более, чем все происходящее. Вчера в городе к нему откуда-то из-за угла подошел этот кривоногий человек с тупым лицом солдата, снял фуражку и, глядя внутрь ее, в подкладку, сказал:

— Имею должок за вами, обещали дать на лечение ноги. К тому же и дядюшка у вас помер, так что — как бы на помин души. А у меня случай есть — замечательную гармонию могу купить для утешения вашего папаши...

Яков ошеломленно смотрел на него и молчал. Тогда Носков поучительно и настойчиво прибавил:

— И как я служу вашей пользе, против недругов России...

— Сколько? — спросил Яков.

Носков не сразу ответил:

— Тридцать пять рублей.

Яков дал ему деньги и быстро пошел прочь возмущенный, испуганный. «Он меня дураком считает, он думает, что я его боюсь, подлец! Нет, погоди же...»

И теперь, медленно шагая домой, Яков думал лишь о том, как ему избавиться от этого человека, несомненно, способного и желающего подвести его, как быка, под топор.

Бесконечно тянулись шумные часы поминок. Люди забавлялись, заставляя дьякона Карцева и певчих возглашать усопшему вечную память. Житейкин напился до того, что, размахивая вилкой, запел неприлично и грозно:

Бойцы вспоминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они...

Степан Барский, когда его мягкое, точно пуховая подушка, тело втискивали в экипаж, громко похвалил:

— Ну, Петр Ильич, воистину — любил ты брата. Такие поминки долго не забыть!

Яков слышал, как отец, сильно выпивший, ответил угрюмо и насмешливо

— Ты скоро все забудешь, лопнешь скоро.

Житейкина, Барского, Воропанова и еще несколько человек почтенных горожан отец пригласил сам, против желания Мирона, и Мирон был явно возмущен этим; посидев за поминальным столом не более получаса, он встал и ушел, шагая как журавль. Вслед за ним незаметно исчезла тетка

Ольга, потом скрылся и монах, которому, видимо, надоели расспросы полупьяных людей о монастырской жизни. А отец вел себя так, как будто хотел обидеть всех людей, и все время до конца поминок Яков ждал, что вспыхнет ссора между отцом и горожанами.

Мать, оскорбленная тем, что за теткой Ольгой ухаживала Попова, надулась и уехала домой, а отец почему-то пожелал ночевать в кабинете дяди Алексея. Все это казалось Якову нелепо капризным, ненужным и еще более расстраивало его. Пролежав на диване часа два, тщетно ожидая сна, он вышел на двор и под окном кухни на скамье увидал рядом с Тихоном черную фигуру монаха, странно похожего на какую-то сломанную машину. Без клобука на лысой голове монах стал меньше, шире, его заплесневелое лицо казалось детским; он держал в руке стакан, а на скамье, рядом с ним стояла бутылка кваса.

— Это кто? — тихонько спросил он и тотчас сам ответил: — Это — Яша. Посиди со стариками, Яша!

И, подняв стакан против луны, посмотрел на мутную влагу в нем. Луна спряталась за колокольней, окутав ее серебряным туманным светом и этим странно выдвинув из теплого сумрака ночи. Над колокольней стояли облака, точно грязные заплаты, неумело вшитые в синий бархат. Нюхая землю, по двору задумчиво ходил любимец Алексея, мордастый пес Кучум; ходил, нюхал землю и вдруг, подняв морду в небо, негромко вопросительно взвизгивал:

— Цыц, Кучум, — вполголоса сказал Тихон.

Собака подошла, сунула толстую башку в колени Тихона и провыла что-то.

— Чувствует, — заметил Яков. Ему не ответили, а он очень хотел говорить, чтоб не думать.

— Понимает, говорю, — настойчиво повторил он.

Дворник тихо отозвался:

— А — как же?

— В Суздале монастырская собака воров по запаху узнавала, — вспомнил монах.

— О чем беседуете? — спросил Яков; монах выпил квас, вытер рот рукавом рясы и беззубо заговорил, точно с лестницы идя:

— Тихон, вот, замечает: опять к мятежу люди склонны. Оно — похоже! Очень задумались все...

— Дела замучили, — вставил Тихон, играя ушами собаки.

— Прогони собаку, — приказал Яков, — блохи от нее.

Дворник снял Кучумовы лапы с колен своих, отодвинул собаку ногой; она, поджав хвост, села и скучно дважды пролаяла. Трое людей посмотрели на нее и один из них мельком подумал, что, может быть, Тихон и монах гораздо больше жалеют осиротевшую собаку, чем ее хозяина, зарытого в землю.

— Бунт будет, — сказал Яков и осторожно посмотрел в темные углы двора. — Помнишь, Тихон, арестовали Седого с товарищами?

— А — как же?

Монах вынул из кармана рясы жестяную коробочку, достал из нее щепоть табаку, понюхал и сообщил племяннику:

— Вот табачок нюхаю. Глазам помогает это, плохо видеть стали.

Чихнув, он продолжал:

— Арестуют даже и в деревнях...

— Шпионы завелись, — сказал Яков, стараясь говорить просто.— Подсматривают за всеми.

Тихон проворчал:

— Ежели не подсматривать — ничего не узнаешь.

А Яков, нерешительно ворочая языком, пожимаясь от ночной свежести или от страха, говорил почти шопотом:

— И у нас есть. Про Носкова, охотника, нехорошие слухи... Будто он донес на Седова и на всех в городе...

— Ишь ты, дурак, — не сразу отозвался Тихон, протянул руку к собаке, но тотчас опустил ее на колено, а Яков почувствовал, что слова его сказаны напрасно, упали в пустоту и зачем-то предупредил Тихона:

— Ты, однако, не говори про Носкова.

— Зачем говорить. Он меня некасаемый. Да и некому говорить, никто никому не верит.

— Да, — сказал монах. — Веры мало; я после войны с солдатами ранеными говорил, вижу: и солдат войне не верит! Железо, Яша, железо везде, машина. Машина работает, машина поет, говорит! Железному этому заводу жития и люди другие нужны, — железные. Очень многие понимают это, я таких встречал. Мы, говорят, вам, мякишам, покажем! А некоторые другие обижаются. Когда человек командует, — к этому привыкли, а когда железный металл — обидно! К топору, молотку, ко всему, что в руку взять можно,—привыкли, а тут вещь — сто пудов, однако, как живая.

Тихон крякнул и, незнакомо Якову, неслыханно им — засмеялся, говоря:

— Вперед лошади телега бежит. Эх, черти!

— И многие — обозлились, — продолжал монах очень тихо. — Я три года везде ходил, я видел: ух, как обозлились! А злятся — не туда. Друг против друга злятся; однако—все виноваты: и за ум, и за глупость. Это мне поп Глеб сказал: очень хорошо!

— Поп-то жив? — спросил Тихон.

— Попа нет, — ответил Никита.—Он расстригся, он теперь по сельским ярмаркам книжками торгует.

— Хороший поп, — сказал Тихон.—Я у него на исповеди бывал. Хорош. Только он притворялся попом из бедности своей, а по-настоящему в бога не верил, так думаю.

— Нет, он веровал во Христа. Каждый по-своему верует.

— Оттого и смятение, — твердо сказал Тихон и снова нехорошо усмехнулся. — Додумались...

На крыльцо бесшумно вышел Артамонов старший босиком, в ночном белье, посмотрел в бледное небо и сказал людям под окном:

— Не спится. Собака мешает. И вы урчите, тут...

Собака сидела среди двора, насторожив уши, повизгивая, и смотрела в темную дыру открытого окна, должно быть ожидая, когда хозяин позовет ее.

— А ты, Тихон, все свое долбишь! — заговорил Артамонов. — Вот, Яков, гляди: наткнулся мужик на одну думу, — как волк в капкан попал. Вот так же и брат твой. Ты, Никита, про Илью знаешь?

— Слышал.

— Да. Прогнал я его. Вскочил он на чужого коня, поскакал, а — куда? Конечно, не всякий может, как он, отказаться от богатства и жить неведомо как...

— Алексей божий человек также, — тихо напомнил Никита.

Артамонов старший поднял руку к виску, помолчал и пошел в сад, сказав Якову:

— Принеси мне в беседку одеяло, подушки, может: я там засну.

Грузный, в белом весь, с растрепанными волосами на голове, с темно-бурым опухшим лицом, он был почти страшен.

— О машинах ты, Никита, зря говорил, — сказал он, остановясь среди двора. — Что ты понимаешь в машинах? Твое дело — о боге говорить. Машины не мешают...

Тихон непочтительно, упрямо прервал его речь:

— От машин жить дороже и шуму больше.

Артамонов старший отмахнулся от него и медленно пошел в сад, а Яков, шагая впереди его с подушками, сердито и уныло думал:

«Родные: отец, дядя — а зачем они мне? Они помочь не могут».

Отец не пригласил брата жить к себе, монах поселился в доме тетки Ольги, на чердаке, предупредив ее:

— Я немножко поживу, я уйду скоро...

Жил он почти незаметно и, если его не звали вниз, — в комнаты не сходил. Шевырялся в саду, срезывая сухие сучья с деревьев, черепахой ползал по земле, выпалывая сорные травы, сморщивался, подсыхал телом и говорил с людями тихо, точно рассказывая важные тайны. Церковь посещал неохотно, отговариваясь нездоровьем, дома молился мало и говорить о боге не любил, упрямо уклоняясь от таких разговоров.

Яков видел, что монах очень подружился с Ольгой, его уважала бессловесная Вера Попова и даже Мирон, слушая рассказы дяди о его странствиях, о людях, не морщился, хотя после смерти отца Мирон стал еще более заносчив, сух, распоряжался по фабрике, как старший, и покрикивал на Якова, точно на служащего.

На расплывшееся, красное лицо Натальи монах смотрел так же ласково, как на все и на всех, но говорил с нею меньше, чем с другими, да и сама она постепенно разучивалась говорить, только дышала. Ее отупевшие глаза остановились, лишь изредка в их мутном взгляде вспыхи-

вала тревога о здоровье мужа, страх пред Мироном и любовная радость при виде толстенького, солидного Якова. С Тихоном монах был в чем-то не согласен: они ворчали друг на друга и хотя не спорили, но оба ходили мимо друг друга, точно двое слепых.

В жизнь Якова угловатая, черная фигура дяди внесла еще одну тень, вид монаха вызывал в нем тяжелые предчувствия, его темное, тающее лицо заставляло думать о смерти. Яков Артамонов смотрел на все, что творилось дома, с высоты забот о себе самом, но хотя заботы все возрастали, однако и дома тоже возникало все больше новых тревог. Чутье мужчины, опытного в делах любви, подсказывало ему, что Полина стала холоднее с ним, а хладнокровный поручик Маврин подтверждал подозрения Якова; встречаясь с ним, поручик теперь только пренебрежительно касался пальцем фуражки и прищуривал глаза, точно разглядывая нечто отдаленное и очень маленькое, тогда как раньше он был любезней, вежливее и в общественном собрании, занимая у Якова деньги на игру в карты или прося его отсрочить уплату долга, не однажды одобрительно говорил:

— У вас, Артамонов, фигура артиллериста.

Или говорил что-нибудь другое, тоже приятное. Якову льстило грубоватое добродушие этого точно из резины отлитого офицера, удивлявшего весь город своим презрением к холоду, ловкостью, силой и, несомненно скрытой в нем, отчаянной храбростью. Он смотрел в лица людей круглыми, каменными глазами и говорил сиповато, командующим голосом:

— Я мужчина хладнокровный и терпеть не могу преувеличений.

Поссорившись за картами с почтмейстером Дроновым, больным, но ехидного ума старичком, которого все в городе боялись, Маврин сказал ему:

— Преувеличивать не стану, но вы — старый дурак!

Подозревая в нем соперника, Яков Артамонов боялся столкновений с поручиком, но у него не возникало мысли о том, чтобы уступить Маврину Полину,—женщина становилась все приятнее ему. Все-таки он уже не однажды предупреждал ее:

— Смотри, если замечу что-нибудь между тобой и Мавриным,— брошу!

Рядом с этим росла тревога, которую вызывал в нем охотник Носков. Он подстерегал Якова на окраине города, у мостика через Ватаракшу, внезапно вырастал из земли и настойчиво, как должного, просил денег, глядя в свою фуражку.

Было что-то странное, нехорошее в том, что охотник появлялся всегда на одном и том же месте, выходя из крапивы и репейника, из густой заросли сорных трав под двумя кривыми ветлами. Года два тому назад на этом месте стоял дом огородника Панфила; огородника кто-то убил, дом подожгли, ветлы обгорели, глинистая земля, смешанная с углем и золою, была плотно утоптана игроками в городки; среди остатков кир-

пичного фундамента стояла печь, торчала труба; в ясные ночи над трубою, невысоко в небе, дрожала зеленоватая звезда. Носков, не торопясь, шурша крапивой, выходил из-за трубы, медленно стаскивал с головы своей фуражку и бормотал:

— Я вам заслужу. Тут у вас снова заводится компания...

— Эти компании не мое дело, — сердито говорил Яков, и слышал в ответе Носкова явное нахальство:

— Конечно, не вы организуете, но дело-то касается вас.

— Жаль, не пристрелил я его тогда, — в десятый раз сожалел Яков и, давая деньги шпиону, говорил:

— Ты смотри, осторожнее!

— Я знаю.

— Меня не впутай.

— Зачем же? Будьте покойны.

«Да, конечно, он считает меня дураком...»

Понимая, что Носков человек полезный, Яков Артамонов был уверен, что кривоногий парень с плоским лицом не может не отомстить ему за выстрел. Он хочет этого. Он запугает или на деньги, которые сам же Яков дает ему, подкупит каких-нибудь рабочих и прикажет им убить. Якову уже казалось, что за последнее время рабочие стали смотреть на него внимательнее и злей.

Мирон все чаще говорил: рабочие бунтуют не ради того, чтоб улучшить свое положение, но потому, что им со стороны внушается нелепейшая, безумнейшая мысль: они должны взять в свою волю банки, фабрики и вообще все хозяйство страны. Говоря об этом, он вытягивался, выпрямлялся, шагал по комнате длинными ногами и вертел шеей, запуская палец за воротник, хотя шея у него была тонкая, а воротник рубашки достаточно широк.

— Это уж даже и не социализм, а чорт знает что! И, вот, сторонником этой выдумки является твой родной брат.

Яков понимал, что все это говорится Мироном для того, чтоб убедить слушателей и себя в своем праве на место в государственной думе, а все-таки гневные речи брата оставляли у Якова осадок страха, усиливая сознание его личной беззащитности посреди сотни рабочих. Он даже испытал нечто близкое припадку ужаса: как-то утром его разбудил вой и крик на фабричном дворе; приподняв голову с подушки, он увидал, что по белой, гладкой стене склада мчится буйная толпа теней, они подпрыгивают, размахивая руками, и, казалось, двигают по земле все здание склада. Он, сразу весь вспотев, думал, безмолвно кричал:

— Бунт...

Этот поток теней, почему-то более страшных, чем люди, быстро исчез, Яков понял, что у ворот фабрики разыгралась обычная в понедельник драка: после праздников почти всегда дрались, но в памяти его остался этот жуткий бег темных, воющих пятен. Вообще вся жизнь становилась до того тревожной, что неприятно было видеть газету и не хотелось читать

ее. Простое, ясное исчезало, отовсюду вторгалось неприятное, появлялись новые люди.

Сестра Татьяна вдруг привезла из Воргорода жениха, сухенького, рыжеватого человечка в фуражке инженера; легкий, быстрый на ногу, очень веселый, он был на два года моложе Татьяны и, начиная с нее, все в доме стали звать его Митя. Он играл на гитаре, пел песни; одна из них, которую он распевал особенно часто, казалась Якову обидной для сестры и очень возмущала мать.

Жена моя в гробу.
Рабу
Устрой, господь, твою
В раю!

Но сестра не обижалась; ее, как всех, забавлял этот человек, и даже мать нередко умиленно говорила ему:

— Ах, ты, чижик! Да ты поешь, паяц!

Есть Митя мог точно голубь, бесконечно много; Артамонов старший разглядывал его, как сон, удивленными глазами, мигая, и спрашивал:

— При таком характере ты должен пить. Пьешь?

— Могу, — ответил зять и за ужином доказал, что пить он может тоже изрядно.

Он везде бывал: на Волге и на Урале, в Крыму и на Кавказе, он знал бесчисленное количество забавных прибауток, рассказов, смешных словечек; казалось, что он прибежал из какой-то веселой, беспечной страны.

— Жизнь — красавица! — говорил он, и сразу попал в непрерывно вертящийся круг дела, понравился рабочим, молодежь смеялась, старики-ткачи ласково кивали головами, и даже Мирон, слушая его сверкающую смехом речь, слизывал языком улыбки со своих тонких губ. Вот он идет рядом с Мироном по двору фабрики к пятому корпусу; этот корпус еще только вцепился в землю, пятый палец красной кирпичной лапы; он стоит весь опутанный лесами, на полках лесов возятся плотники, блестят их серебряные топоры, блестят стеклом и золотом очки Мирона; он вытягивает руку, точно генерал на старинной картинке ценою в пятачок, Митя, кивая головою, тоже взмахивает руками, как бы бросая что-то на землю.

Яков смотрит на них из окна конторы. Зять нравится и ему; с ним весело, забываешь многое, что тяготит; Яков даже завидует характеру этого человека, но чувствует к нему странное недоверие; кажется, что этот человек не надолго, до завтра, а завтра он объявит себя актером, парикмахером или исчезнет так же внезапно, как явился. В нем было еще одно хорошее качество: он, видимо, не жаден, не спрашивает, сколько приданого за Татьяной, хотя в этом, может быть, скрыта какая-то Татьянина хитрость. Но отец, трезвый, ворчал:

— Вот на какого рыженького работал я...

И Мирон женился.

— Позвольте представить вам жену мою, — сказал он, приехав из Москвы и поставив пред собою голубоглазую, пухленькую куколку с кудрявой, свернутой на бок головкой. Его жена была игрушечно-маленьких размеров, но сделана как-то особенно отчетливо, и это придавало ей в глазах Якова вид не настоящей женщины, а сходство с фарфоровой фигуркой, прилепленной к любимым часам дяди Алексея, голова фигурки была отбита и приклеена несколько наискось; часы стояли на подзеркальнике, и статуэтка, отворотясь от людей, смотрела в зеркало. Мирон объявил, что жену его зовут Анна и что ей восемнадцать лет, но умолчал, что в придачу к ней ему дали четверть миллиона и что она единственная дочь фабриканта бумаги.

— Вот как женятся, — ворчал отец, глядя на Якова красными глазами.—А ты путаешься, чорт знает, с какой. А Илью вымели из обихода, как сор.

Отец ходил с трудом, тяжело раскачивая обмякшее, вялое тело. Якову казалось, что тело это злит отца, и он нарочно выставляет напоказ людям угнетающее безобразие старческой наготы; он щеголял в ночном белье, в неподпоясанном халате, в туфлях на босую ногу с раскрытой, оплывшей грудью, так же, как ходил перед дочерью Еленой, чтобы позлить ее. Иногда он являлся в контору, долго сидел там и, мешая Якову, жаловался, что вот он отдал все свои силы фабрике, детям, всю жизнь прожил запряженный в каменные оглобли дела, в дыму забот, не испытав никаких радостей. Сын слушал и молчал, видя, что эти жалобы, утешая отца, раздувают, увеличивают его до размеров колокольни, — утром солнце видит ее раньше, чем ему станут заметны дома людей и с последней с нею прощается, уходя в ночь. Но из этих жалоб Яков извлекал для себя поучительный вывод жить так, как жил отец, — бессмысленно.

И всегда он видел, что после насыщения жалобами, отцом овладевает горячий зуд, беспокойное желание обижать людей, издеваться над ними. Он шел к старухе жене, сидевшей у окна в сад, положив на колени ненужные руки, уставя пустые глаза в одну точку; он садился рядом с нею и зудел: .

— О чем думаешь? Толста, а не видно тебя. Дети-то не видят. Татьяна с кухаркой говорит милее, чем с тобою. Елена-то забыла, не приезжает, а? Видно, опять нового любовника завела. А Илья — где?

Но жену дразнить было скучно, ее багровое лицо быстро потело слезами; казалось, что слезы льются не только из глаз ее, но выступают из всех точек туго надутой кожи щек, из двойного, рыхлого подбородка, просачиваются где-то около ушей.

— Ну, рассохлась, — брезгливо ворчал старик и уходил, отмахиваясь от нее, как от дыма. Нет, она не забавляла.

Якова он не дразнил, но сыну всегда казалось, что отец смотрит на него с обидной жалостью. Иногда он вздыхал:

— Эх, ты, пустоглазый...

Мирон был недоступен насмешкам, отец явно и боязливо сторонился его; это было понятно Якову. Мирона все боялись и на фабрике, и дома, от матери и фарфоровой его жены до Гришки, мальчишки, отворявшего парадную дверь. Когда Мирон шел по двору, казалось, что длинная тень его творит вокруг тишину.

Смеяться над рыженьким зятем не было удовольствия,—этот сам себя умел высмеивать, он явно предпочитал ударить сам себя раньше, чем его побьет другой. Татьяна, беременная, очень вспухла, важно надула губы, после обеда лежала, читая сразу три книги, потом шла гулять; муж бежал рядом с нею, как пудель.

Артамонов старший приказывал запрячь лошадь и ехал в город дразнить брата и Тихона; Яков неоднократно слышал, как он делает это.

— Что, студент в клобуке, проюрдонил бога-то? — привязывался он к монаху.

Никита двигал горбом, крепко гладил ладонями длинных рук острые колена свои и тихо, жалобно говорил:

— Ой, напрасно это...

— Как напрасно? Ты не ту шляпу носишь, эта у тебя шляпа фальшивая. Вся твоя одежда фальшивая. Какой ты монах?

— Моей души дело.

— Табак нюхаешь. Нет, проиграл ты, ошибся. Женился бы в свое время на бедной девушке, на сироте, она бы тебе благодарно детей родила, был бы теперь, как я, дед. А ты допустил — помнишь?

Медленно, как огромная черепаха, монах отползал прочь, а Петр Ильич Артамонов шел к Ольге, рассказывал ей о кутежах Алексея и о ярмарке. Но это тоже не забавляло его; маленькая старушка, после смерти мужа заразилась какой-то непоседливостью: она все ходила, передвигая мебель, переставляя вещи с места на место, поглядывая в окна. Ходила, держа голову неподвижно, и хотя на носу ее красовались очки с толстыми стеклами, она жила на ощупь, тыкая в пол палкой, простирая правую руку вперед. А на злые рассказы старика она, усмехаясь, отвечала:

— Что хочешь говори: к такому, каким я знаю Алешу, ничего худого не пристанет; хорошего не прибавится.

— Верно сказал он про тебя: ты одним глазом смотришь.

— Обоими почти не вижу, — сказала Ольга. — Не вижу, вчера любимый его стакан фарфоровый разбила сослепа.

Пробовал Артамонов старший дразнить Тихона Вялова, но это было тоже трудно. Тихон не сердился, он, глядя в бок, покрякивал, отвечая кратко и спокойно.

— Долго ты живешь, — говорил Артамонов.

Тихон резонно отвечал:

— Живут и больше.

— А вот, зачем ты жил, а? Ты говори!

— Все живут.

— Верно, да — не всякий целую жизнь дворы метет, сор убирает...

У Тихона были свои мысли.

— Родился, ну, и живи до смерти, — говорил он, но Артамонов, не слушая его, продолжал:

— Ты вот всю жизнь с метлой прожил. Нет у тебя ни жены, ни детей, не было никаких забот. Это — почему? Тебе еще отец мой другое место давал, а ты — не захотел, отвергся. Это что же за упрямство у тебя? Ты — говори!

— Опоздал ты спросить, Петр Ильич, — ответил Тихон, глядя в сторону.

Сердясь, Артамонов настойчиво зудел:

— Ты погляди, сколько за срок твоей жизни народу разбогатело. Все люди добивались облегчения себе, деньги копили...

— Копил, копил, да чорта и купил,—сказал Тихон, особенно кругло и густо произнося о.

Яков ждал, что отец рассердится, обругает Тихона, но старик, помолчав, пробормотал что-то невнятное и отошел прочь от дворника, который хотя и линял, лысел, становился одноцветным, каким-то суглинистым, но, не поддаваясь ухищрениям старости, был все так же крепок телом, даже приобретал некое благообразие, а говорил все более важно, поучающим тоном. Якову казалось, что Тихон говорит и ведет себя более «похозяйски», чем отец.

Сам Яков все яснее видел, что он лишний среди родных, в доме, где единственно приятным человеком был чужой, Митя Логинов. Митя не казался ему ни глупым, ни умным, он выскальзывал из этих оценок, оставаясь отличным от всех. Его значительность подтверждалась и отношением к нему Мирона; черствый, властный, всеми командующий Мирон жил с Митей дружно, и хотя часто спорил, но никогда не ссорился, да и спорил осторожно. В доме с утра до вечера звучал разноголосый зов:

— Митя! — кричала Татьяна.

— Где Митя? — спрашивала мать, и даже отец рычал, высунувшись в окно:

— Митрий, обедать пора!

Митя бегал по фабрике лисьим бегом и ловко заметал пушистым хвостом смешных слов, веселых шуточек сухую, обидную строгость Мирона с рабочими и служащими. Рабочих он называл друзьями.

— Дружище, это не так! — говорил он бородатому, солидному десятнику плотников, выхватывал из кармана книжечку в красной коже, карандаш или чертил что-то на доске и спрашивал: — Видишь? Так? И так? И вот так? Вышло?

— Правильно, — соглашался десятник. — А мы все по старинке, как привыкли...

— Нет, милая личность, надо привыкать к новому — выгоднее!

Десятник соглашался:

— Правильно. Ну, спасибо вам!

Своею бойкою игрою с делом Митя был похож на дядю Алексея, но в нем незаметно было хозяйской жадности; веселым балагурством он весьма напоминал плотника Серафима, это было замечено и отцом; как-то во время ужина, когда Митя размел, рассеял сердитое настроение за столом, отец, ухмыляясь, проворчал:

— Вот тоже был у нас утешитель, Серафим... Да.

Яков слышал, как однажды, после обычного столкновения отца с Мироном, Митя сказал Мирону:

— Соединение страшненького и противненького с жалким — чисто русская химия.

И тотчас же утешил:

— Но — ничего. Это скоро пройдет, изживется. Мы очищаемся...

Праздничным вечером, в саду за чаем отец пожаловался:

— Я без праздника прожил. —

Зять тотчас же взвился ракетой, рассыпался золотым песком бойких слов:

— Это — ваша ошибка и ничья больше. Праздник устанавливает для себя человек. Жизнь — красавица, она требует подарков, развлечений, всякой игры. Жить надо с удовольствием. Каждый день можно найти что-нибудь для радости.

Говорил он долго, ловко, точно на дудочке играя, и все за столом примолкли; всегда бывало так, что, слушая его, люди точно засыпали; Яков тоже испытывал обаяние его речей, он чувствовал в них настоящую правду, но ему хотелось спросить Митю:

— Зачем же ты женился на некрасивой, глупой девице?

Яков видел в его отношении к жене нечто фальшивое, слишком любезное, подчеркнутую заботливость; Якову казалось, что и сестра чувствует эту фальшь, она жила уныло, молчаливо, слишком легко раздражалась и гораздо чаще, оживленнее беседовала о политике с Мироном, чем с веселым мужем своим. Кроме политики она не умела говорить ни о чем.

Иногда Яков думал, что Митя Логинов явился не из веселой, беспечной страны, а выскочил из какой-то скучной, темной ямы, дорвался до незнакомых, новых для него людей и от радости, что наконец дорвался, пляшет перед ними, смешит, умиляется обилию их, удивлен чем-то. Вот в этом его удивлении Яков подмечал нечто глуповатое; так удивляется мальчишка в магазине игрушек, но — мальчишка, умно и сразу отличающий какие игрушки лучше.

Из всех людей в доме и на фабрике двое определенно не любили Татьянина мужа: дядя Никита и Тихон Вялов. На вопрос Якова, как ему нравится Митя, дворник спокойно ответил:

— Неверный.

— Чем?

— Муха. На всякую дрянь садится.

Яков долго, настойчиво допрашивал старика, но тот не мог сказать ничего более ясного:

— Сам видишь, Яков Петрович, — сказал он. — Видишь ведь: человек фигуры выдумывает.

Дядя-монах сказал почти то же.

— Пылит, — сказал он вздохнув. — Я таких много видел, краснобаев. Путают они народ. И сами тоже в словах запутались. Скажи ему: горы, ох, а он тебе: горох... Да, да.

Было странно слышать, что этот кроткий урод говорит сердито, почти со злобой, совершенно несвойственной ему. И еще более удивляло единогласие Тихона и дяди в оценке мужа Татьяны, старики жили несогласно, в какой-то явной, но немой вражде, почти не разговаривая, сторонясь друг друга. В этом Яков еще раз видел надоевшую ему человеческую глупость: в чем могут быть несогласны люди, которых завтра же опрокинет смерть.

Дядя Никита умирал. Якову казалось, что отец усердно помогает ему в этом, почти при каждой встрече он мял и давил монаха упреками:

— Я весь век жил в людях волом, а ты — живешь котом. Все заботятся устроить тебе потеплее, помягче и даже, будто, не видят, что ты горбат. Меня все считают злым, а какой я злой. Я всю жизнь...

Втягивая голову в горб, монах просил, покашливая:

— Ты не сердись.

Чувство брезгливости к отцу, к его обнаженной, точно из мыла слепленной груди, покрытой плесенью седоватых волос, тоже мешало жить Якову; это чувство трудно было прятать, скрыть. Он изредка должен был напоминать себе:

— Отец. От него я родился.

Но это не украшало отца, не гасило брезгливость к нему, в этом было даже что-то обидное, принижающее. Отец почти ежедневно ездил в город как бы для того, чтобы наблюдать, как умирает монах. С трудом, сопя, Артамонов старший влезал на чердак и садился у постели монаха, уставив на него воспаленные, красные глаза. Никита молчал, покашливая, глядя оловянным взглядом в потолок; руки у него стали беспокойны, он все одергивал рясу, обирал с нее что-то невидимое. Иногда он вставал, задыхаясь от кашля.

— Хрустишь? — спрашивал брат.

Никита полз к окну, хватаясь руками за плечи брата, спинку кровати, стульев; ряса висела на нем, как парус на сломанной мачте; садясь у окна, он, открыв рот, смотрел вниз, в сад и в даль, на темную, сердитую щетину леса.

— Ну, отдохни, — говорил орат, дергая дряблу.о мочку уха, спускался вниз и оповещал Ольгу: — Хрустит. Скоро уж...

Приезжал толстый монах, отец Мардарий, и убеждал отправить Никиту в монастырь, по какому-то уставу он должен умереть именно там и там же его необходимо было похоронить. Но горбун уговорил Ольгу:

— После отвезете туда, когда умру.

И жалобно трижды попросил:

— Крышечку гроба повыше сделайте, чтоб не давила. Уж не забудьте!

Умер он за четыре дня до начала войны, а накануне смерти попросил известить монастырь:

— Пусть приедут за мной, я к их прибытию успею помереть.

Утром, в день смерти его, Яков помог отцу подняться на чердак; отец, перекрестясь, уставился в темное, испепеленное лицо с полузакрытыми глазами, с провалившимся ртом; Никита неестественно громко сказал:

— Прости меня.

— Ну, что ты? За что? — проворчал Петр Артамонов.

— За дерзость мою...

— Меня прости, — сказал старший. — Я, тут, иной раз, шутил с тобой...

— Бог шутку не осудит, — шопотом уверил монах, а брат, помолчав, спросил:

— Вот, как ты теперь?

— Забыл я, — торопливо заговорил монах, прервав брата. — Ты, Яша, скажи Тихону: спилил бы он кленок у беседки, не пойдет кленок, нет...

Невыносимо было Якову слушать этот излишне ясный голос и смотреть на кости груди, нечеловечески поднявшиеся вверх, точно угол ящика. И вообще ничего человеческого не осталось в этой кучке неподвижных костей, покрытых черным, в руках, державших поморский медный крест. Жалко было дядю, но, все-таки, думалось: зачем это установлено, чтоб старики и вообще домашние люди умирали на виду у всех?

Подождав, не скажет ли брат еще чего, отец ушел под руку с Яковом молчаливо опустив голову. Внизу он сказал:

— Умирает.

— Да? — спросил Мирон, сидя у стола, закрыв половину тела своего огромным листом газеты; спросив, он не отвел от нее глаз, затем бросил газету на стол и сказал в угол жене:

— Я был прав, читай!

Его кругленькая жена подкатилась к столу, а мать, сидя у окна, испуганно спросила:

— Неужели, Мирон, неужели война?

— Вот и второй Артамонов, — громко напомнил Петр.

— Врут, конечно, — сказал Мирон жене и Якову, который тоже, наклонясь над газетой, читал тревожные телеграммы, соображая: чем все это грозит ему? Артамонов старший, махнув рукою, пошел на двор, там солнце до того накалило булыжник, что тепло его проникало сквозь мягкие подошвы бархатных сапогов. Из окна сыпались сухонькие, поучающие слова Мирона; Яков стоял с газетой в руках у окна, видел как отец погрозил кому-то своим багровым кулаком.

На третий день, рано утром приехали монахи; их было семеро, все разного роста и объема; они показались Якову неразличными, как новорожденные. Лишь один из них, самый высокий, тощий, с густейшей бородою и не подобающим ни монаху, ни случаю громким, веселым голосом, тот, который шел впереди всех с большим черным крестом в руках, как будто не имел лица: был он лысый, нос его расплылся по щекам, и кроме двух черненьких ямок между лысиной и бородой у него на месте лица ничего не значилось. Шагая, он так медленно поднимал ноги, точно был слеп; он пел на три голоса:

— Святый боже... — низко, почти басом:

— ... святый крепкий... — выше, тенористо, а —

— ... святый бессмертный, помилуй нас! — так пронзительно, что мальчишки, забегая вперед, с удивлением смотрели в бороду его, вместилище невидимого трехголосого рта.

Когда похороны вышли из улицы на площадь, оказалось, что она тесно забита обывателями, запасными солдатами поручика Маврина, малочисленным начальством и духовенством в центре толпы. Хладнокровный поручик парадно, монументом стоял впереди своих солдат, его освещало солнце; конусообразные попы и дьякона стояли тоже золотыми истуканами, они таяли, плавились на солнце, сияние риз тоже падало на поручика Маврина; впереди аналоя, подпрыгивал, размахивая фуражкой, толстый офицер с жестяной головою.

Трехголосый монах, покачивая черным крестом, остановился пред стеною людей и басом сказал:

— Расступитесь!

Но люди расступились не пред ним, а пред рыжей, длинной лошадью Экке, помощника исправника,—взмахивая белой перчаткой, он наехал на монаха, поставил лошадь поперек улицы и закричал упрекающе обиженно:

— К-куда? Что вы, не видите? Назад!

Монах, подняв крест, затянул:

— Святый бо-о...

— Ур-ра! — крикнул офицер и весь народ на площади тысячами голосов разъяренно рявкнул:

— Ур-рра-а...

А Экке, привстав на стременах, тоже кричал:

— Петр Ильич, пож-жалуйста, переулочком! В обход! Мирон Алексеевич — прошу вас! Тут — воодушевление, а вы — как же это?

Артамонов старший, стоя у изголовья гроба, поддерживаемый женою и Яковом, посмотрел снизу вверх на деревянное лицо Экке и угрюмо сказал монахам, которые несли гроб:

— Сворачивайте, отцы...

И, всхлипнув, добавил:

— Последний раз, видно, распоряжаюсь...

Все это показалось Якову неприличным, даже несколько смешным, но когда свернули в переулок, где жила Полина, он увидал ее быстро

шагающей встречу похоронам, она шла в белом платье, под розовым зонтиком, и торопливо крестила выпуклую, туго обтянутую грудь.

— Мавриным любоваться идет, — тотчас же сообразил он и задохнулся пылью, раздражением. Монахи пошли быстрее, чернобородый стал петь тише, задумчивей, а хор певчих и совсем замолчал. За городом, против ворот бойни, стояла какая-то странная телега, накрытая черным сукном, запряженная парой пестрых лошадей, гроб поставили на телегу и начали служить панихиду, а из улицы, точно из трубы, доносился торжественный рев меди, музыка играла «Боже, царя храни», звонили колокола трех церквей и притекал пыльный, дымный рык:

— Р-р-р-а-а!

Якову казалось, что он слышит команду поручика Маврина:

— Р-н-о!

После панихиды пришлось ехать в дом тетки, долго сидеть за поминальным столом, слушая сердитую воркотню отца:

— Какой дурак распорядился поставить лошадей против бойни. А?

— Полиция, полиция, — успокаивал Митя и объяснял: — неудобно, знаете: национальное воодушевление, а тут — похоронные дроги! Не совпадает...

Мирон, слизнув улыбку с губ своих, говорил доктору Яковлеву, который был особенно заметен в тяжелые, неприятные дни:

— Но если мы дружно навалимся брюхом, как Митька в «Князе Серебряном»... В конце концов — все на свете решается соотношением чисел...

— Техникой, — возразил доктор.

— Техника? Ну, да... Но...

Только вечером, в десятом часу Яков мог вырваться из этой скучной канители и побежал к Полине, испытывая тревогу, еще никогда до этого часа не изведанную им, предчувствуя, что должно случиться нечто необыкновенное. Конечно, это и случилось:

— Ох, — сказала кухарка Полины, когда Яков, пройдя двором, вошел в кухню, сказала и грузно опустилась на скамью у печи.

— Сводня подлая, — ответил Яков и остановился пред дверью в комнату, прислушиваясь к четким солдатским шагам и знакомому военному голосу:

— Так вот, надо сообразить — так или не так?.. Сообразите же!

— На вы говорит, — сообразил Яков, — может быть, ничего не было.

Но, открыв дверь, стоя на пороге ее, он тотчас убедился, что все уже было—хладнокровный поручик, строго сдвинув брови, стоял среди комнаты в расстегнутом кителе, держа руки в карманах, из-под кителя были видны подтяжки и одна из них отстегнута от пуговицы брюк; Полина сидела на кушетке, закинув ногу на ногу, чулок на одной ноге спустился винтом, ее бойкие глаза необычно круглы, а лицо, густо заливаясь румянцем, багровеет.

— Н-ну-с? — спросил хладнокровный поручик и вопросом своим окончательно утвердил все подозрения Якова. Он шагнул вперед, бросил шляпу на стул и сказал незнакомым себе, сорвавшимся голосом:

— Я с похорон, с поминок...

— Да-с? — вопросительно, тоном хозяина отозвался поручик.

Полина, затянувшись так, что папироса затрещала, сказала с дымом, но не виновато, а небрежно:

— Ипполит Сергеевич уговаривает меня итти в сестры милосердия...

— В сестры? М-да, — произнес Яков, усмехаясь; тогда хладнокровный поручик, шагнув к нему, отчетливо спросил:

— Что значит эта усмешка? Прошу помнить: я преувеличений н-не люблю-с. Не терплю!

В эти две, три минуты Яков испытал, как сквозь него прошли горячие токи обиды, злости и оставили в нем подавляющее, почти горестное сознание, что маленькая женщина эта необходима ему так же, как любая часть его тела, и что он не может позволить оторвать ее от него. От этого сознания к нему вновь возвратился гнев, он похолодел, встал, сунув руки в карман.

— Не подходи! — предупредил он поручика, чувствуя, что у него выкатываются глаза так, что им больно.

— Эт-то почему? — спросил поручик и шагнул еще. Его противная манера удваивать буквы в словах всегда не нравилась Якову, а в эту минуту привела его в бешенство, он хотел выдернуть руку из кармана, крикнул:

— Убью!

Поручик Маврин схватил его за руку, мучительно сжал ее у кисти, револьвер глухо выстрелил в кармане, затем рука Якова с резкой болью как бы сломалась в локте, вырвалась из кармана, поручик взял из его пальцев револьвер и, бросив его на кресло, сказал:

— Не вышло!

— Яша, Яша! — слышал Артамонов громкий шопот. — Ипполит Сергеевич, господа! Вы с ума сошли? Из-за чего? Ведь это — скандал! Из-за чего же?

— Н-ну, — оглушительно сказал хладнокровный поручик, взяв Якова за бороду, дергая ее вниз и этим заставляя кланяться ему. — Проси прощенья — дурак!

С каждым словом, и рассекая длинные на двое, он дергал бороду вниз, потом легким ударом в подбородок заставлял поднимать ее.

— Ой, как стыдно, ой!—шептала Полина, хватая поручика за локоть.

Яков не мог двигать правой рукой, но, крепко сжав зубы, отталкивал поручика левой; он мычал, по щекам его текли слезы унижения.

— Не сметь меня касаться! — рявкнул поручик и, оттолкнув его, посадил в кресло, на револьвер. Тогда Яков, закрыв лицо руками, скрывая слезы, замер в полуобмороке, едва слыша, сквозь гул в голове, крик Полины:

— Боже мой, как это неблагородно! И это вы, вы! Такой скандал! За что?

— Идите к чорту, барышня, — сказал поручик чугунным голосом. — Вот вам целковый за удовольствие,—эт-того достаточно! Я не выношу преувеличения, но вы самая обыкновенная...

Растаптывая пол тяжелыми ударами ног, поручик, хлопнув дверью, исчез, оставив за собой тихий звон стекла висячей лампы и коротенький визг Полины. Яков встал на мягкие ноги, они сгибались, все тело его дрожало, как озябшее; среди комнаты под лампой стояла Полина, рот у нее был открыт, она хрипела, глядя на грязненькую бумажку в руке своей.

— Сволочь, — сказал Яков, — зачем ты это сделала? А говорила... Убить надо тебя...

Женщина взглянула на него, бросила бумажку на пол и хрипло, с изумлением, протянула:

— Ка-акой негодяй...

Она опустилась в кресло, согнулась, схватив руками голову, а Яков, ударив ее кулаком по плечу, крикнул:

— Пусти! Дай револьвер...

Не шевелясь, она все так же изумленно спросила:

— Так ты меня любишь?

— Ненавижу!

— Врешь! Любишь теперь!

Она прыгнула на него так быстро, что Яков не успел оттолкнуть ее, она обняла его за шею и, с яростной настойчивостью, обжигая кусающими поцелуями, горячо дыша в глаза, в рот ему, шептала:

— Врешь, любишь, любишь. И я тоже — на! Ах, ты, мягкий, солененький мой...

Солененький, ее любимое ласкательное словечко, она произносила его только в минуты исключительно сильного возбуждения, и оно всегда опьяняло Якова до какого-то сладостного и нежного зверства. Так случилось и в эту минуту; он мял, щипал, целовал ее и бормотал задыхаясь:

— Дрянь. Паскудница. Ведь знаешь...

Через час он сидел на кушетке, она лежала на коленях у него. Покачивая ее, он с удивлением думал:

— Как быстро все прошло!..

А она утомленно говорила:

— Озлилась я, хотела бросить тебя. Ты все хлопочешь о своих, хоронишь, а мне скучно. И я не знала: любишь ты меня? Теперь будешь крепче любить, ревновать будешь потому что. Когда есть ревность...

— Уехать бы отсюда, — устало сказал Яков.

— Да. В Париж. Я могу говорить по-французски.

Огня они не зажгли, в комнате было темно и душно, на улице кричали запасные солдаты, бабы, хотя было поздно за полночь.

— Теперь за границу не уедешь, там — война, — вспомнил Яков. — Война, чорт их возьми...

Женщина снова заговорила о своем:

— Без ревности только собаки любят. Ты посмотри: все драмы, романы,— все из ревности...

Яков усмехнулся, вздрогнув:

— Хорошо выстрелил револьвер, пуля могла в ногу мне попасть, а вот только на брюках дырочка.

Полина сунула в дырочку палец и вдруг, вскрикнув, сказала с тихой, но лютой злобой:

— Ах, жалко, что ты не успел выстрелить в него! В тугой бы, в резиновый живот ему!

— Молчи! — сказал Яков, сильно тряхнув ее, но она продолжала присвистывать сквозь зубы и все так же люто:

— Подлец! Как обругал меня! Какие вы все... Ничего вы не понимаете в женщине!

И, вздернув распухшие губы, показывая крепко сжатые лисьи зубы, она дополнила:

— Ведь если женщина изменила, это вовсе не значит, что она уже не любит!

— Молчи, говорю! — крикнул Яков и тиснул ее так, что она застонала:

— Ой, вот я чувствую — любишь. Яша, солененький мой...

Он ушел от нее на рассвете легкой походкой, чувствуя себя человеком, который в опасной игре выиграл нечто ценное. Тихий праздник в его душе усиливало еще и то, что когда он, уходя, попросил у Полины спрятанный ею револьвер, а она не захотела отдать его, Яков принужден был сказать, что без револьвера боится итти, и сообщил ей историю с Носковым. Его очень обрадовал испуг Полины, волнение ее убедило его, что он действительно дорог ей, любим ею. Ахая, всплескивая руками, она стала упрекать его:

— Почему ты не сказал мне об этом?

И тревожно размышляла:

— Конечно, это очень интересно — сыщик! Вот, например, Шерлок Холмс, ты читал? Но ведь, наверное, и сыщики — тоже негодяи?

— Конечно, — подтвердил Яков.

Отдавая ему револьвер, она захотела проверить, хорошо ли он стреляет, и уговорила Якова выстрелить в открытую печку, для чего Якову пришлось лечь животом на пол; легла и она; Яков выстрелил, из печки на них сердито дунуло золой, а Полина, ахнув, откатилась в сторону, потом, подняв ладонь, тихо сказала:

— Смотри!

В крашеной половице была маленькая, косо и глубоко идущая дырка.

— Как подумаешь, что туда ушла смерть! — сказала Полина, вздыхая, нахмурив тонко вычерченные брови.

И никогда еще Яков не видел ее такой милой, не чувствовал так близко к себе. Глаза ее смотрели по-детски удивленно, когда он расска-

зывал о Носкове, и ничего злого уже не было на ее остреньком лице подростка.

«Не чувствует вины», — с удивлением подумал Яков, и это было приятно ему.

Провожая его, она говорила, гладя бороду Якова:

— Ах, Яша, Яша! Так вот как, значит! Мы — серьезно? Ах, боже мой... Но этот подлец!

Сжала пальцы рук в один кулак и, потрясая им, негодуя, пожаловалась:

— Господи, сколько подлецов!

Но вдруг, схватив руку Якова, задумчиво нахмурилась, тихонько говоря:

— Постой, постой! Тут есть одна барышня, ах, разумеется!

Просияла и, перекрестив Якова, отпустила его:

— Иди, солененький!

Утро было прохладное, росистое; вздыхал предрассветный ветер, зеленовато-жемчужное небо дышало запахом яблоков.

— Конечно, это она со зла наблудила, и надо жениться на ней, как только отец умрет, — великодушно думал он и тут же вспомнил смешные слова Серафима Утешителя:

— Всякая девица — утопающая, за соломину хватается. Тут ее и лови!

Тревожила мысль о хладнокровном поручике, он не похож на соломинку, он обозлился и, вероятно, будет делать пакости. Но поручика должны отправить на войну. И даже о Носкове Якову Артамонову думалось спокойнее, хотя он, подозрительно оглядываясь, чутко прислушивался и сжимал в кармане ручку револьвера, — чаще всего Носков ловил Якова именно в эти часы.

Но прошло недели две, и страх пред охотником снова объял Артамонова чадным дымом. В воскресенье, осматривая лес, купленный у Воропанова на сруб, Яков увидал Носкова, он пробирался сквозь чащу, увешанный капканами, с мешком за спиною.

— Счастливая встреча для вас, — сказал он подходя, сняв фуражку; носил он ее по-солдатски: с заломом верхнего круга на правую бровь и, снимая, брал не за козырек, а за верх.

Не отвечая на его странное приветствие, в котором чувствовалась угроза, Яков сжал зубы и судорожно стиснул револьвер в кармане. Носков тоже молчал с минуту, расковыривал пальцем подкладку фуражки и не смотрел на Якова.

— Ну? — спросил Артамонов; Носков поднял собачьи глаза и, приглаживая дыбом стоявшие жесткие волосы, проговорил отчетливо:

— Ваша любовь, т.-е. Пелагея Андреевна, познакомилась с дочерью попа Сладкопевцева, так вы ей скажите, чтобы она это бросила.

— Почему?

— Так уж...

И, послушав звон колоколов в городе, охотник прибавил:

— Даю совет от души, желая добра. А вы мне подарите рубликов...

Он посмотрел в небо и сосчитал:

— Тридцать пять.

«Застрелить собаку!» — думал Яков Артамонов, отсчитывая деньги.

Охотник взял бумажки, повернулся на кривых ногах, звякнув железом капканов, и, не надев фуражку, полез в чащу, а Яков почувствовал, что человек этот стал еще более тяжко неприятен ему.

— Носков! — негромко позвал он, а когда тот остановился полускрытый лапами елок, Яков предложил ему: — Бросил бы ты это!

— Зачем? — спросил Носков, высунув голову вперед, и Артамонову показалось, что в пустых глазах Носкова светится что-то боязливое и очень злое.

— Опасное дело, — объяснил Яков.

— Надо уметь, — сказал Носков, и глаза его погасли. — Для неумеющего — все опасно.

— Как хочешь.

— Против своей пользы говорите.

— Какая же тут польза, во вражде, — пробормотал Яков, жалея, что заговорил со шпионом.

— Туда же, — рассуждает, идиот...

А Носков поучительно сказал:

— Без этого — не живут. У всякого — своя вражда, своя нужда. До свидания!

Он повернулся спиною к Якову и вломился в густую зелень елей. Послушав, как он шуршит колкими ветвями, как похрустывают сухие сучья, Яков быстро пошел на просеку, где его ждала лошадь, запряженная в дрожки, и погнал в город, к Полине.

— Вот подлец! — почти радостно удивилась Полина. — Уже узнал, что она приходит ко мне? Скажите, пожалуйста!

— Зачем ты знакомишься с такими? — сердито упрекнул Яков, но она тоже сердито, дергая желтый газовый шарфик на груди своей, затараторила:

— Во-первых, это надо для тебя же! А во-вторых, — что же мне кошек, собак завести, Маврина? Я сижу одна, как в тюрьме, на улицу выйти не с кем. А она — интересная, она мне романы, журналы дает, политикой занимается, обо всем рассказывает. Я с ней в гимназии у Поповой училась, потом мы разругались...

Тыкая его пальцем в плечо, она говорила все более раздраженно:

— Ты воображаешь, что легко жить тайной любовницей? Сладкопевцева говорит, что любовница, как резиновые галоши, — нужно, когда грязно, вот! У нее роман с вашим доктором, и они это не скрывают, а ты меня прячешь, точно болячку, стыдишься, как будто я кривая или горбатая, а я — вовсе не урод!..

— Погоди, — сказал Яков, — женюсь! Серьезно говорю, хотя ты и свинья...

— Еще вопрос, кто из нас свиноватее,—крикнула и ребячливо расхохоталась, повторяя: — свиноватее, виноватее, — запуталась! Солененький мой... Милый, ты не жадный! Другой бы — молчал; ведь тебе шпион этот полезен...

Как всегда, Яков ушел от нее успокоенный, а через семь дней, рано утром табельщик Елагин, маленький, рябой, с кривым носом сообщил, что на рассвете, когда ткачи ловили бреднем рыбу, ткач Мордвинов, пытаясь спасти тонувшего охотника Носкова, тоже едва не утоп и лег в больницу. Слушая гнусавый доклад, Яков сидел вытянув ноги для того, чтоб глубже спрятать руки в карманы, руки у него дрожали.

— Утопили, — думал он и представляя себе добродушного Мордвинова, человека с мягким, бабьим лицом, не верил, чтоб этот человек мог убивать кого-то. Счастливый случай, — думал он, облегченно вздыхая.

Полина тоже согласилась, что это — счастливый случай.

— Конечно, лучше так, — сказала она серьезно нахмурясь, — потому что, если б как-нибудь иначе убивали его, — был бы шум.

Но — пожалела:

— Было бы интереснее поймать его, заставить раскаяться и повесить или расстрелять. Ты читал...

— Ерунду говоришь, Полька, — прервал ее Яков.

Прошло несколько тихих дней, Яков съездил в Воргород, возвратился и Мирон, озабоченно морщась, сказал:

— У нас еще какая-то грязная история; по предписанию из губернии Экке производит следствие о том, при каких условиях утонул этот охотник. Арестовал Мордвинова, Кирьякова, кочегара Кротова, шута горохового, — всех, кто ловил рыбу с охотником. У Мордвинова рожа поцарапана, ухо надорвано. В этом видят, кажется, нечто политическое... Не в надорванном ухе, конечно...

Он остановился у рояля, раскачивая пенснэ на пальце, глядя в угол прищуренными глазами. В измятой шведской куртке, в рыжеватых брюках и высоких, по колено, пыльных сапогах он был похож на машиниста; его костистые, гладко обритые щеки и подстриженные усы напоминали военного; мало подвижное лицо его почти не изменялось, что бы и как бы он ни говорил.

— Идиотское время! — раздумчиво говорил он. — Вот, влопались в новую войну. Воюем, как всегда, для отвода глаз, от собственной глупости; воевать с глупостью не умеем, нет сил. А все наши задачи, пока,— внутри страны. В крестьянской земле рабочая партия мечтает о захвате власти. В рядах этой партии — купеческий сын, Илья Артамонов, человек сословия, призванного совершить великое дело промышленной и технической европеизации страны. Нелепость на нелепости. Измена интересам сословия должна бы караться как уголовное преступление, в сущности, это государственная измена... Я понимаю какого-нибудь интел-

лигента Горицветова, который ни с чем не связан, которому некуда девать себя, потому что он бездарен, не трудоспособен и может только читать, говорить; я вообще нахожу, что революционная деятельность в России — единственное дело для бездарных людей.

Якову казалось, что брат говорит, видя пред собою полную комнату людей, он все более прищуривал глаза и, наконец, совсем закрыл их. Яков перестал слушать его речь, думая о своем: чем кончится следствие о смерти Носкова, как это заденет его, Якова?

Вошла беременная, похожая на комод жена Мирона, осмотрела его и сказала усталым голосом:

— Поди переоденься.

Мирон покорно взбросил очки на нос и ушел.

Через месяц, приблизительно, всех арестованных выпустили; Мирон строго, не допускающим возражений голосом, сказал Якову:

— Рассчитай всех.

Яков давно уже, незаметно для себя, привык подчиняться сухой команде брата, это было даже удобно, снимало ответственность за дела на фабрике, но он все-таки сказал:

— Кочегара надо бы оставить.

— Почему?

— Веселый. Давно работает. Развлекает людей.

— Да? Ну, пожалуй, оставим.

И, облизнув губы, Мирон сказал:

— Шуты, действительно, полезны.

Некоторое время Якову казалось, что все идет хорошо, война притиснула людей, все стали задумчивее, тише. Но он привык испытывать неприятности, предчувствовал, что не все они кончились для него, и смутно ждал новых. Ждать пришлось не очень долго; в городе снова явился Нестеренко под руку с высокой дамой, похожей на Веру Попову; встретив на улице Якова, он еще издали посмотрел сквозь него, а подойдя, поздоровавшись, спросил:

— Можете зайти ко мне через час? Я — у тестя. Знаете — жена моя умирает. Так что я вас попрошу: не звоните с парадного, это беспокоит больную, вы — через двор. До свидания.

Час был тяжел и неестественно длинен, и когда Яков Артамонов устало сел на стул в комнате, заставленной книжными шкафами, Нестеренко тихо, прислушиваясь к чему-то, сказал:

— Ну-с, приятеля нашего укокали. Это несомненно, хотя и недоказано. Сделано ловко, можно похвалить. Теперь вот что: дама вашего сердца, Пелагея Назарова, знакома с девицей Сладкопевцевой, на-днях арестованной в Воргороде. Знакома?

— Не знаю, —сказал Яков и сразу весь вспотел, а жандарм поднес руку к носу и, рассматривая ногти, сказал очень спокойно:

— Знаете.

— Кажется — знакома.

— Вот именно.

«Что ему надо?» — соображал Яков, исподлобья рассматривая серое, в красных жилках, плоское лицо с широким носом, мутные глаза, из которых как будто капала тяжкая скука и текли остренькие струйки винного запаха.

— Я говорю с вами не официально, а как знакомый, который желает вам добра и которому не чужды ваши деловые интересы, — слышал Яков сиповатый голос. — Тут, видите ли, какая штука, дорогой мой... стрелок!

Жандарм усмехнулся, помолчал и объяснил:

— Я говорю — стрелок, потому что мне известен еще один случай неудачного пользования вами огнестрельным оружием. Да, так вот, видите ли: девица Сладкопевцева знакома с Назаровой, дамой вашего сердца. Теперь — сообразите: род деятельности охотника Носкова никому, кроме вас и меня, не мог быть известен. Я — исключаюсь из этой цепи знакомств. Носков был не глуп, хотя — вял и...

Нестеренко, вздохнув, посмотрел под стол:

— Ничто не вечно. Остаетесь — вы...

Якову Артамонову казалось: изо рта офицера тянутся не слова, но тонкие, невидимые петельки, они захлестывают ему шею и душат так крепко, что холодеет в груди, останавливается сердце и все вокруг, качаясь, воет как зимняя вьюга. А Нестеренко говорил с медленностью, — явно нарочитой:

— Я думаю, я почти уверен, что вами была допущена некоторая неосторожность в словах, да? Вспомните-ка!

— Нет, — тихо сказал Яков, опасаясь, как бы голос его не выдал его.

— Так ли? — спросил офицер, размахнув усы красными пальцами.

— Нет, — повторил Яков, качая головою.

— Странно. Очень странно. Однако — поправимо. Вот что-с: Носкова нужно заменить таким же человеком, полезным для вас. К вам явится некто Минаев, вы наймете его, да?

— Хорошо, — сказал Яков.

— Вот и все. Кончено. Будьте осторожны, прошу вас! Никаким дамам — ни - ни! Ни слова. Понимаете?

«Он говорит, как с мальчишкой, с дураком», — подумал Яков.

Потом жандарм говорил о близости осеннего перелета птиц, о войне и болезни жены, о том, что за женою теперь ухаживает его сестра.

— Но надо готовиться к худшему, — сказал Нестеренко и, взяв себя за усы, приподнял их к толстым мочкам ушей; приподнялась и верхняя губа его, обнажив желтые косточки.

«Бежать, — думал Яков, — запутает он меня. Уехать»...

«Чорт вас всех возьми, — думал он, идя берегом Оки. — На что вы мне нужны? На что?»

Мелкий дождь, предвестник осени, лениво кропил землю; желтая вода реки покрылась рябью; в воздухе, теплом до тошноты, было что-то еще более углублявшее уныние Якова Артамонова. Неужели

нельзя жить спокойно, просто, без всяких этих ненужных, бессмысленных тревог?

Но, как обоз в зимнюю метель, двигались один за другим месяцы, тяжело и обильно нагруженные необычно тревожным.

Пришел с войны один из Морозовых, Захар, с георгиевским крестом на груди, с лысой, в красных язвах, обгоревшей головою, ухо у него было оторвано, на месте правой брови — красный рубец, под ним прятался какой-то раздавленный, мертвый глаз, а другой глаз смотрел строго и внимательно. Он сейчас же сдружился с кочегаром Кротовым и хромой ученик Серафима Утешителя запел, заиграл:

Эх, ветер дует, дождь идет,
Я лежу в окопе.
Помогаю, идиет,
Воевать Европе!

Яков спросил Морозова:

— Что, Захар, плохо воюем?

— Хорошо-то нечем, — ответил ткач. Голос у него был дерзко лающий, в словах слышалось отчаянное бесстыдство песенок кочегара.

— Хозяина нет у нас, Яков Петрович, — говорил он в лицо хозяину.— Хозяйствуют жулики.

Этот человек и Васька-кочегар стали как-то особенно заметны, точно фонари, зажженные во тьме осенней ночи. Когда веселый Татьянин муж нарядился в штаны с широкой, до смешного, мотней и такого же цвета, как гнилая Захарова шинель, кочегар посмотрел на него и запел:

Вот так брючки для растяп!
Сразу видно разницу:
Одни—голову растят,
А другие—задницу!

К удивлению Якова зять не обиделся на эту насмешку, а захохотал, явно поощряя кочегара на дальнейшее словесное озорство. Рабочие тоже смеялись и особенно хохотала фабрика, когда Захар Морозов привел на двор мохнатого кутенка, с пушистым, геройски загнутым на спину, хвостом, на конце хвоста, привязан мочалом, болтался беленький георгиевский крест. Мирон не стерпел этого озорства, Захара арестовала полиция, а кутенок очутился у Тихона Вялова.

По улицам города ходили хромые, слепые, безрукие и всячески изломанные люди в солдатских шинелях и все вокруг окрашивалось в гнойный цвет их одежды. Изломанных, испорченных солдат водили на прогулки городские дамы, дамами командовала худая, тонкая, похожая на метлу, Вера Попова; она привлекла к этому делу и Полину, но та, потряхивая головою, кричала, жаловалась:

— Ой, нет, я не могу! Это безобразие! Ты посмотри, Яша, они все молодые, здоровые и все изувечены и такой запах от них, — не могу! Послушай — уедем!

— Куда? — уныло спрашивал Яков, видя, что его женщина становится все более раздражительной, страшно много курит и дышит горькой гарью. Да и вообще все женщины в городе, а на фабрике — особенно, становились злее, ворчали, фыркали, жаловались на дороговизну жизни, мужья их, посвистывая, требовали увеличения заработной платы, а работали все хуже; поселок вечерами шумел и рычал по-новому громко и сердито.

Среди рабочих мелькал солидный слесарь Минаев, человек лет тридцати, черный, носатый, как еврей; Яков боязливо сторонился его, стараясь не встречаться со взглядом слесаря, который смотрел на всех людей темными глазами так, как будто он забыл о чем-то и не может вспомнить.

Грязным обломком плавал по двору отец, едва передвигая больные ноги. Теперь на его широких плечах висела дорожная лисья шуба с вытертым мехом, он останавливал людей, строго спрашивая:

— Куда идешь?

А когда ему отвечали, махал рукою, бормотал:

— Ну, ступай. Бездельники. Клопы, моей кровью живете!

Его лиловатое, раздутое лицо брезгливо дрожало, нижняя губа отваливалась; за отца было стыдно пред людьми. Сестра Татьяна целые дни шуршала газетами, тоже чем-то испуганная до того, что у нее уши всегда были красные. Мирон птицей летал в губернию, в Москву и Петербург, возвратясь, топал широкими каблуками американских ботинок и злорадно рассказывал о пьяном, распутном мужике, пиявкой присосавшемся к царю.

— В живого такого мужика — не верю! — упрямо говорила полуслепая Ольга, сидя рядом со снохой на диване, где возился и кричал ее двухлетний сын Платон. — Это нарочно выдумано, для примера...

— Это — замечательно! — возглашал веселый Татьянин муж. — Это изумительно! Деревня — мстит! Ага?

Он радостно потирал жирненькие руки свои, обросшие рыжей шерстью. Он один уверенно ждал какого-то праздника.

— Боже мой! — с досадой восклицала Татьяна. — Что тебя радует? Не понимаю.

Удивленно открыв рот, Митя каркал:

— Ка-ак? Ты не понимаешь? Так пойми же! За все, что она претерпела, деревня — мстит! В лице этого мужика она выработала в себе разрушающий яд...

— Позвольте, — морщась, сказал Мирон. — Еще недавно вы говорили иное...

Но Митя почти исступленно, захлебываясь словами, говорил проникновенным шопотом:

— Это — символ, но не просто мужик! Три года тому назад они праздновали трехсотлетний юбилей своей власти, и вот...

— Чепуха, — резко сказал Мирон; доктор Яковлев, как всегда, усмехался, а Яков Артамонов думал, что если эти речи станут известны жандарму Нестеренко...

— Зачем вы все это говорите? — спрашивал он. — Какой толк? — И уговаривал: — Перестаньте!

Он замечал, что и Мирон необыкновенно рассеян, встревожен, это особенно расстраивало Якова. В конце концов из всех людей только один Митя оставался таким же, каким был, так же вертелся волчком, брызгал шуточками и, по вечерам, играя на гитаре, пел:

Жена моя в гробу...

Но Татьяне уже не нравились его песенки:

— Фу, как это надоело! — говорила она и шла к детям.

Митя ловко умел успокаивать рабочих; он посоветовал Мирону закупить в деревнях муки, круп, гороха, картофеля и продавать рабочим по своей цене, начисляя только провоз и утечку. Рабочим это понравилось, а Якову стало ясно, что фабрика верит веселому человеку больше, чем Мирону, и Яков видел, что Мирон все чаще ссорится с Татьяниным мужем...

— Вы хотите держать нос по ветру? — четко, не скрывая злобы, спрашивает Мирон, а Митя, улыбаясь, отвечает:

— Воля народа... право народа...

— Я спрашиваю: кто же собственно вы? — кричит Мирон.

— Будет вам орать, — ворчит Артамонов старший, но Яков видит в тусклых глазах отца искорки удовольствия, старику приятно видеть, как ссорятся зять и племянник, он усмехается, когда слышит раздраженный визг Татьяны, когда мать робко просит:—Налей мне, Таня, еще чашечку...

Все новое было тревожно и выскакивало как-то вдруг без связи с предыдущим. Вдруг совершенно ослепшая тетка Ольга простудилась и через двое суток умерла, а через несколько дней после ее смерти город и фабрику точно громом оглушило: царь отказался от престола.

— Что же теперь, — республика будет? — спросил Яков брата, радостно воткнувшего нос в газету.

— Республика, конечно!—ответил Мирон, склонясь над столом, он упирался ладонями в распластанный лист газеты так, что бумага натянулась и вдруг лопнула с треском. Якову это показалось дурным предзнаменованием, а Мирон разогнулся, лицо у него было необыкновенное, и он сказал несвойственным ему голосом, крикливо, но ласково:

— Начнется выздоровление, обновление России — вот что, брат!

И размахнул руками, как бы желая обнять Якова, но тотчас одну руку опустил, а другую, подержав протянутой, поднял, поправил пенснэ, снова протянул руку, стал похож на семафор и заявил, что завтра же вечером едет в Москву.

Митя тоже размахивал руками, точно озябший извозчик, он кричал:

— Теперь все пойдет отлично; теперь народ скажет, наконец, свое мощное слово, давно назревшее в душе его.

Мирон уже не спорил с ним; задумчиво улыбаясь, он облизывал губы; а Яков видел, что так и есть: все пошло отлично, все обрадовались. Митя

с крыльца рассказывал рабочим, собравшимся на дворе, о том, что делалось в Петербурге; рабочие кричали ура, потом, схватив Митю за руки, за ноги, стали подбрасывать в воздух. Митя сжался в комок, в большой мяч, и взлетал очень высоко, а Мирон, когда его тоже стали качать, как-то разламывался в воздухе, казалось, что у него отрываются и руки и ноги. Митю окружила толпа старых рабочих, и огромный, жилистый ткач Герасим Воинов кричал в лицо ему:

— Митрий Павлов, ты — удобный человек, удобный — понял? Ребята — уру ему!

Кричали ура, а кочегар Васька, приплясывая, блестя лысоватым черепом, орал точно пьяный:

Эх, далеко люди сидели
От царева трона.
Подошли, да поглядели—
На троне — ворона.

— Делай, Вася, — поощряли его.

Якова тоже хотели качать, но он убежал и спрятался в доме, будучи уверен, что рабочие, подбросив его вверх, не подхватят на руки, и тогда он расшибется о землю. А вечером, сидя в конторе, он услыхал на дворе под окном голос Тихона:

— Зачем отнял кутенка? Ты продай его мне. Я из него хорошую собаку сделаю.

— Э, старик, разве теперь время собак воспитывать? — ответил Захар Морозов.

— А ты чего делаешь? Продай, возьми целковый, ну?

— Отстань.

Яков, выглянув из окна, сказал:

— Царь-то, Тихон, а?

— Да, — отозвался старик и, посмотрев за угол дома, тихонько свистнул.

— Свергли царя-то!

Тихон, наклонился подтягивая голенище сапога, и сказал в землю:

— Разыгрались. Вот оно Антоново слово: потеряла кибитка колесо.

Выпрямился и пошел за угол дома, покрикивая негромко:

— Тулун, Тулун...

Хороводом пошли крикливо веселые недели; Мирон, Татьяна, доктор— да и все люди стали ласковее друг с другом; из города явились какие-то незнакомые и увезли с собою слесаря Минаева. Потом пришла весна, солнечная, жаркая.

— Послушай, солененький, — говорила Полина, — я все-таки не понимаю, как же это? Царь отказался царствовать, солдат всех перебили, изувечили; полицию разогнали, командуют какие-то штатские, — как же теперь жить? Всякий чорт будет делать все, что хочет, и, конечно, Житейкин не даст мне покоя. И он и все другие, кто ухаживал за мной и кому

я отказала. Я не хочу, не могу теперь, когда все за одно, жить здесь, я должна жить там, где меня никто не знает! И потом: ведь уж если это сделано, — революция и свобода, то, конечно, для того, чтоб каждый жил, как ему нравится!

Полина говорила все настойчивее, все многословней. Яков чувствовал в ее речах нечто неоспоримое и успокаивал:

— Подожди немного, утрясется это, тогда...

Но он уже не верил, что волнение вокруг успокоится, он видел, что с каждым днем на фабрике шум вскипает гуще, становится грозней. Человек, который привык бояться, всегда найдет причину для страха: Якова стал пугать жареный череп Захара Морозова, Захар ходил царьком, рабочие следовали за ним, как бараны за овчаркой, Митя летал вокруг него ручной сорокой. В самом деле, Морозов приобрел сходство с большой собакой, которая выучилась ходить на задних лапах; сожженная кожа на голове его должно быть полопалась, он иногда обертывал голову, как чалмой, купальным мохнатым полотенцем Татьяны, которое дал ему Митя; огромная голова, придавив Захара, сделала его ниже ростом; шагал он важно, как толстый помощник исправника Экке, большие пальцы держал за поясом отрепанных солдатских штанов и, пошевеливая остальными пальцами, как рыба плавниками, покрикивал:

— Товарищи — порядок!

Он судил троих парней за кражу полотна; громко, так что было слышно на всем дворе, он спрашивал воров:

— Вы понимаете у кого украли?

И сам же отвечал:

— Вы украли у себя, у всех нас. Разве можно теперь воровать, сукины дети?

Он приказал высечь воров, и двое рабочих с удовольствием отхлестали их прутьями ветлы, а Васька кочегар исступленно пел, приплясывая:

Вот как нынче насекомых секут!
Вот какой у нас праведный судья...

Сорвался, забормотал что-то, разводя руками, и вдруг крикнул:

— Спаси, господи, люди твоя!

Митя закричал:

— Браво-о!

Митя бегал в сереньких брючках, в кожаной фуражке, сдвинутой на затылок, на рыжем лице его блестел пот, а в глазах сияла хмельная, зеленоватая радость. Вчера ночью он крепко поссорился с женою; Яков слышал, как из окна их комнаты в сад летел сначала громкий шопот, а потом несдерживаемый крик Татьяны:

— Вы — клоун! Вы — бесчестный человек! Ваши убеждения? У нищих — нет убеждений. Ложь! Месяц тому назад эти твои убеждения... Довольно. Завтра я уезжаю в город, к сестре... Да, дети со мной...

Это не удивило Якова, он давно уже видел, что рыженький Митя становится все более противным человеком, но Яков был удивлен и даже несколько гордился тем, что он первый подметил ненадежность рыженького. А теперь даже мать, еще недавно любившая Митю, как она любила петухов, ворчала:

— Что уж это, какой он стал несогласный, будто жиденок! Вот корми их...

Митя кричал:

— Все — превосходно! Жизнь — красавица, умница! Но басни о возможности мирного сожительства волков с баранами — это надо забыть, Татьяна Петровна! С этим опоздали!

Мирон озлобленно и сухо спросил его:

— А что вы скажете завтра?

— Что жизнь подскажет. Да. Ну-с, дальше?

Жена и Мирон ходили около Мити так осторожно, точно он был выпачкан сажей. А через несколько дней Митя переехал в город, захватив с собою имущество свое: три больших связки книг и корзину с бельем.

Всюду Яков наблюдал бестолковую, пожарную суету; все люди дымились дымом явной глупости и ничто не обещало близкого конца этим сумасшедшим дням.

— Ну, — сказал он Полине, — я решил: едем! Сначала в Москву, а там — подумаем...

— Наконец-то! — обрадовалась женщина, обнимая, целуя его.

Июльский вечер, наполнив сад красноватым сумраком, дышал в окна тяжким запахом земли, размоченной дождем, нагретой солнцем. Было хорошо, но — грустно.

Сняв со своей шеи горячие, влажные руки Полины, Яков задумчиво сказал:

— Прикрой грудь... Вообще — оденься! Надо — серьезно.

Она соскочила на пол с колен его, в два прыжка подбежала к постели, окуталась халатом и деловито села рядом с ним.

— Видишь ли, — заговорил Яков, растирая ладонью бороду по щеке так, что волоса скрипели.—Надо подумать, поискать такое место, государство, где спокойно. Где ничего не надо понимать и думать о чужих делах не надо. Вот!

— Конечно, — сказала Полина.

— Все надо делать осторожно. Мирон говорит: поезда набиты беглыми солдатами. Надо прибедниться...

— Только ты возьми с собой побольше денег.

— Ну, да, разумеется. Я уеду так, чтоб мои не знали — куда. Я, будто, в Воргород поеду — понимаешь?

— А зачем скрывать? — удивленно и недоверчиво спросила Полина.

Он не знал — зачем; эта мысль только что явилась у него, но он чувствовал, что это — хорошая мысль.

— Ну, знаешь — отец, Мирон, расспросы... Это все — не нужно. Деньги — в Москве, денег я могу достать много, хороших...

— Только скорее, — просила Полина. — Ты видишь: жить — нельзя. Все дорого и ничего нет. И, наверное, будут грабить, потому что — как жить?

Оглянувшись на дверь, она шептала:

— Вот кухарка была добрая, а теперь стала дерзкая и всегда точно пьяная. Она может зарезать меня во сне, почему же не зарезать, если все так спуталось? Вчера слышу — перешептывается с кем-то. Боже мой, — думаю, вот! Но приотворила тихонько дверь, а она стоит на коленках и рычит. Ужас!

— Подожди, — остановил Яков быстрый поток ее тревожного шопота. — Сначала уеду я...

— Нет, — громко сказал она, ударив кулачком своим по колену. — Сначала — я! Ты дашь мне денег и...

— Что ж ты не веришь мне? — обиженно и сердито спросил мужчина и получил твердо сказанный ответ:

— Не верю. Я — честная, я говорю прямо: нет! Разве можно теперь верить, когда все и царю изменили и всему изменяют? Ты — кому веришь?

Она говорила убедительно и еще более убедительно говорила грудь ее из складок распахнувшегося халата. Яков Артамонов уступил ей; решили, что она завтра же начнет собираться, поедет в Воргород и там подождет его.

На другой же день Яков стал жаловаться на боли в желудке, в голове, это было весьма правдоподобно; за последние месяцы он сильно похудел, стал вялым, рассеянным, радужные глаза его потускнели. И через восемь дней он ехал по дороге от города на станцию; тихо ехал по краю избитого шоссе с вывороченным булыжником, торчавшим среди глубоких выбоин, в них засохла грязь, вздутая горбом, исчерченная трещинами. Сзади его оставалась такая же разбитая, развороченная жизнь, а впереди из мягкой ямы в центре дымных туч белесым пятном просвечивало мертвенькое солнце...

Через месяц Мирон Артамонов, приехав из Москвы, сказал Татьяне, наклонив голову, разглядывая ладонь свою:

— Должен сообщить тебе нечто печальное: в Москве ко мне явилась эта пошлая девица, с которой жил Яков, и сказала, что какие-то люди — гм, какие теперь люди? — избили его и выбросили из вагона...

— Нет! — крикнула Татьяна, попробовав встать со стула.

— На ходу поезда. Через двое суток он скончался и похоронен ею на сельском кладбище около станции «Петушки».

Татьяна молча прижала платок к своим глазам, ее острые плечи задрожали; черное платье как-то потекло с них, как будто эта женщина, тощая, с длинной шеей, стала таять.

Мирон поправил пенснэ, хрустнул пальцами, потирая руки, послушал звон одинокого колокола, благовест ко всенощной, затем, шагая по комнате, сказал:

— Что же плакать? Между нами, он был совершенно бесполезный человек и неприлично глуп, прости! Разумеется — жалко! Да.

— Боже мой, — сказала Татьяна, мигая покрасневшими веками и помуслив палец, пригладила брови.

— Эта бойкая девица, — говорил Мирон, сунув руки в карманы, — весьма неискусно притворяется печальной вдовой, но одета настолько шикарно, что — ясно: она обобрала Якова. Она говорит, что писала нам сюда.

Татьяна отрицательно мотнула головою.

— Нет? Я так и знал. Я полагаю, что отцу и матери не нужно говорить об этом, пусть думают, что Яков жив. Так?

— Да, это лучше, — согласилась Татьяна.

— Впрочем, дядя, кажется, ничего уже не понимает, но мать утопила бы себя в слезах...

Покачав головою, Татьяна сказала:

— Скоро мы все погибнем.

— Возможно, если останемся здесь. Но я немедля отправляю жену и детей прочь отсюда. Советую и тебе убраться, не дожидаясь, когда Захар Морозов... Итак: мы старикам ничего не скажем. Ну, извини меня, еду домой, жена нездорова...

Длинною рукою своей он встряхнул руку сестры и ушел, сказав:

— Невероятно трудно ездить теперь, дороги — в ужаснейшем состоянии!

Артамонов старший жил в полусне, медленно погружаясь в сон, все более глубокий. Ночь и большую часть дня он лежал в постели, остальное время сидел в кресле против окна; за окном голубая пустота, иногда ее замазывали облака; в зеркале отражался толстый старик с надутым лицом, заплывшими глазами, клочковатой серой бородою. Артамонов смотрел на свое лицо и думал:

— Хорош комар.

Приходила жена, наклонялась над ним, тормошила и хныкала:

— Уехать надо, лечиться надо...

— Уйди, — лениво говорил Артамонов. — Уйди, лошадь. Надоела. Дай покою.

И, оставаясь один, прислушивался, как празднично шумят люди на дворе, в саду, везде. А фабрика — молчит.

Привычный собеседник, обманутый человек, оживлявший Артамонова уколами своих мыслишек — исчез, умер. И хорошо сделал, — думать старику было трудно, не хотелось, да он давно уже понял, что и бесполезно думать, потому что понять ничего нельзя. Куда исчезли все: Яков, Татьяна, зять?

Иногда он спрашивал жену:

— Илья воротился?

— Нет.

— Нет еще?

— Нет.

— А Яков?

— И Яков.

— Так. Гуляют. А дело Мирошка сосет.

— Ты не думай про это, — советовала Наталья.

— Уйди.

Она уходила в угол и сидела там, глядя тусклыми глазами на бывшего человека, с которым истратила всю свою жизнь. У нее тряслась голова, руки двигались неверно, как вывихнутые, она похудела, оплыла, как сальная свеча.

Изредка, но все чаще, Петра Артамонова будила непонятная суета в доме, являлись какие-то чужие люди, он присматривался к ним, стараясь понять их шумный бред, слышал вопли жены:

— Господи, да — что же это? За что? Ведь это — хозяин, хозяева мы! Ну, дайте, я увезу его, ему лечиться надо, в город надо ему! Да позвольте же увезти-то...

— Спрятать хочет. А чего прятать? — соображал Артамонов. — Дура. Весь век свой дурой жила. Яков — в нее родился. И — все. А Илья — в меня. Вот он воротится, — он наведет порядок...

Шел дождь, падал снег, трещал мороз, выла и посвистывала метель.

Из этого состояния полуяви, полусна Артамонова вытряхнуло острое ощущение голода. Он увидал себя в саду, в беседке; сквозь ее стекла и между мокрых ветвей просвечивало красноватое, странно близкое небо, казалось, что оно висит тут же, за деревьями и до него можно дотронуться рукою.

— Есть хочу, — сказал Артамонов; ему не ответили.

Синеватая сырая мгла наполняла сад; перед беседкой стояли, положив головы на шеи друг другу, две лошади, серая и темная; на скамье за ними сидел человек в белой рубахе, распутывая большую связку веревок.

— Наталья, — слышишь? Есть давай...

Прежде, когда он, очнувшись от забытья, звал жену, она тотчас являлась, она всегда была где-то близко, а сегодня — нет ее.

«Неужто? — подумал Артамонов, и в голове его стало яснее. — Или захворала?»

Он приподнял голову, у двери в баню сквозь кусты что-то блестело, потом оказалось, что это ружье со штыком за спиною зеленоватого солдата, неразличимого в кустах. На дворе кто-то кричал:

— Вы что, товарищи, шутите? Разве так лошадей держат? Так свиней не держат! Почему сено не убрано и намокло? А в баню, под замок — хочешь?

Человек в белой рубахе сбросил веревки с колен на землю и встал, сказав негромко в сторону солдата:

— Явился еси, с небеси, чорт его унеси!

— Командиров стало больше прежнего, — ответил солдат.

— И кто их, дьяволов, назначает?

— Сами себя. Теперь, браток, все само собой делается, как в старухиной сказке.

Человек подошел к лошадям, взял их за гривы, Артамонов старший крикнул как мог громко:

— Эй, позови жену!

— Молчи, старик, — ответили ему. — Ишь ты, жену захотел...

Лошади ушли. Артамонов провел ладонью по лицу, по бороде, холодными пальцами пощупал ухо, осмотрелся. Он лежал у глухой незастекленной стены беседки, под яблоней, на которой красные яблоки висели гроздьями, как рябина; лежать было жестко; он покрыт своей изношенной лисьей шубой и на нем толстый зимний пиджак. Но — не жарко. Нельзя понять — зачем он тут? Может быть, в доме предпраздничная уборка? Какой же праздник? Зачем лошади в саду и солдат у бани? И кто это орет во дворе?

— Вы, товарищ, — бестолковый мальчишка! Чего? Люди устали? Уставать — рано! Без дураков...

Кричали далеко, но крик оглушал, вызывая шум в голове. И ног как будто нет; от колен не двигаются ноги. Яблоню на стене писал маляр Ванька Лукин, вор; он потом обокрал церковь и помер, сидя в тюрьме.

В беседку вошел кто-то очень широкий, в мохнатой шапке; он внес холодную тень и густой запах дегтя.

— Это — Тихон?

— А как же...

Ворчливый ответ Тихона тоже оглушил. Старый дворник развел руками, точно поплыл над скрипучим полом.

— Кто это орет?

— Захарка Морозов.

— А солдат к чему тут?

— Война.

Помолчав, Артамонов спросил:

— И сюда враг дошел?

— Это — против тебя война, Петр Ильич...

Хозяин строго сказал:

— Ты, старый дурак, не шути, я тебе не товарищ!

Он услыхал спокойный ответ:

— Последняя война, больше не хотят. И теперь — все товарищи. А для дурака я, действительно, стар.

Было ясно, что Тихон издевается. Вот он бесцеремонно сел в ногах хозяина, не сняв шапку. На дворе сиповато, сорванным голосом, командуют:

— И чтобы после восьми часов на улицах — никаких фигур!

— Где жена? — спросил Артамонов.

— Ушла хлеба искать.

— Как это — искать?

— А как же? Хлеб — не кирпич, на земле не валяется.

Сумрак в саду становился все гуще, синее; около бани зевнул, завыл солдат, он стал совсем невидим, только штык блестел, как рыба в воде. О многом хотелось спросить Тихона, но Артамонов молчал: все равно у Тихона ничего не поймешь. К тому же и вопросы как-то прыгали, путались, не давая понять, который из них важнее. И очень хотелось есть.

Тихон заворчал:

— Дурак, а правду понял раньше всех. Вот оно, как повернулось. Я говорил: всем каторга! И — пришло. Смахнули, как пыль тряпицей. Как стружку смели. Так-то, Петр Ильич. Да. Чорт строгал, а ты — помогал. А — к чему все? Грешили, грешили, — счета нет грехам! Я все смотрел: диво! Когда конец? Вот наступил на вас конец. Отлилось вам свинцом все это... Потеряла кибитка колесо...

— Бредит, — сообразил Артамонов, но все-таки спросил:

— Зачем я тут?

— Выгнали из дома.

— Мирон?

— Всех.

— А... Яков?

— Его давно нет.

— Где Илья?

— Слышно — с этими. Надо быть, потому ты и жив, что он — с ними, а то...

«Бредит, — уверенно решил Петр Артамонов и замолчал, думая: — Выжил из ума старичишко. Так и надо было ждать.»

Мелкие, тускленькие звезды высыпались в небо; раньше, как будто, не было таких звезд. И не было их так много.

Тихон взял шапку и, тиская ее в руках, снова заворчал:

— Отрыгнулась вам вся хитрая глупость ваша. Нищим — легче.

Вдруг, иным голосом, он спросил:

— Помнишь мальчишку-то, конторщикова-то?

— Ну? Так что?

Петр Артамонов не мог понять: испугал или только удивил его этот неожиданный вопрос? Но он тотчас понял, как только Тихон сказал:

— Убил ты его, как Захар кутенка. А на что убил?

Артамонову стало ясно: Тихон, наконец, все-таки донес на него и вот он, больной, арестован. Но это не очень испугало его, а скорей возмутило нечеловеческой глупостью. Он оперся локтями, приподнял голову, заговорил тихо с укором и насмешкой, чувствуя на языке какую-то горечь и сухость во рту:

— Это ты — врешь! И — для каждого проступка есть срок, давность! А ты — все сроки пропустил. Да! И — сошел с ума. И — забыл, что сам видел, сам сказал тогда...

— А что я сказал? — перебил его старик. — Я, конешно, не видел, ну, я понял! Сказал, чтоб поглядеть: что ты будешь делать? Я — лжу

сказал, а ты — рад, схватился за лжу. Я глядел-глядел, ждал-ждал. И все вы—такие. Алексей Ильич научил тестя своего, пьяницу, трактир Барского поджечь, а твой отец догадался об этом, устроил, что убили пьяницу до смерти. Никита Ильич знал это, он тоже до всего доходил умом. Ему бы молчать, а он со зла на тебя мне сказал. Я говорю: ты монах, тебе все это забыть надо, а я — буду помнить. Запугали вы его делами вашими. Послали его в петлю, а после в монастырь, молись за нас! А ему за вас и молиться страшно было, — не смел! И оттого — бога лишился...

Казалось, Тихон может говорить до конца своих дней. Говорил он тихо, раздумчиво и, как будто, беззлобно. Он стал почти невидим в густой, жаркой тьме позднего вечера. Его шершавая речь, напоминая ночной шорох тараканов, не пугала Артамонова, но давила своей тяжестью, изумляя до немоты. Он все более убеждался, что этот непонятный человек сошел с ума. Вот он длительно вздохнул, как бы свалив с плеч своих тяжесть, и продолжал все так же однотонно раскапывать прошлое, ненужное:

— Веры вы и меня, Артамоновы, лишили. Никита Ильич сбил меня из-за вас, сам обезбожил и меня... Ни бога, ни чорта нет у вас. Образа в доме держите для обмана. А что у вас есть? Нельзя понять. Будто и есть что-то. Обманщики. Обманом жили. Теперь — все видно: раздели вас...

С трудом пошевелив тело свое, Артамонов сбросил на пол страшно тяжелые ноги, но кожа подошв не почувствовала пола, и старику показалось, что ноги отделились, ушли от него, а он повис в воздухе. Это испугало его, он схватился руками за плечо Тихона.

— Куда? — спросил дворник, грубо стряхнув его руки. — Не тронь. Силы у тебя нет, не задушишь. У отца твоего — была сила, — хвастовством изошла. Веры, говорю, лишили вы меня; не знаю, как теперь и умереть мне. Загляделся на вас, беси...

Артамонов все сильнее хотел есть и его очень пугали ноги.

— Неужто — умираю? Мне еще семидесяти пяти нет. Господи...

Он снова попробовал лечь, но нехватило сил поднять ноги. Тогда он приказал Тихону:

— Помоги, подними ноги мои!

Положив на скамью мертвые ноги бывшего хозяина, Тихон сплюнул, снова сел, тыкая рукою в шапку, в руке его что-то блестело. Артамонов присмотрелся — это игла. Тихон в темноте ушивал шапку, утверждая этим свое безумие. Над ним мелькала серая, ночная бабочка. В саду, в воздухе вытянулись три полосы желтого цвета и чей-то голос далеко, но внятно сказал:

— Назад, товарищи, оборота нет и не будет для нас...

Тихон заглушил этот голос:

— Тоже и отец твой; он брата моего убил.

— Врешь, — невольно сказал Артамонов, но тотчас спросил: — Когда?

— Вот те и когда...

— Что ты все врешь, безумный? — вдруг возмутился Артамонов, ощущая, как голод сосет и сушит его. — Что тебе надо? Совесть мне ты, судья? Зачем ты молчал тридцать лет с лишком?

— Вот и молчал. Значит — думал!

— Злобу копил? Эх... Ну, ступай, донеси полиции.

— Полиции — нет.

— Скажи — вот, он меня всю жизнь поил, кормил, — судите его! Ты ведь донес уж. Чего же надо, ну! Прижми, припугни меня, — денег требуй, ну?

— Денег у тебя нет. Ничего у тебя нет. И — не было. А на судей мне — наплевать. Я — сам себе судья.

— Так чем ты грозишь, бредовой человек?

Но Тихон как будто не грозил, Артамонов смутно чувствовал это. Тихон ворчал:

— Конец всем Каинам. За что брата убили?

— Врешь про брата!

Старики начали говорить быстрее, перебивая друг друга:

— Я — вру? Я с ним был тогда...

— С кем?

— С братом. Я убежал, когда отец твой кокнул его. Это его кровью истек отец-то. Для чего кровь-то?

— Опоздал ты...

— Ну, вот, — опрокинули все, свалили, остался ты беззащитный, а я, как был, в стороне...

— Безумным остался...

Артамонов чувствовал, что бывший землекоп загоняет его в угол, в яму, где все неразличимо, непонятно и страшно. Он настойчиво твердил:

— Опоздал ты. Брата — врешь — не было у тебя, у таких, как ты, ничего не бывает...

— Совесть бывает.

— Ты сам сбил мне с толка сына, Илью!

— Это вы, Артамоновы, сбили меня с толка, Никита Ильич разбередил.

— А он говорил — ты его!

— Мне сколько раз убить хотелось отца-то твоего. Я его чуть лопатой по голове не хрястнул... Вы — хитрые...

— Ты сам...

— Серафима завели. Он тоже мутил меня, никого не обижает, а живет неправедно. Как это так? Везде — хитрости...

— Кто идет? К-куда? — сердито, громко крикнули во тьме. — Сказано вам, гадам, — после восьми не двигаться?

Тихон встал, подошел к двери и вывалился из нее во тьму. Артамонов, раздавленный волнением, голодом, усталостью, видел, как сквозь три полосы масляного света в саду промелькнуло широкое, черное. Он закрыл глаза, ожидая теперь чего-то окончательно страшного.

— Достала? — спросил Тихон кого-то.

— Вот — все!

Это — голос жены. Где была она, зачем она оставила его с этим стариком.

Артамонов открыл глаза, приподнялся на локтях, глядя в дверь, заткнутую двумя черными фигурами. Внезапно ему вспомнилось, что он всю жизнь думал о том, кто виноват пред ним, по чьей вине жизнь его была так тяжело запутана, насыщена каким-то обманом. И вот сейчас все это стало ясно.

Жена подошла к нему, наклонилась, зашептала:

— Ну, слава тебе, господи...

— Вот. Тихон, кто виноват во всем! — решительно сказал Артамонов и облегченно вздохнул.—Она жадничала, она меня настраивала, да.

Он с торжеством зарычал:

— Из-за нее и брат Никита пропал. Ты сам знаешь, да... — Артамонов задохнулся.

Было странно видеть, что жена не обиделась, не испугалась, не заплакала. Она гладила трясущейся рукою волосы на голове его и тревожно, но ласково шептала:

— Тихонько, не кричи, тут — злые все...

— Есть давай...

Жена сунула в руку его огурец и тяжелый кусок хлеба; огурец был теплый, а хлеб прилип к пальцам, как тесто.

Артамонов изумился:

— Это — что? Мне? Все?

— Тише, Христа ради, — шептала Наталья, — ведь — нет ничего! И солдатики, тоже...

— Это ты мне — за все? За весь страх, всю жизнь?

Он, взвешивая хлеб на руке, бормотал и догадывался, что случилось что-то невыносимо, смертельно оскорбительное, в чем даже и она, Наталья, не виновата.

Он швырнул хлеб к двери, сказав глухо, но твердо:

— Не хочу.

Тихон поднял хлеб, заворчал, подул на него, Наталья снова стала совать кусок в руку мужа, пришептывая:

— Кушай, кушай, не сердись...

Оттолкнув ее руку, Артамонов крепко закрыл глаза и сквозь зубы повторил с лютой яростью:

— Не хочу. Прочь.

Жизнь Тимофея Смокотинина, сына подрядчика.

(Рассказ).

Всеволод Иванов.

Журавли блуждают в небе осенью, журавли теряют путь — выйдешь вечером, на землю ложится иней, тоска идет с неба — где ж человеку с его земным сердцем знать все пути, если летящая к солнцу птица и та тоскует!

Когда, впервые после долгих войн, пришли в деревню плотники рубить богатому мужику Анфиногенову, вместо сгоревшей, новую избу, — насмешек над ними было много. То кричали, что топоры за революцию иступились — голов много порубили ими; то — осины им теперь, разучившись, не отличить от сосны; то — просто необъяснимый солдатский мат. Но все ж было приятно сознавать наступившее стоящее время, когда можно и построиться, и поработать — не зря. И все долго стояли подле накиданных холмом желтых бревен и щупали хорошие златоустовские топоры.

Подрядчик, рубивший избу, был свой, деревенский, Евграф Смокотинин, низенький широконогий старичок. Евграф был запуган: войной, голодом, непонятными налогами, а еще больше его запугали, когда вновь, после долгого перерыва, он начал подрядничать. Срубил, в волости, на совесть, лавку для кооператива, деньги назавтра получать, а кооператив возьми и лопни! Суд да дело, и не поймешь кто виноват, и взыскивать не с кого. Теперь он, окончательно, никому не верил и сам платил и себе требовал платить за работу вперед. Накануне работ ему занедужилось, или он притворился, чтоб приучать детей, но он направил смотреть за работой младшего сына своего Тимофея.

Румяному, ясному и звонкоголосому Тимофею смотреть за работой и понукать плотников было скучно. Он взял топор, выбрал потяжелее лесину и — ударил! Топор зазвенел, охнуло дерево... Утро выдалось прохладное; на исподе листьев еще не обсохла роса; подле амбара ворковали голуби — и голоса у них были деловые, как и все в это утро. Плотники, видя как старается их хозяин, тоже крепко ухватились за топорища.

Они были со стороны, не любили эту сытую деревню и им хотелось показать как по-настоящему должно работать. А хозяин словно желал с ними потягаться.

Здесь из-за амбара вышла Катерина Шапелова, вдова: мужа у ней убили на войне: она осталась с одним ребенком. Кто знает, чем она жила, говорили будто бы волостной кооператив заказывает ей для продажи вязать варежки. Да и велик ли от варежек доход: и часто, ночью, в открытое окно протягивалась из тьмы неизвестная рука, ставившая на подоконник узелок с пищей: тайная милостыня. Собой она была высокая, здоровая, молчаливая, голову держала несколько наискось и казалось — мели землю длинные каштановые, ее ресницы... Обойдя холм сутунков, сильно пахнущих смолой, она поравнялась с плотниками и медленно, словно стыдясь, взяла большую аршина в полтора длиной, щепу. Поклонилась низко, — плотники взглянули на хозяина — тот горел над лесиной: думал он вырубить из нее матицу, а попался громадный сук, значит, опозорился: в матице суков не полагается.

— Баба-то будто окно, раму бы ей подходявую: тут тебе и тепло и светло будет, — сказал один из плотников, глядя вслед Катерине.

Тимофей поднял голову и тут только увидал Катерину.

— Кто ей щепу дал?

— Сама взяла, — с неудовольствием ответил тот же плотник: хозяин молодой и глупый не знал, видно, обычая, по которому плотники могут давать щепы кому захотят.

Из-за неудавшейся матицы, из-за того, что по голосу плотников можно было понять, что он спорол какую-то глупость, — Тимофей рассердился, догнал уже ушедшую за амбар Катерину, схватил ее за рукав синей кофты и раздраженно крикнул:

— Кто тебе позволил щепы таскать?

Катерина плавно качнула плечами, — кофта у ней была старая, заплатанная, плохо застегнутая на груди и, должно быть, надетая на голое тело — потому-то она и прижала щепу к груди словно ребенка, — и от этого ее движения словно что-то зарябило внутри Тимофея. Он протянул руку — с бабами он был боек — и вместо щепы, через незастегивавшуюся прореху, схватил ее за грудь. Катерина, не так как иные бабы: не завизжала, не заерзала, и ноги ее остались твердыми, — она даже будто и не спешила его оттолкнуть, Катерина только сказала:

— Полно, — и выпустила щепу.

Щепа медленно скользнула, ткнулась концом в землю и, прежде чем свалиться, легонько качнулась, словно вздыхая. Катерина подобрала под платок руки, повернулась, и вдруг Тимофею показалось, что вместе со щепой скользнуло также его сердце, также торчком, также качнулось...

— Иди ты, задавалка, — прокричал он и, похлопывая себя отнятой щепой по сапогу, вернулся к работе. А щепа-то была тяжелая и казалось: похлопывает он себя поленом.

— Грош на разживу да щепочки на растопку, — насмешливо подразнил его все тот же плотник.

Но Тимофей не огрызнулся.

Попробовал он было выбрать новую лесину для матицы, но вдруг оказалось, что лес-то сплошь мяндач: сучковатый и сырой; что место для избы выбрано покатое, надо скапывать, выпрямлять; да и плотники лодыри, много курят и смеются. Захотелось домой: выпить чаю: пойти на реку — выкупаться.

— Канительше папаши получится, — сказал ему вслед насмешливый плотник: — жоха вырастет для нашего сословия.

И все плотники согласились с его мыслью.

Отец лежал на голбце, и когда сын вошел, он заохал, застонал, — Тимофею было противно видеть его притворство — отец начал выспрашивать, как идет рубка. Кипящий самовар стоял на столе, сестра налила Тимофею чашку и придвинула сахар в стеклянной сахарнице, похожей на подойник. Тимофей не ответил отцу и выругал сестру:

— Только и знаете чай жрать, а он два цалковых кирпич!

Вышел на реку. На противоположном берегу в зарослях перекликались бабы, сбиравшие смородину. Он и на это рассердился. Стянул было сапог — выкупаться — онучи были горячие и свернулись трубочкой, отдаленно напоминая форму его ноги. Он хлопнул кулаком по онуче.

Лето выдалось тихое, запашистое. К вечеру выпадал легкий дождь, выбивая каплями в пыли тонкую сетку; росы были тяжелы и теплы; майки — ароматные жуки, носившиеся по вечерам, тыкались словно играя в волосы: поздравляли с урожаем. Работать бы, рубить бы в это лето, все перепахать, все застроить, всю округу!

А Тимофей с того утра так и не заглядывал к срубу. Отец поругался, поругался и пришел сам вести дело. И на пашню не хотелось Тимофею, а с пашни все приезжали усталые, выпить было не с кем, и даже варка самогона уменьшилась. Вздумалось Тимофею погулять по реке с броднем, а как сунул ногу в воду, так чуть было не вытошнило.

— Поди-ты, — смущенно сказал он опуская бродень на теплый песок: — болесть какую, что ли, прилепили?

Вечером знахарная бабка вспрыснула его с уголька; дали выпить крещенской воды, но и от этого не стало легче. Даже спать стал плохо. Той же знахарке обещал шерстяную юбку, если ночью приведет на сеновал Катерину. Бабка всполошилась.

— Я тебе лучше Лизавету приведу, та и не так сухопара и соглашается. Катерина никак не ляжет. Перед мужем, грит, в обете и ни замуж, ни под мужика ни пойду. Разве гостинец обещать настоящий, вроде ботинок, что ли...

Но и бабке Катерина ответила тем же темным словом: «полно», и бабка, пристально взглянув на ее ресницы, вдруг зашикала, замахала руками.

Жара началась в небе, жара была в душе. Зрел колос и зори были пьяны своей сытостью, весельем как и поля.

Тогда Тимофей упросил отца справить ему подводу и уехал в город извозничать. Но извозчик из него выдался на редкость плохой. Хоть и стоял он на самых бойких перекрестках, вроде того что подле зеленой церквушки, похожей на лукошко с грибами; хоть и лошадь была сытая и тележка новая, окрашенная в голубую краску, хоть и парень будто бравый, — а подойдет седок — пьяный, дурак, — посмотрит на ямщика и направится к следующему. Тимофей никогда не зазывал; подсобрав выручку, приворачивал к пивной и, облокотившись на стол, торопливо пил пиво; молча как на перекрестке — не видя никого — глядел на столики. Раз в праздник довелось ему выручить семь рублей, пошел, с приятелями по квартирному углу, в трактир. Один из них, гундосый и прыщеватый, рассказывал, как он вчера испортил девченку, как она орала и царапала стену. Слушавшие долго хохотали над каждым словом.

— Пересплю разика два еще, да и ну ее... плаксива больно... — закончил гундосый.

— А не зажалеешь? — вдруг спросил Тимофей.

— Чего? — удивился гундосый.

Тимофей тряхнул головой — и потребовал стакан водки... Приятели, тоже за кампанию, выпили по стакану. Тогда Тимофей сказал:

— А я одну... вдову загубил, жениться не хотел, она мне и говорит: на ком этот вздох, тот бы в щепку издох...

Водки осталось лишь полстакана. Стали обсуждать, — что пить дальше — пиво или водку. Все давно забыли о словах Тимофея, а ему хотелось досказать, почему он не женился, и как ее слова оказались брехней и только после ее слов началось ему настоящее везенье: зарабатывает он уйму, коляску скоро себе заведет на дутых... Многое хотелось ему рассказать, но так и не пришлось.

Утром он опохмелился в том же трактире, голова сразу необычайно прояснилась и ему стало так весело, как не бывало давно. Стоял он опять на том же шумном перекрестке подле зеленой церковки, похожей на лукошко с грибами. Он бойко посматривал по сторонам и какой-то старик, в длиннополом сюртуке, умиленно указывая на него, сказал шедшей рядом с ним молодке: «Купец, Гаврылов, тысячами когда-то ворочал, а теперь до чего довели, извозчик». И Тимофею было приятно, что его приняли за купца. Но вдруг направо от человека с лотком—пирожника, отошла женщина в синем платье. Легкие руки ее таким знакомым, единственным, движением скрылись у нее под платком, походка ее была одна, тоскливая... Сразу та ясность, что порхала в Тимофее, слетела как цвет ветром с шиповника; защипало в глазах... Крикнуть он было хотел, — подхватил возжи — и лошадь словно узнала ее, смирная была всегда, а тут понесла в толпу! Мальчишку с сумкой сшибли, посыпались книжонки, пирожник упал, подвернулась какая-то бабка в длинной серой шали... А Тимофей кричал, нахлестывая лошадь: «Останови ее, останови!..» Румя-

ный милиционер засвистал, сам забавляясь и суматохой, и свистом, и непонятным происшествием.

Тимофея забрали в часть, просидел он неделю, выпустили: решили — больной. Лошадь за эту неделю исхудала, словно и она стыдилась. Тимофей продал лошадь, пропил деньги и в опорках вернулся в село. Отец уже подрядился за этот год строить четвертую избу, а был все так же запуган. На нивах в жнивье гуляли жирные гуси; по утрам вдоль реки появлялась наледь и крепко пожелтели осины. Катерина и думой не бывала в городе, все в том же синем латанном платье проходила она селом, и казалось— дали ей чужую жизнь жить, она и живет. Вскоре после приезда Тимофея волк задрал у них в поле жеребенка. С жеребенка сняли шкуру, а тушу оттащили в овраг, в кусты. Отец дал Тимофею дробовик, заряженный картечью, и приказал сидеть в кустах: кто знает, волки осенью злы, голодны, авось и придут на мясо. И верно, на рассвете в кустах таволжника вверху оврага показалась пара волков — никогда не предполагал Тимофей, что у них такие громадные головы. Тимофей выстрелил, волки прыгнули, и один из них захромал. А Тимофею было скучно и хотелось спать. «Завтра найду», — подумал он и отправился домой. В деревне еще спали, но когда он вошел в улицу, уже показался из труб дым и оранжево заблестели отсветами от печей маленькие окна. В окне избушки Катерины тоже мелькнуло оранжевое пламя. Тимофей заглянул, Катерина стояла к нему боком и тянула с печи лучины. Печка видимо, слабо разгоралась, и она хотела добавить лучин. И опять Тимофей увидал ее руки: легкие, белые и пушистые, чем-то напоминавшие лен. Когда она касалась ими груди, то словно мелькали зарницы: не освещая, а наводя трепет — и на ее лицо, и на чужое. Ее, стоявшую неподвижно со щепами... даже какое-то умиление почувствовал Тимофей, но едва она двинулась и руки опустились к бедрам, едва показалась линия грудей, словно крутой берег выступил из тумана, — Тимофею стало стыдно, мерзко, и того, что он даже думал на ней жениться, и не было сил сказать о женитьбе и отцу и ей; и того, что он ждал опять этого слова: «полно», и того, что он, здоровый, казалось, смелый человек стоит как попрошайка под окном, не смея не только войти, но и подумать об этом.

Тимофей, дабы освободиться от таких мыслей, жирно сплюнул, и, сплюнув, почувствовал на плече тяжесть ружья. Достал патрон, и не мог припомнить: с картечью он или с дробью. «Все равно — три шага», — подумал он, и та необычайная ясность, — что приходила однажды на перекрестке подле зеленой церквушки, — опять нахлынула на него.

Он не убил ее, заряд угодил ей в плечо. Она пролежала полтора месяца на лавке под тулупом, присланным отцом Тимофея, — на суд она не явилась. Тимофей ничего не смог объяснить суду — о колдовстве ему было стыдно говорить, хотя и хотелось — «как щепа за сердцем» — сказал он, и развел руками. Суд дал Тимофею год. Отсидев положенный срок, он уже не вернулся в свою деревню. В тюрьме он завел много знакомств, начал шляться с новыми знакомыми по ярмаркам: с цыганами

сидеть в трактире. Жизнь казалась легкой не всамделишной, все думалось: надо притти к отцу, поклониться в ноги и сказать, а что сказать — он и сам еще не знал. А пойти к отцу все не было времени, да и одеженка поистрепалась.

Опять была осень, заморозки, небо словно в инее. На одну из ярмарок привели, откуда-то из под Оренбурга, необыкновенных аргамаков. Мужики за последнее время полюбили кровных лошадей, — цыгане предложили Тимофею дело. Но пригнавшие аргамаков тоже были коновалы опытные, хитрее цыган. Аргамаки стояли в сарае, одна стена сарая выходила в темный переулок. Цыгане выпилили доску, — «полезай» — сказал ему нетерпеливо самый молодой. Матвей прыгнул: невиданная боль ударила ему в колени. — Коновалы поставили вдоль стены волчьи капканы. Он закричал. Замелькали фонари, кто-то выстрелил. Тимофея долго били: кулаками, плетью, допытывались — где цыгане? Он сказал. Тогда его ударили в бок поленом — и кинули в овраг, за селом. У него вытек глаз, он начал хромать — и пошла о нем тяжкая слава. Теперь и пьяный даже, он не думал возвращаться к отцу. Цыгане его гнали от себя, он совсем обносился, голодал и однажды парни из соседней деревни предложили ему убить какого-то человека. За убийство они обещали валенки, полушубок и соглашались отвезти в город.

— Да, братишки, довела меня, подлюка! Идет, согласен неприменно, — закричал он. Услышал свой голос — и попросил водки. Ему дали полстакана и в санях, лежа среди парней, он врал им о своей любви к поповской дочери: как гонял его поп, как подговаривал деревню выселить его... Парни, неизвестно чему, хохотали, пока не доехали до угла большой пятистенной избы. Они предложили ему постучать в окно, крикнуть Игната и, когда тот выйдет, сунуть ему нож в живот. Тимофей так и сделал. Вышел Игнат, высокий мужик в длинном тулупе, похожий на попа. Был высокий, спокойный месяц и лицо у Игната было тоже спокойное и шуба его казалось синей, а воротник походил на облака.

— Не мешай жить, — крикнул Тимофей, ударяя его ножем.

Однако нож скользнул, и вдруг все перемешалось в теле Тимофея. Он ясно почувствовал — горький снег во рту, шатающийся сугроб — и месяц скользнул у него между рук...

Утром Тимофея нашли за овинами, подле проруби на речке, мертвого. Голова у него была проломлена в трех местах, а десны — совершенно голые как у ребенка. Родное село его было в тридцати верстах, думали: отец не приедет, а он приехал, на паре саврасых... Посмотрел сыну в лицо, перекрестил и, прикрыв его скатертью, велел положить в сани.

И вот Тимофей последний раз лежал дома, под образами, в горнице. Лысый дьячек читал псалтырь, кошка играла бахромой скатерти, сестра Тимофея пекла поминальный обед. Все было спокойно: без рева, без хлопот. В сенях плотники стругали гроб и насмешливый плотник, когда-то вместе с Тимофеем рубивший избу Анфиногенову, подтрунивал над недавно женившимся товарищем. Многие приходили проститься с покой-

ником. Плотники, чтоб итти было легче, отодвигали в угол рассыпавшиеся по всем сеням, медовые запахом, стружки. Пришла и Катерина. Перекрестилась, оправила медяки, сползавшие с глаз Тимофея, поцеловала его в лоб. Медяки делали его лицо испуганным и робким. «Полно»,— сказала шопотом Катерина — и еще раз перекрестилась. В сенях она посмотрела на гроб, плотники отдыхали, курили. Крепко пахло махоркой. Она туго, чтоб не скользил с плеч, затянула платок узлом на груди,— склонилась к полу.

И никто теперь не помешал бы ей набрать щеп.

Обояньские повести

Николай Никитин

Любовь.

Зачем сечет дождик скромное сердце?

Зачем сентябрь — как тоска — ложится листьями желтыми, красными.

Много на свете глупых луж и ухабов — и в каждую лужу, в каждый ухаб смотрится солнце.

Вот глядит критик: ну, что ж... Город и город. Каланча малиновая и серые воркуны голубятся в голубых пометышках по пожарному карнизу... Ну, а что дальше? — спросит критик. И оглядит все критическими своими глазами, поджидая ответа. И никто не ответит ему по-человечески, разве уркнут серые воркуны с карниза, или плеснет медью залихватская пожарная каска — и скроется в ухабе за углом.

Мотнет критик умной головою и скажет: вот извольте при подобных обстоятельствах строить новое государство. И, плюнувши, уедет куда-нибудь, хоть в Москву.

А Обоянь опять останется без глаза?

Есть в городе и розовые груши, и лазоревые, как турецкий виноград, вишни, и дыни, и барышни с бантиками, и даже собственная газета, издающаяся на жестких листах, годных разве лишь на завертку селедок, и всевозможные учреждения по утвержденному плану, и все же не нравится критикам Обоянь. А почему, собственно, не нравится, и сами не знают.

Разве есть где-либо такой город, чтобы дружнее жили? Нету такого города. Разве где можно наблюдать подобную тишину, чтобы паршивая жучка не тявкнула зря. Нет, нету нигде подобного города.

Или, может быть, плохое начальство в этом городе?

Нет, начальство в городе самое идеальное, с наклонностями к спокою и к семье. Не успеет человек войти в должность, окрепнуть, почувствовать почет и славу, как уж приглядывает себе награду из местных жительниц, или девушку, будто бутон, или приличную вдову, или отбивает у приятеля

но не по-бандитски, за углом, — а открыто, и даже ведет расписаться в брачной книге к гражданскому делопроизводителю.

Правда, и на солнце бывают пятна. Вот, например, начальник пожарной команды, ответственный работник, а каждый день легкомысленленно пудрится. И зачем ему пудриться, спросит иной, разве пудрой пожар потушишь? Не завлекает ли он сердца? Ну, что ж, может и завлекает, может и пудрится. А почему ему не завлекать — должность блестящая, а почему не пудриться — если он кавалерист бывшей царской армии и к русской бритве кожа у него не привыкла. Вот вам и пудра!

Если служащие жилотдела когда-либо и прихлестнут за дамским хвостиком, так разве это потрясает основы или развращает умы?..

А что делается на этот счет в столице?

Нет, не возвышайте голос на этот счет.

Всюду свое объяснение причин.

На что уж в плановой комиссии сидит человек со старым закалом — межевой инженер Бранденбург, а и тот, выпивши рюмочку, вдруг передернет старым межевым погоном и, улыбнувшись в широчайшие, как шаровары, усы, прищелкнет пальцем.

— А не сделать ли нам того!

Тихо в розовых садах Обояни. И ежели человек не вор, ежели он пропивает не краденые, а свои собственные, трудовые копейки, спокойно он может итти мимо садов, с веселою песней. Никто его не тронет, никто не скажет дурного слова, и милиция не станет стрелять понапрасну, тратя бесцельно в воздух народный порох.

А если какой мужик из посада — угостившись очищенным — и приляжет отдохнуть у корявого тына — никто не потащит его для вытрезвления, и мужик действительно отдохнет и отдышится на обоянском чудном воздухе. В этом у обоянцев, несомненно, своя красота.

«Что вино? Вино никогда не бывает во вред человеку!»

Так сказал Шуйский Иван Петрович — режиссер из драмкружка «Сейте разумное», попросивши в гостях одиннадцатый, прибавочный стаканчик.

И, выпив, только утерся указательным пальцем, больше ничем не закусывая, и вдохновенно грянув по гитарным струнам: «Эх, вся-то наша жизнь есть борьба, борьба», — заставил дрогнуть даже искушенное сердце начальника пожарной команды товарища Буревого. Буревой так воспалился, что немедленно при всех гостях устроил своей добровольной команде примерную пожарную тревогу. И что же выяснилось? Пыл был так велик, что Буревой рискнул собственным здоровьем, вздумав напиться прямо из пожарной бочки. И ни в одной бочке воды не оказалось. И что ж вы думаете? Вам, наверное, думается — как сразу все оробели и сконфузились? Нимало, нимало!

Никто не растерялся. И, сняв каски, отправились снова в клуб. И там, в пожарном клубе, публику ожидал новый, неожиданный трюк. Режиссер Шуйский среди ту-стэпа остановил все движение.

— Кто смеет танцовать, когда Татьяна Павловна без кавалера. Мыслимо ли первейшей женщине, звезде экрана, которой недостойны ножки, сидеть одной?..

И, упав перед Татьяной Павловной, показывая на нее пальцами, закричал, как неистовый:

— Пусть меня уволят, а я скажу. Татьяна Павловна, если есть у нас такая прелесть, зачем нам коммунизм?

И долго не хотел уходить от Татьяны Павловны, вдыхая аромат ее голубого платья, цвета майского неба, и плакал, пачкая слезами сантиментальный шелк.

И никому не показалась шутка неприличной.

И даже муж Татьяны Павловны — Иван Афанасьевич Бобрик — ответственный человек и заведующий финотделом, не покосился никак и смеялся вместе с остальными.

Бобрик Иван Афанасьевич слыл самым деликатным человеком в городе. Многие даже поражались, почему он занимает такой ответственный пост. На посту — необходима строгость и внушительность, этим держится не только государство, а и семья. Но вот Бобрик не был таким, а выбирали его всюду, на всякие должности — и в пожарный совет, и в плановую комиссию, и в члены горсовета. Где что организуется, так уж и просят Бобрика: — пожалуйста, не откажите...

И не хочется Ивану Афанасьевичу, ждет дома Татьяна Павловна, сошлется на года, на шестой десяток, на то, что есть другие помоложе, но, услыхав в ответ: «молодые особь статья, а вы особь статья»,—смиренно пожмет плечами и согласится. И часто в шутку прибавлял:

— Вот возьмите Татьяну Павловну, ей 23 года и здоровая. А я слабеть начал.

Да и как не слабеть — с утра до вечера в заседании.

Как какой юбилей или памятный по календарю день — опять плывут к Бобрику: — прочитайте воспоминания!

— Да какие же воспоминания,— скромно всплеснет руками Бобрик,— всего только и воспоминания, что в моей квартире динамит хранился, да прокламации я по адресам разносил.

И когда ему скажут: — бросьте, бросьте!.. — страшно кипятился. И, покипятившись, еще долго фырчал, как остывший самовар, но в конце концов соглашался.

— Программы, воспоминания... Я и программы-то понял десять лет спустя! Ну, думаю, и наделал...

И товарищи говорили ему.

— Ах, Бобрик... Наш Бобрик — идеалист!

Было в этом году прекрасное лето — и проводила его Татьяна Павловна на рыбной ловле. И вдруг осенью — печальной и слякотной, выйдя на крыльцо посмотреть облака, споткнулась и упала с крыльца.

И закричав: «Как меня тошнит!» — сразу помертвела. забились на висках синие червяки, и тень, как паутина, заткала ей глаза.

Татьяну Павловну повезли.

Тихон Дмитриевич Восков — больничный доктор — был несомненно хорошим врачом. Но хороших врачей на свете много. А Восков был необыкновенным. Например, простой чугунный котел для щей сжимал между своими ладонями в лепешку. А если кто и был недоволен, так разве он на тех обратит внимание? И на все жалобы отвечал так:

— Что вы меня учите? Что может мастеровой понимать в медицине?

И был, конечно, прав — что может понимать мастеровой?..

А в рыбной ловле не было ему соперников во всем уезде.

И так он приохотил всех к рыбной ловле, что Татьяна Павловна не могла дня прожить без того, чтобы не пойти вечером с удочками к Тихону Дмитриевичу Воскову.

В лодке ехали они, и дежурил рядом мертвый вечер, и пестрые ленты горизонта, и царапалась о борта темная троста. И в ясные окошки среди плавучих листов и тины падал поплавок, как человеческое сердце, в глубокий омут медленно опускался груз, и шопот не нарушал тишины.

«Дернет или не дернет?.. А может быть тут вовсе и не водится рыба?» — думала Татьяна Павловна.

И, точно отвечая ей, думал про себя доктор:

«В сочинении одного немецкого профессора написано, что рыбы в воде столько, сколько полагается».

Так они проводили вечера. Качалась лодка, поставленная в якорь, а с нею качалось сердце доктора, и вдруг, всплеснувшись, прыгало из жилета, как рыба белым брюшком из воды, и очутившись как-то совершенно непонятно у ног Татьяны Павловны, кричало ей:

— Татьяна Павловна, кто здесь меня оценит?.. В Европе я был бы первым человеком... Что мне надо? Да я бы всю жизнь вот тут с вами рыбу проловил...

Спускалось солнце за тростник. И розоватые, мутные тучи медленно сползали театральным занавесом.

В больнице белый Восков — был совсем чужим. И, сняв очки, долго осматривал больную.

Он был суров — кругом суровые шкафы, суровая сталь на стекле и белое полотно. И снятые докторские очки тоже глядели сурово.

— Упала? — спросил Восков.

Иван Афанасьевич Бобрик оробел так, будто он сам был виновником несчастья. И, взглянув на докторский халат, заметил ржавое пятнышко на рукаве, и испугался еще больше, и схватил доктора за рукав.

— Тихон Дмитриевич, пожалуйста, спасите ее!

Тихон Дмитриевич сделал руками специальный докторский жест: «какие, мол, пустяки, стоит беспокоиться!». Но ведь этот жест обозначает у них и другое:—«сделать-то сделаю, только в организм к ней я не влезу».

Неизвестно почему успокаивают эти жесты близких. Ждали в городе дела, Иван Афанасьевич успокоился немного и поцеловал в лоб жену.

— Тихон Дмитриевич, Танюшка, все приведет в порядок. А ты лежи, вечером я тебе привезу, чего хочешь...

Татьяна Павловна закрыла глаза.

Через час, сидя на заседании плановой комиссии и рассуждая с членами о количестве махорки, потребляемой местами, Иван Афанасьевич Бобрик все еще не мог привести себя на должный лад. И среди пылких рассуждений инженера Бранденбурга, думая о Татьяне Павловне, вслух проговорил:

— ...и лежит сейчас Татьяна Павловна в больнице...

— Как в больнице?—обрывая свою речь, спросил Бранденбург.

Прозвенел у него в ухе председательский колокольчик. И, желая схватиться за пышный свой ус, он схватил пальцами около носа пустой воздух, забыв, что усы были сбриты две недели тому назад по совсем ничтожной причине: кто-то в городском саду назвал их полицмейстерскими...

Бранденбург растерялся и топнул ногой на комиссию, чего никогда не осмелился бы сделать при иных обстоятельствах.

Один из членов горсовета переглянулся с другим, состроил рожу, указывая глазами на Бранденбурга, но, встретив тяжелый взгляд начальника пожарной команды Буревого, замялся и сник.

А в это время Бранденбург уже звонил по телефону в больницу. Члены же плановой комиссии впились глазами в телефон, некоторые из-за того, что нечего было больше делать, другие же действительно сгорали от любопытства узнать подробности о Татьяне Павловне.

Об Иване Афанасьевиче все забыли, будто его и не было.

Бранденбург слушал, трубка дрожала, и десяток интонаций «да» ничего не давал понять.

Бранденбург кинул трубку, звякнула вилка на аппарате.

— Беременна и... — хотел сказать он, но тут потянулись к Ивану Афанасьевичу чьи-то торжествующие и веселые руки, каждый желал поздравить первым, но межевой инженер Бранденбург внезапно вскочил и оттолкнул всех.

— Что вы, что вы?.. какие поздравления?..

И вот тут многие не знали, что сделать со своими руками, протянуть ли их дальше — к Ивану Афанасьевичу, или скорее спрятать. Или вообще провалиться куда-нибудь с этого заседания. Понемногу стали они выходить из комнаты. Некоторые, уходя, поглаживали Ивана Афанасьевича по спине. Последним ушел Буревой, пробурчав в усы:—«Дикое положение!»

Иван Афанасьевич — как оперся на локоть, слушая телефон, так сидел и до сих пор, никому ничего не ответив. В комнату зашла уборщица, чтобы убрать после заседания окурки. Но, увидав Ивана Афанасьевича, сидевшего так неподвижно, ну точно он был памятник, покрутила головой и тоже ушла. В городе уже распространилась весть о болезни.

Через час Иван Афанасьевич, ткнув портфель подмышку, будто полено, ехал на извозчике в больницу.

И всю дорогу обрывал какие-то странные мысли, влезавшие в голову телеграфной лентой. И только от одного он не мог отвязаться — от пятнышка на докторском халате. Из маленького — оно разливалось в огромное и рыжее и втекало ему в рот, в уши, в нос, в глаза. Он захлебывался и торопил извозчика, тыкая ему в спину портфелем.

И после Иван Афанасьевич никак не мог вспомнить, как он доехал до больницы.

А через сутки — Татьяна Павловна умерла.

Всю дорогу на кладбище мокрые трубы хрипели старинный вальс, и перед самым кладбищем — перед дранными желтыми воротами шествие остановилось. Пожарники немного приспустили мокрый красный гроб. Иван Петрович Шуйский упал на колени, прямо в лужу, не обращая ни на что внимания. И когда доктор Восков бросился его поднимать, Иван Петрович зашептал театрально.

— Кого погребаем, какую артистку... Какую женщину погребаем!

В сердце Ивана Афанасьевича Бобрика тоже шел дождь и стояли лужи.

Он не верил ни смерти жены, ни мокрым жалобным трубам, ни гробу.

И только режиссер Шуйский плыл перед ним, как туман. Он вспомнил, что по вечерам, после репетиций — Шуйский пивал у них чай с прокладкою — чашку чая, рюмку водки и, возбуждаясь, долго за полночь трактовал с Татьяной Павловной о вопросах искусства.

В те часы Бобрик, готовясь к следующему дню, покойно посапывал.

И сегодня Ивану Афанасьевичу показались два года жизни с Татьяной Павловной — совсем потерянными. Он вспомнил здесь же свои бесчисленные дни, наполненные службой и заседаниями. И смущение первого дня, когда молоденькая Татьяна Павловна впервые пришла к нему, и первая неделя, еще полная прелести и незнакомства, потонула тихо и медленно — в телефонных звонках, комиссиях и еще в чем-то, чего сейчас ему никак не хотелось вспоминать. Не то его обокрали, не то он обокрал самого себя — недоумение не покидало Ивана Афанасьевича до самой последней минуты, пока земля не застучала грубо о крышку гроба, как театральные глухие пушки, и пока простуженные мокрые трубы пожарного оркестра не заиграли по приказу капельмейстера в черных наушниках — «Дремлют плакучие ивы».

Так торжественно хоронили Татьяну Павловну.

Наконец могилу зарыли, пожарники с трубами подмышкой, поскальзываясь в лужах, в глине, в дожде, побрели домой, кое-кто стал расхо-

диться из публики, а Иван Афанасьевич все еще стоял у черного холма жены. Его друзья неловкой кучкой толклись около — каждый думал о дожде, о холоде, о воде, бегущей за воротник, и неудобно было как-то переминаться, и неудобно было удрать, забыв здесь Ивана Афанасьевича. Кто-то из членов городского совета, не выдержав, осторожно прихватил его за рукав.

— Пойдем, Иван Афанасьевич. У нас, помимо личных дел, общественные есть. Иван Афанасьевич, брось... нельзя же так убиваться.

Ошпаренный, отскочил Иван Афанасьевич и закричал на него:

— Чего? А почему нельзя!?

Члены городского совета махнули рукой и направились, ища дорогу в сырой и смятой между могилами траве.

Только Буревой, Бранденбург и Шуйский, да еще доктор Восков, отдавая последний долг незабвенной Татьяне Павловне, проводили вдовца до квартиры.

В комнате холодно — сегодня забыли стопить, целый день провалялся Иван Афанасьевич в кровати, в десять часов принесли ему самовар и накрыли на стол. Иван Афанасьевич пожевал колбасы, пахло от колбасы резинкой. Иван Афанасьевич икнул и, сказав:—«Какую все-таки гадость позволяет здравотдел продавать!» — опять завалился. Он не чувствовал ни потолка, ни пола, ни кровати — ляжешь, закроешь глаза и унесешься куда-то, и выплывет, точно вечернее облако из ночи, Татьяна Павловна, и около нее розовые наивные волны. И когда видение исчезало, Иван Афанасьевич сильнее зажмуривал глаза, до боли придавливал их пальцами, стараясь снова вызвать призрак. И призрак приходил — и колебался, как искра в поле, или как пламя свечки от ветра. И, мелькнув, уходил.

Так до поздней ночи мучился Иван Афанасьевич в железной, холодной кровати, вызывая образ жены, вспоминая ее легкое, как воздух,— розовое платье, которое она носила в июле, еще тогда, когда приезжал в Обоянь московский корреспондентик с рыжими спутаными волосами, прищуривавшийся, примаргивавший, прихрамывавший на левую ногу, при поворотах так осторожно заворачивавший боком, точно на Волге колесный пароход. А пароход-то писал стихи Татьяне Павловне. И все над ним смеялись. А он сманивал все Татьяну Павловну обучаться стихам.

Тут улыбнулся слегка и Иван Афанасьевич и стало ему чуточку легче.

— Ах, пароход, пароход...

Он засмеялся даже. И вспомнил — как на вечеринке все умилились московскому корреспонденту.

Корреспондент, загребая левой ногой, обходил в клубе рояль, изображая колесо на Волге, и пел так горлом:

Ах пи... пи-пи-пи... пи-раход
Плывет на Волге,
Си-рэн цветет!
Ах, на ем белая каюта.
Он к ей и-дет.
Ах, пи... пи-пи-пи... пи-дашол,
Усы расправил...
В карман поолез!

И расхохотался Иван Афанасьевич. И, чтобы развлечься еще хоть чуточку от каменных дум, взялся лениво за Обояньскую газету, и здесь пощупал, как всегда—жесткую оберточную бумагу, на которой она печаталась, подумал при этом — что пора бы, дескать, переменить ее на нечто лучшее, и равнодушно перевернул страницы, и тут одиннадцать больших траурных объявлений, занявших четверть листа своими жирными черными рамками, укололи его в грудь иглою длинной и тонкой.

Он прочитал:

«Горсовет выражает глубокое соболезнование зав. финотделом тов. Бобрику, Ив. Афанасьевичу, по поводу постигшей его тяжелой утраты— безвременной смерти жены».

«Вот, — подумал, вздохнув, Иван Афанасьевич, — и горсовет выражает... ну, дальше».

«Глубокое соболезнование выражаем завед. финотд. т. Бобрику, И. А., по поводу постигшей его тяжелой утраты — безвременной смерти его жены. Президиум».

Ивану Афанасьевичу захотелось плакать, но он сдержал себя и продолжал чтение.

«Сотрудники исполкома выражают свое глубокое соболезнование тов. завед. финотделом И. А. Бобрику, в виду тяжкой кончины его жены».

«Рабочие и служащие жилотдела выражают соболезнование . . .

. . . .

— Что же это такое? — схватился за голову Иван Афанасьевич. — Даже сотрудники!

Скорбь овладела. Возжами скрутила ему голову, и неудомение забегало в голове, он перестал понимать и потянулся опять к газете.

— Даже сотрудники!

И бросил ее.

И снова схватился за газету.

Прыгали строчки и кусали, сбесившись, как собаки. И буквы толклись, обгоняя одна другую, подмигивая, подмаргивая, виляя хвостами, замирали и снова неслись, обхватив лапами голову Ивана Афанасьевича. Он отталкивал их рукой, а они лезли в глаза, и скрыться от них не было никакой возможности. Из каждой строчки, как из подворотен, они вылезали и тявкали.

«Правление и драмкружок «Сейте разумное» в лице режиссера И. П. Шуйского приносят личную скорбь . . . .

. . . .

— Вон! — закричал на них Бобрик. И вздрогнул. И снова прилег на кровать, чтобы отдаться мыслям. Но вместо развлечения мысли тревожили, рассказывали о неудобстве каких-то личных воспоминаний, о злобе редактора, которому неосторожно в прошлом году отказал он в добавочном кредите. Словом, мысли вертелись все тут же, под ногами, беспокоя газетой, трауром линеек, любопытством, газета сама подвертывалась под глаза, под руки, подобралась к нему, чтобы хотя искоса он взглянул на нее.

И Бобрик взглянул.

«Медперсонал горбольницы и главный врач Восков, Т. Д., вспоминая личность. . . . .

. . . .

— Я покажу, я покажу вам вспоминать! Я покажу вам личность! — пригрозил Бобрик, но они только скрылись на минуту за угол, а оттуда, вновь вытянув морду — стаей, с громом, с грохотом и со звонками бросились прямо на него, заставив его отступить и примириться.

И, отогнав мрак от глаз, с мелькнувшей мыслью о навязчивой и липкой чепухе, Бобрик поднял газету и проглотил строчки, летевшие черной стрелой, как вороные кони:

«Начальник пожарной команды добр. пожарн. о-ва выражает...

. . . .

«Дальше, дальше!» — подумал Бобрик.

«Команда и Труботряд . . . .

. . . .

— Дальше! — стукнул он кулаком.

Но дальше ничего не было. Пробежало слово — «...жены».

Туча влилась в сердце и закипела. И, не понимая волнения, Бобрик вскочил, заметался по комнате и, разорвав газету, упал в угол.

Полежав в углу, он встал, отряхнул пыль с коленок и, подойдя к самовару, залпом выпил три стакана холодного чая.

Но это не успокоило его.

— Хлыст, пожарная шкура, пудреный чорт! — вдруг в совершенном бешенстве закричал Иван Афанасьевич. Но кругом лежала октябрьская плотная ночь, и никто не мог видеть Ивана Афанасьевича. Да и, увидав, не поверили бы такому необычайному гневу.

Целую ночь взад и вперед расхаживал Иван Афанасьевич по комнате; время от времени он подходил к самовару и, наливая себе стакан, одним глотком выпивал его, желая залить жар, но мысли толпились кучками, как псы на ночной дороге, и как их ни понукай, как ни гони, они не перестают сбираться, подымая вой и пыль.

Что ж факты? Что доказывают эти факты? Ведь факт требует объяснения, а как начнешь объяснять, так тут же и запутаешься, так и пойдут всякие косвенные, казалось бы, причины. Нет сомнения, что была Татьяна Павловна беременна... Но как?

Иван Афанасьевич вспомнил большие, зелено-серые, как листья ивы, глаза своей жены, ее белое мелкое личико, и походку с подкачкой, будто корпус держала она на рессорах.

И вот тут Иван Афанасьевич по-настоящему почувствовал, что его обокрали. Обвинить Татьяну Павловну не было никакой возможности, дело женское — скучное, и не на то пойдешь, а вот чего он смотрел... Сам себя обокрал.

Тут Иван Афанасьевич упал в кровать, ночные мысли сломили его, как буря, он сразу уснул и проспал мертвым сном целых восемь часов.

И снились ему мутные, мертвые сны, где гремели пожарные тройки, и лихо трубил в рожок пудреный начальник команды, Шуйский играл на Татьяне Павловне, будто она была гитара, и, слушая их, доктор Восков копал червяков, приговаривая: «мое, мое», и немец плакал о своих усах, оспаривая доктора Воскова.

А Бобрик все спал, натянув одеяло на голову. У телефонной трубки оборван был шнур.

Время текло без конца, как вода. И, как воду, не замечал его Бобрик.

Так тянулось долго, если бы он не перевернулся на другой бок...

Синий яркий свет пробрался к нему в щель под одеяло — защекотал ресницы. Бобрик высунул голову из теплой, належанной постели и удивился. Комната была полна синим, матовым светом. Он не узнал ее. Она стала совсем новою.

Босиком по холодному полу подскочил он к окну...

В улице лежал снег. И хозяйский желтый петух важно ходил в палисаднике, разгребая у яблонь голубой выпавший пух.

Бобрик удивился — и стал напяливать на теплые ноги носки.

Удивленный он пришел в свой финотдел, сел в кабинете за письменный стол, но и стол этот — такой знакомый до суконного пореза в правом углу — прибранный и холодноватый — был тоже каким-то чужим и новым. Служащие тоже смотрели на него как-то иначе. Представлялось ему, что некоторые его сожалеют, а другие, наоборот, втихомолку подсмеиваются над его грустью, но и то и другое было ему одинаково неприятно. И однажды, когда делопроизводитель подсунул ему бумагу с чернильным пятном, он не вытерпел и раскричался, чего за ним никогда не водилось.

Как нарочно в этот день по делам сметы пожарной команды явился в финотдел Буревой, а с ним и член плановой комиссии, инженер Бранденбург.

Странно оглядывал их Иван Афанасьевич, думая: «кто же из них, тот или этот, или оба вместе»...

И в течение всей их беседы так упорно смотрел поочередно каждому в глаза, что Буревой не выдержал и спросил:

— Видно, вы очень горюете, Иван Афанасьевич...

— Да! Горюю, горюю...—ответил Бобрик и так повернулся в стуле, будто его жгло снизу.

— Да, замечательная была женщина, — вздохнул Буревой, — точно на богородицу молились все на нее. Да и как не молиться: образованная, живая, нашим пожарным делом страшно интересовалась...

«Он!» — подумал Иван Афанасьевич.

Но тут вмешался Бранденбург и сбил его.

— Позвольте, почему одним пожарным делом? Татьяна Павловна изволила по своей интеллигентности всем интересоваться. Единственно, чего не могла — петь, слуха не было, ну, представьте, никакого. Бывало по пьесе надо песенку, так Иван Петрович Шуйский до слез с ней мается... Целую ночь ее учит, так и не выучит! А я около клуба поджидаю, когда они там кончат, чтобы проводить. Бывало — чудная ночь, звезды, пахнет цветами, присядем с ней на скамеечку, а я около развиваю теории насчет новых наделов и...

Бранденбург смахнул с носа пенснэ.

— Неутомимая женщина!—сказал он со страстью и полез в карман за папиросой.

Вечером — к концу службы—в отдел позвонил ему Восков.

— Ну как?—спросил он.

— Ничего.

Обозлился вдруг совсем неожиданно Бобрик.

— А я плачу... — просипел голос в старом аппарате. — ...крючки ее нашел у себя и жерлицу!.. Бывало...

Но Бобрик стукнул трубкой по металлической вилке. Расстроился. В столовой совсем отказался от щей, второе подали антрекот, поковырявши ленивой вилкой, пошел мечтать.

На тощие яблони летел голубой порошок. Небо спустилось. От белого Обоянь стала нищей и драной. Летние, в зелени, в солнце, поэтические обояньские заборы — стали наспех сбитыми дырявыми досками, а тын летел кольями прямо в голубиные тучи, вверх, и пожарный с малиновой каланчи плевал от скуки вниз, стараясь попасть в то же самое место— в крышку над зеленым медным колоколом.

Иван Афанасьевич Бобрик решил мстить всему городу. Но как мстить? Как доискаться в этом городе правды?

Таким способом никогда не доищешься правды. А правда, которая бы раскрыла все карты, приобрела бы смысл — подлинный смысл настоящего счастья. Эта правда дала бы ему возможность знать, только знать, больше ничего не хотел Иван Афанасьевич Бобрик.

Мимо прошла старая баба с печеной губой, в солдатских ботинках, свернувшихся березовой корой, ноги обвернуты тряпками. Баба приседала на каждом шагу и шептала себе под нос — длинный, как персидский огурец:

«Без сомнения, ежели с окнам, то полтину с четвертью, а ежели без окон, то просто полтину».

Баба была поломойка. И, проходя, оглянулась на желтую зимнюю с голубым барашком бекешу Ивана Афанасьевича. И позавидовала — и бекеше, и барашку, и приятному безбородому лицу Бобрика. И даже до того расхрабрилась, что подмигнула Бобрику своими оловяшками, и хлестнула красными ладонями по овчинным бокам.

— Здравствуй, старичок! — сказала она, остановившись.

Иван Афанасьевич пугливо проскочил, ничего не ответив бабе, и, блуждая по занесенным мосткам, думал о человеческих изменах, и о том, куда плывет мир, до каких пределов дорастет не знающая, слепая, как новорожденная кошка, человеческая страсть.

Глаза горели — ему хотелось пурги. Мимо улиц, заборов, пивных, голых садов, от площади до свалки, к старому обояньскому кладбищу, куда до сих пор собираются обоянцы на радуницу, и от кладбища обратно в улицу, заборы, пивные, — до сумерок металась желтая бекеша.

Тайна должна раскрыться.

Неизвестны последствия, и даже ненужны, может быть, никакие последствия, важно лишь знать, нельзя жить с мыслью—нераскрытой, запечатанной сургучом, как бумага в казенном пакете. Разрыть могилу, разжать розовый рот покойницы, всунуть ножик между зубов и узнать. Язык загнил. И на губу выползет крошечный гнойный червяк.

Милиционеры на базаре, увидев, как шатается бекеша, оправив шашки, стукнув валенками, подтолкнули друг друга локтем.

— Видал, — сказал один другому, — это с горя наклюкался Бобрик.

— Да, — ответил другой, — баба очень многое значит. К примеру возьми клопа, пустое существо, избавился... а без него и не спишь, скучаешь.

Бобрик, как герой стоял у каланчи и смеялся. Ветер раздувал парусом широкие полы бекеши.

Бобрик нашел наилучший способ — способ психологический. Бобрик был поражен его простотой.

Для этого только нужно пойти по всем Татьяниным приятелям, по всем знакомым, и с каждым в отдельности поговорить по секрету, начистоту и ничего не скрывая. И вот, когда соберется материал, то все впечатления сравнить.

Вечером, дома, за чаем — Иван Афанасьевич сидел и составлял список приятелей и перечень необходимых вопросов, особых для каждого. Эта работа очень его подбодрила; далеко за полночь, сидя у стола, он хихикал в желтый стакан и краснел и бледнел, вздыхал и снова хихикал; потом и кровью доставалась ему тонкая система, но уж зато разработана она была так, что никакой червячок не пролез бы сквозь это решето предположений и ловушек, каждое сомнение, каждый экивок глазом досконально были учтены, каждое настроение было занесено под особый номер — ничего не пропадало зря.

Зверь был пойман. Это было ясно. Оставалось только начать допрос — и подвести выкладку.

Ифан Афанасьевич в пафосе воздел руки к потолку, к электрической лампочке и, вообразив себя средневековым человеком схоластом, воскликнул:

— Статистика, благодарю тебя!

Утром вместе с газетой он получил письмо, адресованное Татьяне Павловне. Поколебавшись — можно ли читать письма покойницы — он лениво разорвал его и прочел. Письмо было из Москвы, от московского корреспондента, о котором он совсем забыл.

«Таточка, рад, что ты порвала со всеми готтентотами Обояньграда. Верю, — что ребенок мой. Приезжай, здесь лучше доктора. Ты замечательная женщина! Твой стиль — Москва. Отвечай телеграммой. Филипп».

Бобрик шел в отдел.

Все ухнуло: ночь, тоска, планы, тонкая система, упорство, тысяча надежд, — ничего нет. Все разрушено. Медлительные ночные часы, внимание, петли, недели допросов, сводка, все погибло.

Обиженное за себя тихое сердце не испытывало ничего, кроме досады.

И никакой ревности к примаргивавшему человеку с колесом.

На телеграфе — рваная конторка, огрызок и вакса в скляночке вместо чернил. И запах нужника.

Бобрик написал:

«Ответа не будет по поручению покойницы бывший муж».

И в фортку сунул синий бланк.

Актриса.

(Рассказ).

Пантелеймон Романов.

I.

В рабочих районах стало популярно имя революционной артистки Анны Рейнгардт, прославившейся главным образом антирелигиозными выступлениями.

А ее новая пантомима «Восстание» каждый раз вызывала шумный восторг рабочей аудитории.

И эту маленькую, златоволосую женщину рабочие иначе не называли, как «наша актриса», так как ни в чьей игре не было столько правды и искренности, сколько у нее.

Когда-то владелица большого имения и богатого особняка, она за годы революции прошла через все. Пленявшая своих гостей голосом и грацией, она решила применить свои способности для того, чтобы зарабатывать хлеб и не умереть с голода. Но опустилась до подъезда актерской биржи и за три, за два рубля пела в дешевых кабаре по три сеанса в вечер, простаивая за неимением уборной в заплеванном коридорчике за кулисами в ожидании своей очереди.

И никак не могла и не умела отстаивать свое достоинство среди потерявших всякую совесть людей, которым было решительно все равно, чем зарабатывать хлеб, если за это платят деньги.

И она, зарабатывая иногда по два с полтиной в неделю, дошла до той жизни, когда боятся встречи с знакомыми и не выходят на улицу, чтобы не проходить мимо булочных с нагло выставленными напоказ булками.

В последнее время у нее не было даже пудры. Она, мучаясь от стыда перед самой собой, употребляла вместо нее зубной порошок. Она не имела возможности отдать прачке белье и сама, заперши из предосторожности дверь, стирала свои сорочки в суповой миске. А когда у нее осталась только одна сорочка, ей пришлось наскоро сделать другую из наволочки, срезав углы и прорезав отверстие для головы. Но зубной порошок вместо

пудры угнетал ее больше голода, больше отсутствия белья. Она сама не знала, почему. И главным ее утешением в это тяжелое время была религия. Таково было ее недавнее прошлое.

Когда ей говорили, что старая жизнь не вернется, что нужно как-то приспосабливаться к новой, она при этом не испытывала ничего кроме ужаса.

Что значит — приспосабливаться к новой жизни? Это значит не верить в бога, плевать на пол, ходить с грязными ногтями и отнимать особняки?

Нет, лучше смерть.

И что может быть привлекательного в этой жизни, которой не нужны ни нежные элегии Чайковского, ни воспитанные веками тонкие женские руки, ни та трогательная беспомощность, которая пленяла людей ее общества.

А, кроме этого, она ничего предложить не могла. Если бы даже и хотела от всего сердца, так как сердце у нее было доброе и незлобливое.

И вдруг неожиданная перемена:

Какой-то черный волосатый человек поставил ей пантомиму, назвав ее «Восстанием», и с этого-то времени удача улыбнулась ей.

Она сама не знала, почему ее игра вызывает такой восторг. Она играла так просто и наивно, как жила. Иначе она и не могла. Но неизменно каждый раз зал замирал (она чувствовала это) при одном ее появлении.

Может быть, дело было в том, что она передавала свои настроения не словами, а движением.

Может быть, впечатление увеличивалось от того, что у этой маленькой женщины было хрупкое, нежное тело, невинные глаза ребенка и какая-то необычайная, трогающая правда в них.

Может быть, то и другое вместе. Но действие ее игры каждый раз было неотразимо сильное.

Так мог заражать своим чувством зрителя только тот, кто сам глубоко пережил то, что он изображал.

Рабочая публика чутка к правде в исполнении. Она ясно слышит фальшь и неестественность, когда интеллигентный актер своим породистым, выделанным голосом произносит народные слова, которые в жизни говорятся совсем невыделанным голосом. И потому в передаче их чувствуется подделка.

Но рабочая аудитория и снисходительна. Она щедро хлопает и смеется даже там, где не совсем все удачно. На то ведь и сцена: ведь не на самом же деле все это происходит. И принимать нельзя всерьез. «Все-таки они стараются для нас». И потому никогда никого не оставляют без поощрения, даже самого плохого исполнителя.

Но зато того, кто дает *настоящее*, они узнают всегда сразу, и аплодисменты звучат уже иначе.

II.

В зрительном зале всех, кто еще не видел новой вещи, занимал вопрос, как эта маленькая женщина покажет в танце восстание?

Ведь для этого нужна, казалось бы, целая толпа. Как же это может сделать одна она?

Занавес раздвинулся. Программа началась

Сначала выходили певцы, наряженные в крестьянские костюмы, в новеньких лапотках. Пели, размахивали руками, плясали в присядку, при чем у рыжего деревенского парня в неестественно чистой несмятой рубашке и новых ненадеванных лаптях были сзади видны черные волосы под рыжим встрепанным париком.

И от того, что он сам этого не замечал, — было смешно. А его неестественное усердие вызывало желание поощрить его:

«Тоже хлеб не легко достается», — думал каждый.

Потом следовал тоже в лаптях и в рыжем парике рассказчик с рассказами из народного быта, соль которых заключалась в неправильно произносимых словах, как предполагается, должны их произносить необразованные люди.

Собственно за это можно было бы обидеться, но и ему добродушно хлопали. Хлеб.

Занавес закрылся. Вышел распорядитель в пиджаке и сказал громко, как говорят о том, чего уже все давно с нетерпением ждут

— Анна Рейнгардт исполнит свой новый номер Восстание.

Все стихло. Через секунду послышались глухие, придавленные звуки музыки, как будто доносившиеся откуда-то из-за толстых мрачных стен. Занавес быстро и бесшумно раздвинулся. Сцена изображала тюрьму, угол стены из толстого серого камня с потеками известки, пук соломы на полу и квадратное маленькое окно с толстой решеткой. В другом углу аналой, покрытый красным кумачем, на нем сделанные из дерева крест и евангелие

Глаза всех были устремлены на раскрытую тюремную дверь с каменными ступенями наверх. Что появится оттуда?

В музыке раздался отрывистый аккорд как бы оборвавшихся в рояле струн и в тот же момент по каменным ступеням лестницы, точно сброшенное сильным ударом палача, скатилось хрупкое тело.

Зал, дрогнув, замер.

Это она... Ее маленькое тело, сжавшись комочком, беспомощно лежало на каменном полу. Видна была только худенькая спина и рассыпавшиеся по полу золотистые волосы. Потом она медленно подняла голову и, стоя на коленях, с выражением еще непрошедшей боли от удара и с наивным детским страхом оглядывала тюрьму, солому на полу, окно с решеткой. Глаза ее не выражали того преувеличенного страдания и ужаса, какие обыкновенно изображают на сцене. Ее лицо было лицо ребенка, у кото-

рого еще не остановились слезы от испытанной боли, а внимание уже поглощено новой непривычной обстановкой. Но обстановка бедна: пучок соломы и решетчетое окно.

Она поняла все.

Мгновенное сознание своей погребенности, видимо, пронизывает ее мозг. Она вскакивает, бросается к двери, повиснув на ее тяжелой ручке, бьется, в припалке отчаяния кусает свои руки.

Для нее зрителей нет. Нет этой толпы людей, сидящих в зале за ее спиной. Она одна перед захлопнувшейся навек дверью, которую не открыть ничем и можно только биться головой об ее тяжелые доски и кусать руки, чтобы заглушить боль сознания своего погребения заживо.

И одна мысль в сотнях этих людей, сидящих сзади: броситься бы на на эту дверь — перед сотней сильных рабочих плеч не только дверь, а и стена не выдержала бы.

Вдруг в лице маленькой истерзанной женщины что-то дрогнуло. Взгляд ее упал на красный аналой с крестом. Эта красная материя — символ ее крови, которая прольется, может быть, завтра, может быть, сегодня. Глаза ее широко открыты, полны безмолвного, бессловесного ужаса, потом ужас сменяется религиозным порывом и покорностью. С протянутыми вперед руками, с текущими по бледным щекам слезами ползет на коленях к аналою, как раздавленное ничтожество.

И так это почему-то страшно и жалко ее, что каждый из зрителей старается убедить себя, что ведь это нарочно все, это игра.

Но вдруг она поднимает голову, как бы от поразившей ее какой-то мысли, пристально смотрит на аналой, на крест, встает, подходит и с любопытством как будто нового проснувшегося в ней сознания рассматривает эти вещи, берет их в руки и проводит рукой по глазам.

В зале все замерло, только слышно сдерживаемое дыхание сотен грудей. Вдруг она вся настораживается, ее уши ловят какой-то звук за сценой. Она вся встрепенулась. Еще держа крест в руках, она подалась к двери. Звуки за сценой ближе, уже ясно слышен революционный мотив, бегущие шаги многих сотен ног.

— Победа!

Ее глаза перебегают с двери на окно, и лицо ее мгновенно преображается. Его осветила мгновенно вспыхнувшая радость, и весь зал бессознательно отражает эту улыбку торжества и радости.

Нет больше маленькой несчастной рабыни,— она вытянулась, выросла, глаза ее стали большими и лучистыми. Она вдруг ломает пополам крест, топчет его ногами и, сорвав покрывало с аналоя, как с победным знаменем, бросается в открывшуюся перед ней тяжелую тюремную дверь навстречу победным крикам...

А в зале кричат, гремят стульями, машут ей руками. И она опять, превратившись в маленькую беспомощную женщину, выходит на сцену и как-то по-детски протягивает вперед руки, кланяется и улыбается тихой, растроганной и благодарной улыбкой.

Спектакль окончен. Она стирает в уборной перед зеркалом ваткой грим, застегивает свой чемоданчик и, получив свои 10 руб., выходит из уборной. Приходит домой, открывает свою комнату. В ней большая старинная постель, два портрета предков в генеральских мундирах, около стены стол с кофейником. Теперь она ест уже хлеб с икрой, пьет кофе и молоко.

Уже поздно. Она раздевается и, встав на коврик перед кроватью в одной рубашке с маленькими босыми ногами, долго горячо молится на висящее в изголовьях распятие.

Она просит бога, если можно, понять ее и простить, так как все это ей нужно только для сцены и она попрежнему предана ему всем сердцем. Но употреблять зубной порошок вместо пудры у нее нет больше сил.

Разин Степан.

(Продолжение).

А. Чапыгин.

III. Царская Москва.

От жары дневной решетчатые окна тюремной палаты в сизом тумане. Справа белые кокошники с овальными кровлями, с узкими окошками вверху, собора Успенского — жгучие блики на золоте глав вековечной постройки итальянца Фиоравенти. Слева Архангельский собор — создание миланского архитектора, а меж соборами вдвинулась с шестью окнами грановитая палата с красным крыльцом. По крыльцу ходят иногда бородатые спесивцы — люди в бархате, держа в руках, украшенных перстнями, высокие шапки. Жар долит бояр, иначе они не сняли бы свои шапки.

От куполов и раковин золоченых в кокошниках Архангельского собора светлое сияние. С колоколен гул, звонкое чаканье галок временем, беспокойной, рассыпчатой стаей заслоняющее блеск куполов. Вот смолк, оборвался гул колоколов, властно несется снизу нестройный, разноголосый крик и говор человеческих голосов — Ивановская площадь ревет, совершая суд над преступниками, позванными в Москву со всей Русии в угоду «великому государю», оттого царь так терпелив к человеческим крикам и милостив к палачам, бьющим у приказов и даже на одиноком козле, под окнами грановитой палаты людей «розно: кого нещадно, кого четно».

Рундуки [1]) от собора к собору и к теремам положены навсегда, мостятся вновь, когда обветшают, чтоб царь, идя, не замарал о навоз и пыль сафьянные сапоги. Вверху меж причудливых, узорчатых башенок — куполов воздушные гулы и клекот птичий, внизу же взвизги, мольбы и стоны, да ядреная матерщина досужих холопей, с которыми сам царь не в силах сладить.

Холопи слоняются в Кремле с раннего утра до позднего вечера, то дворня больших бояр ездит на украшенных серебром, жемчугами и золо-

[1]) Деревянные панели, ими были мощены многие улицы и поперек через грязи и овраги тоже.

ченой медью лошадях — ей настрого приказано «ждать, пока наверху у государя боярин!» Бояре ушли к царю на поклон. Холопи голодны, а уйти не можно, от безделья и скуки придираются к прохожим и меж себя бьются на кулаки.

Дальше к Спасским воротам каменные со многими ступенями выпятились на площадь высокие лестницы приказов, начиная с поместного и разбойного. Перед лестницами козлы, отполированные животами преступников, перепачканные кровью и человеческим навозом. Между лестницами у стен приказов виселицы с помостами. На козлах что ни час меняются истерзанные кнутом люди, замаранные до глаз собственной кровью. Часто меняются перед козлами дьяки и палачи.

Все так привыкли в царской Москве к нещадному бою, что говорят: «Москва слезам не верит!», и мало кто глядит на палачей, а дьяков, читающих приговоры, никто не слушает.

У лестницы судного приказа ежедневно, кроме праздников, густая толпа бородатых исцов-тяжебчиков, в кафтанах, сукманах и казакинах со сборками — все ждут дьяков и самого судью, а судья и дьяки медлят, хотя судебным от царя повелено:

«Чтоб судьи и дьяки приходили в приказы поранее и уходили из приказов попозже».

Повелено также боярским холопям: «с коньми стоять за Ивановской колокольней», но озорной народ разъезжает по всей площади, а драки меж себя чинит даже на папертях соборов, в ограде и на рундуках — где проходить царю.

Кто любопытный, тот, прислушавшись к крику дворни, узнает:

«Что князья Трубецкие изменники — Польше продались, латышкой замест креста, крыжь целовали, что Голицын князь в местничестве упрям и зато с государевой свадьбы прямо посылан на Бело-Озеро».

— Я вот на тя доведу князю-у!

— А я? Отпал язык, что ли? Тож доведу!

— Стрельцы!

— Дворня! Езжай на Ивановску — там стоять указано.

— Сами там стойте, бабы!

— Брюхатые черти!

— Шкуры песьи!

— Чого лаете? Караул кликнем!

— Кличьте, сволочь!

— Дай им, головотяп, кистеня!

— Нет сладу со псами, тьфу!

— Эй, люди-и! биричи едут.

— Пущай едут, орут во всю Ивановску.

Из окон разбойного приказа, распахнутых от жары, надрывный женский крик:

— Отцы родные! Пошто мне Никон? Не воровала я, а противу великого государя...

— А ну, еще, заплечный, подтяни.

— О-о-ой! ду-у-шу на покаяние...

Два бирича в распахнутых, рудожелтых кафтанах останавливают белых коней на площади против дьяческой палатки, где заключаются со всей Русии «крепостные акты». Палатка задом приткнута к колокольне Ивана великого, полотняный верх ее в густой пыли. В палатке виднеется стол, скамьи, за столом подьячие, и дьяк за столом, стоя, читает закон.

У биричей — в левой руке по длинному жезлу. Сверху жезла знамя из золотой парчи, у седла литавры. Остановив лошадь, один из них, старший, бородатый, бьет рукояткой плети в литавры, кричит:

— Народ московский! Ведомо тебе, что с год тому святейшие, вселенские патриархи учинили суд над бывшим патриархом Никоном... самовольством он, не убоясь великого государя повеления, снял с себя в Успенском соборе сан светлый, надел мантию и клобук чернца, сошел на Воскресенское подворье.

Другой бирич бьет в литавры, продолжая речь первого:

— И ныне Никон тот не патриарх, да ведомо тебе будет, а чернец Ферапонтова монастыря, имя же ему Ани-и-ка!

Первый бирич, чередуясь, кричит:

— Сей чернец Аника с толпой монахов, обольщенных его прежним саном, вошел в собор Успенский, пресек службу господню — за бесчинство, подобное тому, простых людей кнутом бьют, но волею и кротостью великого государя самодержца всея Русии, Алексея Михайловича, Аника был спущен в Воскресенский монастырь!

Второй бирич сменяет первого:

— Чернец Аника, стяжавший многими злыми делами кару господа бога и великого государя, лаявший собор святейших патриархов жидовским, назвавший великих иереев бродягами и нищими, не мирится с долей чернца-заточника — он утекает из своего заточения, соблазняет народ сказками о несменяемости сана патриарша и грозит, лжесловя судом божиим всуе...

Первый бирич, поворачивая коня и заканчивая, прибавляет, потрясая жезлом:

— Народ московский! Не иди за бывшим патриархом Никоном, не верь кликушеству и пророчеству ложному тех, кто прельщен им! Отвращайся его, не поклоняйся дьявольской гордыне его и знай крепко, что на бывшем патриархе, а ныне чернце Анике, — проклятие отцов церкви, запрещение быть ему в сане иерейском и гнев на нем великого государя!

Биричи уезжают, толпа ропщет:

— Сгноили бояра-т святейшего патриарха!

— То всем ведомо! да вишь, по народу сказки идут... дуют нам в уши лжу биричи...

— Страшатся Никона!

— Никон патреярх таков есть, что уйдет из монастыря да за народ пойдет, противу обидчиков!

— Мотри! уши ходят.

— Стрельцы?

— Стрельцы ништо — сыщики!

— Эй, слушь-ко, люди! — кричит один, потный, в распахнутом кафтане, в бараньей шапке. — Почесть с год на Волге донские казаки шарпают.

— О-ой-ли?

— Вот хрест! И атаман у их Стенька Разин...

— Вишь, како дело-о?

Потный человек, польщенный тем, что его многие слушают, надрываясь, кричит:

— Сказывают... государев струг, да патриарш другой потопили на Волге-т... да стрельцы сошли к...

— Стой ты, парень! не знаешь, где рот открыл?

— А чаво?

— Ту — чаво! дурак, под окнами разбойного приказу — чаво?

— Ну, а я — правду? чул, вот хрест!

— Стрельцы! хватай вон того в зимней шапке, лжой народ прельщает.

Стрельцы ловят человека за распахнутые полы кафтана.

Тот, кто велел взять, запахивается плотно в длиннополую сермягу, пряча вывернувшийся из рукава тулумбаз [1]) и надвигая на глаза валяную шляпу.

— Сыщик?

— Кто еще? ен! Сказывал дураку.

Толпа, пыля песок, бежит прочь от взятого. Стрельцы кричат сыщику:

— Эй, государев истец! куды с ним?

— То заводчик! тащи к разбойной — я приду.

— Эко дело? Да не заводчик я, пустите, христа ради, государевы люди...

— Допытают кто!

— Ну, парень, волоки ноги, недалеко тут в гости ехать.

— Ой, головушка! чул и сбрехнул.

— О головушке споешь в разбойном — чуешь, как баба поет?

— Да пустите, государевы люди!

— Не упирайся, чорт!

У соборов на рундуке спешилась толпа боярских холопов, бьются на кулачки, кричат, свистят пронзительно. Иные, сбитые с деревянной панели, валятся в пыль, вскочив на ноги, хватают за гриву лошадей, за стремена и уезжают, а бой жарче, гуще толпа, но разом и бой, и крик, и свист утихли — люди как не были тут — рундук чист. Из Архангельского собора по рундvкv медленно идет седой боярин в голубой шелковой

[1]) Тулумбаз — род бубна, деревянная вогнутая чашечка, обтянутая пузырем.

ферязи, расшитой жемчугом, боярин без шапки, утирая лысую голову цветным тонким платом, говорит:

— Люди, шапки снять! кто не снимет, бит кнутом будет здесь же на козле. Великий государь всея Русии со святейшим патриархом идут из собора...

Кто близ рундука, все обнажают головы, иные падают на колени. Идут попы с крестами, бояре в шелковых и бархатных ферязях, в кафтанах из зарбафа. В пестрой, блещущей жемчугом и дорогими каменьями толпе сияет шапка Мономаха, мотается крест на рукоятке посоха. Близ самого рундука, где проходит царь, толпа валится для поклона в землю, но площадь Ивановская в ширине своей ревет и гудит, не замечая ни царя, ни патриарха. Кого и за что бьют на площади—не разберешь. Голоса дьяков выкрикивают о наказании исправно и точно, но приговоры тонут в ссоре, высвистах конных холопов, в команде стрелецких дозоров, в жужжании голосов Ивановской палатки, в плаксивых жалобах и просьбах у судного приказа, в ругани приставов и площадных подьячих, не дающих кричать «матерне» и бессильных остановить тысячи глоток. Гам человеческий сливается с гамом галок и воронья, кочующего на соборах и башнях, облитых по черепице зеленой глазурью, и на рыжей стене Кремля с белой опояской, с пестрыми осыпями кирпича — зубцов и бойниц.

Узорчатое окно распахнуто — царь стоит у окна. Голоса с площади долетают четко. Царь в атласном голубом турецком кафтане, пуговицы с левого боку алмазные, короткие рукава кафтана пестрят камением и жемчужными узорами. Шапка Мономаха блестит рядом на круглом, низком столе. Тут же приставлен посох с золотым крестом сверху рукоятки. Иногда проходит палатой, каждый раз почтительно сгибая шею, стольник боярин, бородатый, в дорогом, становом кафтане [1]). В следующей, меньшей палате царь приказал собрать столы для пира и бесед с боярами, дел накопилось столько, что царь позволил большим и ближним боярам вершить иные дела, не сносясь с ним. Рядом с царем высокое кресло с плоской спинкой, расписное в золоте и красках с подножной скамейкой, обитой голубым бархатом.

Видит в окно царь, как из Приказа вывели волосатого дьяка, провели через рундук к одинокому козлу — к козлу у грановитой палаты водили тех, кто словом ли делом обидел царское имя.

Палач встал у козла и расправляет кнут. Рукава красной рубахи засучены, ворот расстегнут.

Помощник палача, не имея времени расстегнуть, срывает с дьяка длиннополый кафтан. Дьяк уронил в песок синий шелковый колпак, топчет его, не замечая, и сам топчется на месте. Руки дьяка трясутся, он дрожит, и хотя на воздухе жарко, но дьяку холодно, лицо посинело. В конце

[1]) Становой кафтан — с перехватом и воротником, турецкий — без перехвата и без воротника.

длинного козла стоит дьяк с листом приговора. Осужденный подымает голову на окно царской палаты, раскинув руки валится в землю, закричав:

— Великий государь! смилуйся-а, прости-и...

— Его поруха как? — спрашивает царь.

Дьяк с листом деловит, но, слыша царский голос, поясно кланяется, не подымая головы, и во всю силу глотки, чтоб покрыть многие звуки, отвечает:

— Великий государь! дьяк Лазарко во пьянстве ли, так ли, то неведомо — сделал описку в грамоте противу царского имени, своровал в отчестве твоем...

— Сколь бить указано?

— В листе, великий государь, указано бить вора, дьяка Лазарку, кнутом нещадно.

— Бить его четно — в тридцать боев! Нещадно отставить и не смещать — пущай пишет, да помнит, что пишет!

Свернув приговор, дьяк с листом поклонился царю поясно. Осужденный встал с земли. Царь отошел от окна, сел на свое кресло, сказал:

— Суд бо божий есть и честь царева суд любит!

Палатой снова проходил стольник, царь приказал ему:

— Боярин Никита! Не вели нынче рындам приходить.

— То укажу им, великий государь!

Стольник прошел, царь хотел закрыть глаза, но по палате спешно и, видимо, робко, колыхая тучными боками, шла родовитая Голицына, мама царских детей.

— Мама! Не можно итти палатой, тут бояре ходят для ради больших дел.

Боярыня почтительно остановилась, повернувшись лицом к царю, и низко, но не так, чтоб сдвинуть на голове тяжелую кику с золотым челом и камением, поклонилась:

— Холопку твою прости, великий государь, царевич, вишь, сбег в ту палату, и я за ним, да дойти не могу—пры́ткой, дай ему бог веку...

— Поспешай... пока ништо! а царевича не пущай бегать — иные лестницы есть дорогами крыты, под дорогой гвоздь или иное — береги мальца.

— Уж и то берегу, великий государь!

Боярыня прошла-было, царь окликнул:

— Не вели, мама, у царевен в терему окошки распахнуть, чтоб девки с площади не слышали похабных слов!

— То я ведаю, великий государь!

Боярыня ушла, царь снова хотел зажмурить глаза, подумал:

«Нет-те покою, царь!»

Очередной караульный боярин вошел в палату, отдал царю земной поклон, встал у двери.

— С чем пришел боярин?

— Боярин Пушкин разбойного приказу, великий государь, с дьяком своя,— приказать, ай отставить?

— Боярину прикажи, дьяку у меня нынче невместно.

Вошел коренастый, чернобородый боярин, у двери упал ниц, встал и, подойдя, снова земно поклонился:

— Пошто не один, боярин?

— Великий государь! с Волги вести, как и ране того были — о воровстве Стеньки Разина с товарищи... я же чту грамоты тупо, то дьяк, того деля, волокется мною с письмом...

— Для ради важных дел кличь дьяка... эй, приказать дьяка!

Русобородый, русоволосый дьяк, войдя без шапки, степенно, поясно поклонился царю, встал неслышно за боярином, развернув лист, осторожно кашлянул в руку. Царь поднял на дьяка глаза:

— Чти, дьяче!

Дьяк раздельно и четко начал:

— «Из Синбирска во 175 году Июля в 29 день писал к царю и великому князю Алексею всея Русии самодержцу»...

Царь пнул из-под ног низкую скамейку, вскочил с кресла и затопал ногами:

— Что ты чтешь, сукин сын?! Куда ты дел отчество и слово — «великому государю»?

Дьяк побледнел, слегка пятясь поклонился, лист задрожал в его руке, но он, твердо глядя в глаза царю, сказал:

— Великий государь! прибавить, убавить слово — не моя власть, чту то, что написано...

— Дай грамоту, пес!

Дьяк с поклоном передал боярину лист, боярин, еще ниже кланяясь, передал лист царю. Царь развернул грамоту во всю длину, оглядел строки и склейки листов внимательно, на его дебелом лице с окладистой бородой ярче заиграл злой румянец. Царь передал грамоту, минуя боярина, в руки дьяку, велел читать, переждав, сказал боярину:

— Кончим с грамотой, боярин Иван Петрович, а ты помету сделай— незамедлительно напиши воеводе, чтоб сыскал дьяка, кто грамоту писал, и с земским прислал того вора на Москву, а мы его здесь под окнами на козле почествуем батогами... чти, дьяче!

— «...стольник князь Дашков и прислал расспросные речи о воровских козаках: сказывал-де синбирского насаду работник Федка Шеленок (донские-де козаки — атаман Стенька Разин, да ясаул Ивашко черноярец, а с ними с тысячу человек, да к ним же пристают по их подговору вольские ярыжки — корован Астраханской остановили выше Царицына на устье Волги и Ловли реки, а как они воры мимо Царицына Волгою шли и с Царицына-де стреляли по них из пушек и пушка-де ни одна не выстрелила, запалом весь порох выходил»...

Царь снова соскочил со своего тронного места, затопал ногами:

— Пушкари воруют! таём от голов и полковников да воевода дурак! Чти, дьяк, впредь.

— «...А стояли воры от города в четырех верстах и на Царицын прислали они ясаула, чтоб им дать Льва Плещеева да купчину кизылбашкого»...

— Пошто не просили дать им самого воеводу? Вот два родовитых покойника — Борис Иванович да Квашнин бояривн какое наследье нам оставили? А я еще тогда по младости пожаловал Квашнина разрядным приказом, Юрью же князя понизил в угоду Морозову... и нынче вижу их боярское самовольство — в тай того, Разина спустили из Москвы, взяв у боярина Киврина, а как старик пекся и докучал — не спущать и на том государском деле голову положил.—Царь перекрестился.

— Учинено было, великий государь, не ладно, большими боярами, да поперечить Морозову никто не смел.

— Так всегда бывает, когда многую волю боярам дашь — чти, дьяк!

Дьяк, повернувшись к образам, крестился.

— Не во-время трудишься, дьяк!

— Великий государь! Пафнутий Васильевич — учитель мой и благодетель, а когда имя его поминают — всегда молюсь.

— То похвально! чти далее.

— «...И взяли у воеводы наковальню да кузнечную снасть да мехи, а дал он им убоясь тех воров — что того атамана и ясаула пищаль, ни сабля ни што не возьмет и все-де войско они берегут... а грабили-де корован и Васильеву лодью Шорина не одну посекли и затопили в воду ниже реки Камышенки и насады и всякие суды торговых людей переграбили, а иных-де до смерти побили, а колодников, что шли в Астрахань, расковали, спустили да они худче самих козаков побивали на судах служилых людей... Синбиренина Степана Федосьева изрубили и в воду бросили, да двух человек целовальников синбирских которые с недовозным государевым, Саратовским хлебом посланы — били и мучили и знамя патриарша струга взял Стенька Разин и старца патриарша насадного промыслу бил, руку ему срубил и потопили... да трех человек патриарших повесили, да приказчиков Василья Шорина повесили же и знамяна и барабаны поимали. Пристали к нему Стеньке ярыжных с насадов Шорина шестьдесят человек, с патриарша струга — сто человек, да с государева, царева струга — стрелцы и колодники, да патриарш сын боярской Лазунко жидовин, кои воры погребли Волгой, а иные взяв лошадей берегом погнали в Яицкой городок за помогой»...

— Нынче же будем судить за трапезной, думаю я, боярин, Хилкова князя сместить, худой воевода.

— Ведомо великому государю, что послан туда Иван Прозоровский князь с братом.

— То я знаю...

— А еще Унковского Андрея, великий государь, по указу твоему перемещаем.

— Тургенев сядет, да лучше ли? Все дела, боярин Иван Петрович, о воровских козаках направлять в Казань к боярину князю Юрью Долгорукову.

— Так делаем мы уже давно, великий государь!

Царь косо улыбнулся, в глазах засветилась насмешка:

— Пишет Унковский с Царицына да пишет — тайно, а чего тут таить? «Для помыслу над воровскими казаки послать он Андрей не смеет за малолюдством, а из Астрахани-де и с Черного Яру для поиску тех казаков ратные люди на Царицын и по Мая 17 число не присланы». Все они воеводы друг другу помешку чинят, да котораются, а с нуждой государевой не справляются — пожог грабежный ширится и ужо когда тушить его придет, когда им каждому в своему углу жарко зачнет быть, почнут кричать: «великий, государь, пожалуй — пошли людей, да денег, да коней!». Приказать им, боярин, чтоб они хоть жили с великим береженьем и на Черном Яру и по учугам, да про воровских казаков проведывали бы ладом и всякими мерами промышляли через сыщиков и лазутчиков, сыскных людей, боярин, шире пусти! Из приказа большого двора возьми на то денег...

— Воля нам дана от тебя, великий государь, а мы для того дела прибираем давно уж бойких людей... да заводчиков всяких ловим, чтоб слухов и кликушества вредного не было...

— Еще раз наказать накрепко! — Царь взмахнул кулаком так, что светлые зайчики от рукава запрыгали по стенам.—Чтоб одноличнo тем воровским казакам на Волге и иных заполных реках воровать не дать и на море их не пустить! Так и грамоту писать в Астрахань, а нынче, боярин, обсудим, что на Ивановской делается — перво: вот еще, Иван Петрович, пиши не то лишь в Астрахань — пошли в Казань к Долгорукову Юрью князю, да о ворах же пиши Григорью князь Куракину, и в Синбирск и на Самару...

— В Самаре, великий государь, воевода Хабаров Дмитрий... и не дале как вчера доводит мне на него таём тамошной маеор Юган Буш: «воевода-де людей всякого звания теснит гораздо и по застенкам держит и через незамужних жонок блудом промышляет», уж видно таковы, государь, Хабаровы, и ежели твоя светлая память упомнит четвертый год, как государил ты, — объявился некий опытовщик, на даурских людей — Новую землю Ермошка Хабаров, ходил воевать неясачных князьков.

— Мутна к тому память моя, но все же говори, боярин.

— Да тут, государь, досказать мало: забрал тот Ермошка Хабаров аманатами у тех князьков жонок да девок и всех перепортил, да тем и опытки свои порешил.

— Все они друг на друга изветы подают! воевода тож таём доводит на Юганна Буша, что он великий бражник, что-де мужиков в солдаты имает тех, кто боле семейной, указ же ему брать одиночек «и одиночек-де не берет, заставляет тех мужиков, по вся дни, ходить к ружью, и от того пашня-де, земля скудеет»...

— Так повели, великий государь, чтоб я послал на Самару сыщиков и сыскал бы о маеоре и воеводе за поруками местных людей: иереев, купцов, целовальников добрых и черных людей всех?

— То велю тебе, боярин, а прежде того пиши ко всем воеводам и на Терк тож: чтобы жили не которались с великим бережением да лазутчиков шли им, воеводам, в подмогу, а ежели где объявятся воровские казаки, то ходить бы на тех казаков, свестясь с нами.

— Все то будет так, государь!

— Иди, дьяк, боярин останется.

Дьяк поклонился царю. Ушел, царь проводил глазами дьяка, сказал:

— Толковой и чинной дьяк! где взял такого?

— Наследье мне, великий государь, от боярина Киврина покойного... дьяк много грамотен, не бражник и чист — посулов не имает.

— Добро! ты иногда его и для моих тутошних дел давай.

Царь вспотел. Боярин поклонился и, припав на колени, расстегнул царю пуговицы кафтана:

— Пошто, великий государь, плоть жарой томить?

Когда боярин встал на ноги, царь милостиво дал ему поцеловать руку.

— Вот еще молвлю об Ивановской перво: кто пустил конных биричей? Пеший бирич дешевле — погодно четыре рубли, конной много дороже — конь, литавры, жезл и одежа боярская...

— То, государь, у биричей — свое, а жалованное тоже, четыре рубли и пять денег емлют...

— И еще, боярин! Никон ко мне завсегда тянется... не опасен нашему имени.

— Великий государь! Никон после того как пил на светлую пасху твое вино в честь твою, да имал от тебя дары,— возгордился и в Ферапонтове игумн да монахи порешили воздавать ему патриарши почести, он же, не спросясь никого, вернулся в Москву...

— Чаял меня видеть... не допустили?..

— Народ темен, государь! и по вся зол на больших бояр, ведомо народу, что Никон, возведенный волею твоею из мужиков, знает, что народ за него, и Никон, где проходит, лает бояр, тем прельщает... нашлись уже кликуши, стали кричать всякое непотребство, лжепророчествовать хулой на святую церковь... и мы, прости нас, великий государь, с князем Трубецким, чтоб не печалить тебя и сердце твое сохранить спокойным, чернца Анику свезли за караулом, но без колодок, в Ферапонтов и настрого указали игумну — боле не пущать заточника, а лжепророков берем на пытку и биричей пустили кликать народу по един день на торгах и площадях.

— Не покривлю душей... жаль мне Никона, боярин! и не я возвел его — до меня он был приметен в иереях, но вы с князь Никитой ведаете, что надо мне... и я молчу...

— Еще великий государь, мыслим мы убрать холопей с Ивановой площади — чинят почесть что разбой среди дня...

— Того, боярин, не можно! Пуще всех меня они тамашат — дуют прямо в окошки похабщину. Убрать холопей, то родовитым боярам придется итти пеше, а родовитые коньми себя красят — ведь они потомки

удельных князей! Можно ли родовитому пеше итти к государеву крыльцу?.. нет, боярин!

— Твоя светлая воля, государь!

Стольник вошел в палату, торжественно и громко сказал:

— Великий государь! Святейший патриарх идет благословить трапезу.

Царь встал, сказал стольнику:

— Никита боярин! чтоб было за трапезой довольно вина!

Стольник низко поклонился.

(Продолжение следует).

Колокола.

(Из хроники 900-х годов).

(Продолжение).

И. Евдокимов.

Глава III.

С субботы на воскресенье занабатили на Подоле, на Крови, в Рощенье. Задернулось темное небо кумачом с горошком—искрами, поплыли багряные облака по красному киселю, заныряли ворóны в беспамятстве с головешками рядом и закричали коротко и дико.

На Числихе из окошка через дорогу баба на ухвате горшок соседке в окошко подает: не домá — растопка огню. Занялась улица, будто прострелило огнем целый порядок, а крыши тут и там повязались красными платками. Побежал народ с ведрами, с пожитками, с малыми ребятами на руках; заверещали свиньи, свинушки, замычала телка, замяукала на трубе кошка, примерилась перескочить огонь и на лету вспыхнула красной головешкой; баба сарафан на голову, кинулась в дым и смрад, вынесла обгорелый узел с тряпьем; Иван Просвирнин в вышибленное окно выкидывал Аннушке всякую рухлядь, рубаха на нем шаяла, жгла; напротив затягивали домишки мокрой парусиной и поливали с крыш из ведер и леек.

Огненный паводок разливался без уéма, как Чарымские воды весной. В треске углей, в сухом шуме красной огненной воды плескались людские крики, выкрики, рубили разогретый воздух неугомонные голоса суетившегося люда, и горько плакали детишки.

В улице было тесно от народа. Одни стояли и глядели блестящими, отражающими огонь, глазами, другие носились с вещами в окна, двери, складывали вещи грудками на улице, проталкивались с бранью между ленивого люда. Вместе с другими заводскими Егор едва волочил ноги от усталости. Аннушка сидела на своем скарбе и мельком, когда проходил он с кладью, касалась серыми дозорами глаз до его темных от сажи рук и разорванного пиджака. Проходил мимо Просвирнин, таща в одиночку кадки с огурцами, с капустой, набитые одежонкой сундуки, дере-

вянные кровати, поднявшие над ним раскаряченные ноги с паутиной и пылью. Аннушка глядела на его круглые и кривые ноги, уминавшие развороченный фашинник. Он косился на нее острым зовущим взглядом.

Из города любовались на алые крылья зарева: каждый год горели Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы. Побаивалась ходить благородная публика на черную сторону! Посылала пожарные машины. Пожарные гнали из города с колокольцами и трубили в медные рога. На мосту у бульвара машина села колесами в деревянную труху, лошади вырвали передок и проскочили в переулок без машины. Пожарные побежали за лошадями, тпрукали, шатались из стороны в сторону факелы, как пудовые свечи в церкви, и поджигали ночную темноту. Другая машина по кальям и вымоинам ползла в объезд с Кобылки, доползти не могла.

А Числиха горела не торопясь, выгорала, сколько надо. Подпрыгивал на лошади пожарный верховой со свечей, опрометью кидался обратно, швыряясь факелом, прискакивал снова. Пожарные бросили машины, прибежали с багорцами, с топорами. Медные головы заполыхали от огня зеркалами. Багорцы заковылялись в воздухе — тянись, не тянись — не дотянешься — нет подступа, невтерпежку от огня. Пожар дул жаркими воротами красных губ — отодвигал и люд и пожарных. Голоси, не голоси, бабы, до пустыря выгорит!

Просвирнин уселся около Аннушки и заглянул ей в лицо. Аннушка повела уныло в сторону и передохнула. И сразу Просвирнин стиснул кулаки, наклонился вплотную к ней, трясущимися губами зажевал воздух и полувывизгнул:

— Я... тебе... гляделки вышибу!

Аннушка сжала плечи, будто хотела спрятать в них свою маленькую голову, передвинулась на другой узел и чуть прикусила губы мельчайшими зубками.

— Я ему... кишки выпущу... Перемигивается. Не вижу... думаешь я? Стибрю вот сейчас при всем народе... и в огонь его брошу... Из-за тебя на пожар пришел... Узлы наши таскал, сволочь. Твои узлы...

Аннушка вдруг засмеялась и зажала рот, испуганно оглянувшись на осуждающие людские глаза. Просвирнин недоумевающе раскрыл губы. Аннушка быстро, как колокольцы под дугой бегут, зашептала ему:

— Аника, дурак, воин! Егора разве знал, у кого пожар? Головой, как бабьим подолом, сплетни подбираешь! Постыдись! Для растравы тебе говорят! А ты, как бык, рогами бодаться! Говори лучше, где жить теперь будешь? Такого разбойника никуда добрые люди и не пустят.

— Не наводи тень, Анна, — успокоенно отвечал Просвирнин, — я тебе замок, знаешь, куда, повешу? Не до житья мне теперь. Наплевать мне на все.

— Что, на улице кровать поставишь? Спи без меня. Сам к Егору толкаешь, пьяница! Позвать, что ль, Егора сюда? Посмеяться над тобой, кожулей?

— У... у! — заскрежетал Просвирнин зубами. — Дохлая кошка!

Пришли пешим строем солдаты к шапочному разбору, перегородили улицу, оцепили вещи, отогнали люд, не подпускали к пожару. Огонь к утру устал, будто застыдился своего ночного разбоя, улегся на последних красных венцах срубов.

И опять золотобровый вышел из-под земли, кинул золотыми веретенами в землю, опутал ее золотой пряжей, зазвенел на золотых шапках церквей, поплыл золотой лодкой по Чарымским глубинам, золотыми листами расплавился в окнах на Числихе.

Покатилось, как раззолоченная карета, утро. Шипело и шаяло и тлело пожарище.

Будто выдернули у Числихи зубы во рту, оставили гнилые корешки на разводку — печи голландские, русские, чугунки... Стояли они на пепелище каменными застывшими чернецами.

Вон на шестке опрокинулся глиняный горшок с обожженной кашей. Вон торчало опаленное уцелевшее крыльцо с распахнутыми дверями, а кругом — обгорелая пустота. Вон два столба остались от ворот, как две поднятых к нему обугленных кумельки. Вон скворешник покачивался на длинном шесте, словно игрушечная курная изба.

Улицу заняли столы, табуретки, укладки, деревянные кровати, кадушки, корыта, детские санки, глиняные корчаги и нечищенные ведерные самовары.

Ушли пожарные. Разбрелся понемногу праздный люд по домам. Погорельцы сидели на своем закопченном скарбе и молчали. Около баб влежку спали ребятишки. Постарше играли землей, дрались, жаловались матерям.

Заводские кучками толпились около погорельцев, ободряли баб шуткой, голосом, доброй усмешкой.

— Мы вот тоже в третьем годе погорели, ровно с купки нагишем на улицу выскочили. Думали—шабаш: из построя вывалились навсегда. А ничего. Обошлось. Забывать стали.

— Забудешь тут!

— И пожар из-за ничего вышел — из трубы печку выкинуло.

— Кому смешки, а кому слезы каменные.

— Из одежи что осталось?

— Одежу-то всю вытаскали. В чулане деньги сгорели.

— Чулан денег был?

— Чулан не чулан, а на первое обзаведенье хватило бы.

— Деньги дело наживное. Сам на сверхурочные насядет. Товарищи помогут. Оправитесь, матка. Вишь ребята из песку дом строят. Значит дело будет.

Бабы повертывали головы к детишкам и горько усмехались.

— Страховку, братцы, всем надо делать. А мы все отлыниваем, думаем, надувательство. В городе кажинный дом с бляхой от страхового общества. Как пожар, сорвал бляху — и в карман. На другой день —

в контору. Подаешь бляху, а тебе деньги отгребают лопаточкой. Пожарный заработок!

— Наши дворцы в страховку не примут. Страховщики норовят по каменной части... Где безопасно...

— А как же в деревне? Там только церкви каменные да фундаменты: на тыщу верст поларшина.

— Мужики обществом страхуют в земстве.

— И нам так надо: собраться улицей.

— Без гόда неделя на Ехаловых был пожар. На Зеленом Лугу на одной неделе три раза загоралось. Смотри — теснота-то какая! Не дома стоят, а штабеля с дровами, деревянный порох. Чиркни спичку—и пошло. Удивленье берет — горим мало. Другой раз думаешь — на растопку живем. Ребят бы только вытащить на случай пожара.

— И пожарные тоже черти... к концу пожаловали. Дураки ходят надо всем городом на каланче: глаза по ложке, а не видят ни крошки.

— Пожарные не причем. Тут никто не поможет, когда к огню подступа нет.

— Городскому голове по шапке надо. Вот что. Думе. Они, брюханы проклятые, около своих домов щебеночкой усыпают, панельки устраивают, садики разводят, а нам от городских денег ни шиша не остается. Мы на болотине дохнем, в грязи, в канавах.

— По-настоящему, всю нашу стройку следовало спалить к чорту, сказал Тулинов.— Ровное место оставить. Навалить заново земли, укатать катками, как бульвары делают, размежевать по ниточке, и каменных домов настроить. Улицы тоже в камень. И чтобы не гуськом по улицам ходить, а шестерке лошадей в любом месте поворотиться. Водопровод, там, в каждую квартиру, газ, электричество. Так за границей живут рабочие.

Старый токарь Кубышкин насмешливо ухмыльнулся на Тулинова и заскрипел тоненьким, как у девочки-малолетки, голоском:

— Ишь ты, поскакун какой! Приехал из Америки на зеленом венике? Дай тебя одернуть маленько. По книжке говоришь. Не подумал, какие капиталы надо для этого? Да я, может, в каменном доме, ты меня спроси, и жить не жалаю? Мне деревянной давай.

Егор подтолкнул Тулинова под локоть и засмеялся. Тулинов разъярился на Кубышкина:

— Ну, что же? Можно, кому надо, деревянных настроить. Капитала хватит. Объяви нам всем на улучшение нашей жизни да мы все бы помогли устройству.

— Да! На словах помогли. Сам первый лататы бы дал. Заграница, заграница? Дальше своей перéгороды не бывал, а тоже заграница! Побасенки одни. Там, небось, рабочим немного чище нашего живется? Сколько мастеров в России из немцев? Чего им надо у нас, ежели у них благодать? Лезут, отбою нет. У себя житье славят, а лезут к нам. И выходит по пословице — всякий кулик свое болото хвалит.

Вдруг Просвирнин замотал своей тяжелой головой и зарычал на Кубышкина:

— Чего же тебе тогда надо, чортова перечница? Не знаешь? Ты куликом и выходишь, раз не способствуешь хорошей жизни.

Кубышкин ерзнул на месте, поперебирал ножками и запищал:

— Потише, потише, Ваня! У старого человека язык может поперхнуться со страху или от параличу отнимется. Ты вот у нас до того доспособствовал жизни на Числихе, во святые угодники тебя надо.

Все засмеялись, громче всех засмеялась Аннушка. А Просвирнин не спускал глаз с Егора. Егор это чувствовал, пересилил себя и будто ничего не слыхал. Тогда Просвирнин оборотил свое лицо к Аннушке и прикрикнул на нее:

— А ты чего, дура? Что тебя ангелы тешат?

— Какое уж тут ангелы! — хохотала Аннушка. — До ангелов ли тут, когда о тебе разговор идет!..

Аннушка остановилась, бросилась глазами в Егора и лукаво спросила:

— Правда, Егора?

Просвирнин зашевелился на месте, все переглянулись, Егор смущенно кашлянул и не ответил ей. Кубышкин зазвенел дальше:

— Языком, Ванюша, немного наспособствуешь! Ты делом способствуй. Ежели бы человеку дать такие руки, как он в мыслях своих раскладывает, да он бы с неба все лишние звезды поснимал.

— И поснимаем, — заволновался Тулинов.

— По-твоему, пентюх, — опять вмешался злыми глазами и дрожащим голосом Просвирнин, — лучше рылом в чей-нибудь сапог тыкаться? Ваксу на рожу переносить?

Тут рассердился Кубышкин.

— Бормота ты, бормота! Вошь всегда думает о себе не меньше, как о слоне. Вот и мы так. А на самом деле рубаха на тебе есь, а ворота у рубахи нету. Ты, Ваня, кузнец, а повадка у тебя баринова, баринова, анбиции в тебе, как пару в котле.

— От таких, как ты, и горим,—завизжал в негодовании Тулинов. — Где бы всем заодно, душа в душу, по согласу... У тебя один смысл, у другого тысяча смыслов. Соедини зараз—гора треснет. А по-твоему наплевать друг на дружку. Я тебе скажу для примера. Смотрит с неба луна. И все равно ей, что мост, что человек, потому — дура она. Ты на луну похож.

— А ты брехун брехунович! На одном месте не две вырастают разные ягоды? Посмотреть на тебя — будто пальто на тебе сидит, а оно, видишь, рядом повешено. Ты с налету думаешь. А налетишь на столб, лоб не устоит. Ты столб подрой сначала, покачай его, он и ляжет. Улучшение жизни от себя приходит. Всех ты обвинил — и пожарных, и голову, и Думу, а себя позабыл. Мы спьяна огнем пренебрегаем, осторожности у нас нет, в порохе закуриваем...

— Лысина у тебя, как у апостола, а рассужденья, как у быка у пестрого. Песочница ты старая! — бросил злобно Просвирнин. — У-х!

Так рука и зудит у меня. Все к чорту надо перекувырнуть! Все вверх пупом надо поставить! И нас всех к чорту! Спалить, сжечь, в ступе истолочь!..

— Ты, ты, Кубышка, — кричал во всю мочь Тулинов, прыгая на месте, — ты уставился в одну точку — мигать разучился. От самих да от самих... Мы-то отчего такие, не подумал? Оттого, что на сквозняке живем, дует во все пазы, во все щелочки, спина от работы колесом, глаза в землю глядят — деньги ищут, не потерял ли кто? Я тоже хочу удовольствия. Обмыться я хочу от грязного положения. Почему им можно, а мне нельзя? По-твоему, попал человек в лужу, век ему сидеть в луже? Правильно я говорю, Егор?

— Правильно, правильно, — отвечал Егор, — я за тебя стою.

Просвирнин оскалил зубы на Егора и задирающе швырнулся словами:

— Яблоков за чужих баб стоит, а больше ни за кого. Он баб улещивать мастер. Ты, Тулинов, держи от него свою бабу подальше.

Швырнулся словами Просвирнин и приподнялся на руках, будто хотел прыгнуть на Егора.

— Отстань с глупостями! — заюлил Тулинов. — Дай до шабашу спор довести. Кому чего, а тебе все одно! За своей бабой следи! На чужих баб нечего тыкать. Была бы сучка, кобель найдется!

Аннушка весело захохотала. Заводские поддержали смешком. Фекла-пегая, вдова, по ляжкам себя похлопала и насмешливо на Просвирнина надвинулась:

— Егор Петрович не тебе чета! Любая баба не откинет такого молодца.

Просвирнин потемнел и обвел всех загоревшимися глазами:

— Бабий угодник!

Егор и тут промолчал, пряча свои глаза за глядевшую на него в упор Аннушку.

Старый Кубышкин схватил Тулинова за пиджак и подтянул к себе.

— А я, а я тебе скажу — жизнь улучшение помаленьку делает. Ты, ты не Тулинов, а Петушков. Ты, как петух, зря горланишь.

Тулинов взъярился на старика:

— Да кой чорт, наконец? Мне вот годов немного, а лет двадцать помню назад. За двадцать годов на Числихе два фонаря новых поставили да пять полицейских будок срубили. Какая мне от этого корысть? Я будто гляжу в окошко с постоялого двора на жизнь, а она — чужая, а мы — приезжие...

— Ты заносишься не по плечу, Тулинов! Не в этом главная суть. Хлеба край, везде рай, нет ни куска — везде тоска.

Тулинов сморщился на старика и с сердцем сказал ему:

— Ты все притчами говоришь, от дела бегаешь. Ездиют на вашем брате, кому ездить охота, наездиться не могут. Где бы всем миром лес корчевать, ваш брат на карачках ползает, дорогу загораживает другим. Тьфу!

— Ох, вы, корчевальщики! — обиделся Кубышкин. — Двум собакам щей не разлить, а туда же! Проветрись, парень, проветрись от угару! Угар у тебя, должно быть, в голове от пожару?!

— Эх, народишка!

Снялись солдаты с охраны. Разбрелся, нехотя двигаясь, остальной люд. Зазвонили к утрени у Флора и Лавра, на Подоле, в Рощенье.

Шаяло и тлело пожарище и дымило над погорельцами. А они сидели часами терпеливо и молча.

На полдень заныли гудки у Свешникова, у Марфушкина, у Мущникова. Торопливо шли мимо рабочие с работы и на работу, сумрачно взглядывали на шающую рану пожара, опинались около погорельцев—и уходили.

— Где сам-то?

— Квартиру ищет.

Бабы жевали хлеб, кормили грудью детей, закрывали груди снятыми с головы платками, застраняли от мух полусонных сосунов, застраняли от золотобрового, глядевшего на землю через золотую трубу в темячко, в слипшиеся жаром мешочки век.

Пошел люд от обеден. Стали подъезжать одиночки-ломовики на дрогах. Задвигались, как живые, столы, кровати, укладки, корчаги и замелькали над улицей, усаживаясь на дроги в тесноту, друг на дружку верхом. Люд дружно помогал. Оклали вещи, освободили улицу от постоя, и воза со скрипом поползли по Числихе на новые квартиры. Бабы несли детей, мокрыми глазами прощались с привычными наседалами, оглядывались на свои старые кухни и крылечки, оступались о фашины. Мужья шли рядом с возами, поддерживали дорогую кладь в ухабах и рытвинах, подставляли плечи под накренивавшиеся возы, заботливо одергивали слабнувшие веревки увязок.

— На Зеленый?

— В Ехаловы?

— На Кобылку?

— Квартира ничего. На дворе свой колодец.

— Тараканов зимой выведем — выморозим.

— Оклейки нет — беда. Газетами оклеена.

— Цена подходящая.

— Свиней есть где держать?

— В дровеннике сделаем помещение.

— Прилуцкие там живут. И скорняки.

— От завода малость подальше. Ходьбы больше.

— Раньше вставать.

Последний уехал Просвирин. Он стерег свой скарб, усевшись на железный сундук; он не сводил усталых от бессонницы глаз с пожарища и хмуро здоровался с проходящими рабочими. Никто не останавливался около него, обходили груду вещей второпке и не оглядывались. А спины ухмылялись над сторожем. Сашка Кривой принес водки. И они роспили, попеременно булькая в рот из горлышка.

Аннушка ушла искать квартиру. Вернулась она поздно с ломовиком, к вечерням. Просвирнин засуетился около нее, Сашка Кривой начал складывать вещи на дроги. Поехали. Аннушка грустно шла за возом, как будто на возу стоял гроб. Просвирнин робко заглядывал на нее с боку и молчал.

Вдруг она остановилась и злобно сказала ему:

— Ты не ходи! И Сашки не надо! Потом придешь. Насилу пустили. У Спаса на Болоте за углом третий дом. Я одна. Ломовик поможет.

И пошла.

Просвирнин и Сашка Кривой отстали, немного подошли, остановились, Сашка Кривой громко чему-то засмеялся, а потом повернули обратно.

После запора кабаков и трактиров Просвирнин в разорванной рубахе вдоль спины, без шапки, с пивной бутылкой в руке, впереди своей артели переходил из улицы в улицу и скандалил. Сашка Кривой разводил на гармонье. Кукушкин тащил железную трость и хлестал по воротам, по палисадникам, по рамам. Кленин носил пиджак Просвирнина и во все горло горланил, кончая и начиная снова, без передышки и остановки:

Милка моя
Подманилка моя!
Не успела подманить
Стали люди говорить!

— Эх, говорить! — стонал во всю грудь Просвирнин и размахивал бутылкой.

Артель топотала и ухала на улицах, била прохожих, щупала баб, загинала подолы, тащила в темноту от фонарей, бабы кричали и вырывались под хохот гуляк, звенели и рассыпались оконные стекла, стекла фонарей, где-то плакали, кричали, в темноте слышался свист полицейских, будто кто беспрерывно бросал на фашинник костяные шарики, и они катились сотнями, тысячами с фашины на фашину.

Под утро ворвались на Кобылке в публичный дом, разогнали гостей, заперлись там, выпили все вина, всю водку, ходили попеременно в зеркальную комнату и брали голых проституток на полу, на коврах...

С ревом и гвалтом снова выкатились на улицу, шатались от палисадника до палисадника бегущими ногами, ломились с заднего крыльца в трактиры и яростно стучали по ставням.

На Зеленом Лугу вдруг наткнулись на Егора, вынырнувшего из переулка.

— А-а-а! — закричал Просвирнин, схватил его в обхват вместе с руками, стиснул, дрожа и воя, впился ему в глаза черными огнями глаз, еще раз крепко прижал к себе, словно боясь упустить, а потом быстро оттолкнулся и с размаху ударил по лицу.

Кинулась, беснуясь, вся артель к Егору, смяла его, сдавила, закружились, как крылья мельницы на ветру кулаки над ним, сверкнул лунным блеском нож. Егор пронзительно закричал никому не знакомым плачу-

щим голосом. Потом крик смолк, но кричало еще в утреннем свете затихающее эхо, и другое сухое, деревянное эхо сразу возникло в улицах: по фашиннику убегали от перекрестка. Егор остался лежать темной грудкой на дороге.

Глава IV.

На Крестовоздвиженскую ярмарку подул ветер с гнилого угла. И раздулся на две недели. На Покров пришла настоящая осень. Коровинские мельницы днем и ночью махали черными крестами крыльев. Чарыма вздулась белякамн и выкатилась на луговины. Сивые невода тумана оплели Зеленый Луг, Числиху, Ехаловы Кузнецы. Будто выжимали на небе невода, и дождь мокрыми вениками мел крыши, улицы, мостовые. Проточные канавки пузырились, и пузыри гонялись друг за другом. По желобам с крыш бежали дождяные воды и лились через края в замачиваемые кадушки. Ветер, как ястреб, треплющий птицу, кидался на деревья, и, как летящие перья терзаемой птицы, летели алые и темнобронзовые листья. В глотки труб забирался туман и глушил гуд, а ветер подхватывал его, как легкий пух, и отшвыривал за город, за Чарыму. По скользким деревянным тротуарам с работы и на работу, подняв воротники пальтишек и пиджачонков, бежали рабочие, бабы шлепали заброженными подолами, волоса бабьи слиплись сплатками, водовозы с мешками на головах катили по мостовой, а в бочках бултыхалась и кулькала вода.

В октябре Егор первый раз пришел в мастерские. В руках не было прежней уверенности, они подрагивали. Глаза Егора напряженно следили за ними. В перерыв обступили токаря и зашумели.

— Пробледнел, Егор! Как выжил только! Ножом, стерва!

— И за что, спрашивается?

— Боком ему вылезет за это!..

— Пулю в рот, сукину сыну!

А потом из котельной показался Просвирнин, увидал Егора, поперхнулся кашлем, постоял вдали и, нахмурясь, повесив голову на грудь, пошел прямо к станку. Токаря перестали шуметь. Пододвинулся вплотную, ухмыльнулся, оглядел всех — и сказал:

— Что за шум, а драки нет?

Никто не ответил Просвирнину, а только Егор уперся глазами в глаза.

— Тебя нет — нет и драки.

Просвирнин невесело покривился, вытер черной ладонью запотевший лоб, отвел глаза в сторону, к дверям, замешался, искоса уставился на Егора и выдавил хриплым горлом:

— Будто так?

Вдруг громко засмеялся старый токарь Кубышкин. Просвирнин перевел глаза на него и злобно крикнул:

— Чего тебя прорвало? Мешаешь вести сурьезный разговор!

Старик смолк. Просвирнин внимательно вгляделся в него, обвел токарей недовольными глазами, опустил нерешительно голову и протянул руку Егору.

— Поздороваться охота: давно не видались.

Токаря охнули и зашевелились. Егор качнулся к Просвирнину, но тут крикнул резко и торопливо Кубышкин:

— Не давай... не давай ему, прохвосту, руки! Не заслуживает он!

И толкнул протянутую руку к полу.

Просвирнин задергался, глаза заморгали, он трудно передохнул и отступил, покрасневший, назад. А тогда зазвенел тонко и на весь токарный цех Тулинов:

— Разбо-ойник! Сво-о-олочь!

Закричал и замахал снова руками Кубышкин; закричали, захлебываясь, все, один за одним...

— В маши-и-ну его!

— Управиться с ним!

— Поножовщик!

— Своего брата колет, гадина!

Просвирнин подумал глубоко, будто заглянул в себя, отрывчато, рожа, швырнул слова:

— Поглядим — посмотрим! Кто кого. А только Егорке и Тулинову скажу — им это дело задаром не пройдет!

— Ладно! Иди себе! — загудели токаря. — Найдем на тебя управу! Погоди. Будет, побаловался!

— Заготовляй домовище!

— Мерой не ошибись!

— Пускай Аннушка саван шьет!

— Мы тя, дьявола, успокоим!

— Что на самом деле, ребята?

Просвирнин враскачку дошел до выхода, повернулся, прислонился к косяку и, напоследок, насмешливо сказал:

— Чур, от своего слова, ребята, не отказываться! Уговор такой!

— Дело ясное! — ответил за всех Кубышкин. — Я и то по-стариковски на гулянку выду. Иди себе тихим ходом. Не поя и не кормя врага не наживешь, просвирка чортова!

Токаря весело засмеялись и затормошили Кубышкина.

— Спасибо, ребята, в обиду не дали, — сказал Егор. — Держись теперь крепче друг за друга. По одиночке ему не попадайся. Артелью надо.

— Ты остерегайся пуще всех, — заботился Тулинов, — на тебя у него сердце в горячке. Полоснет, другой раз не так счастливо отделаешься.

— Всю, всю шайку надо вывести из слободы — и Кукушкина, и Кленина, и тальянщика этого... С корнем выдернуть надо, — волновался Кубышкин. — Посадка была сурьезная, выполоть надо того сурьезнее.

Подчеревок ему опростать начистую, штобы червяку делать было нечего... Вот как надобно..

Сережка обнял старика за спину и пощекотал мизинцем.

— О! Разошелся на старости лет, что те молодой! Кипяток, а не человек! С таким старшиной в зажим всю волость возьмем.

— Просмеешь, сосун, — весело отбрыкнулся Кубышкин, — стариковская закалка крепкая. И помирать не страшно, в пору... Стариков-то, вон, и в библии хвалят! Потому опытности много. А Ваньке гостинец в хребет надо. С ручкой, ехидна, подкатился к парню! Потрошил недавно... а тут... с ручкой... У! У! Егор, приготовил, што ли, гостинец? А? Братишка в кармане?

Егор задумался и улыбнулся старику.

— Есть!

— То-то! Не сдрейфишь? Рука не закачается? Качки не дас?

— Нет!

— Мне, старику, стыдно в слободе жить под запором, а об вас и разговору нет. Свой брат все мозоли обступал, и загривок горячий от его колотушек...

И на второй и на третий день проходил Просвирнин токарным цехом, ни на кого не глядя, торопясь к дверям. Тулинов подмигивал ему вдогонку, а Кубышкин довольный бормотал:

— Будто шелковый. Вó ка-а-к пугнули, двухглавые орлы!

И, подумав, добавил:

— Может, без смертоубийства обойдется? Итак, исправление наступит? А, ребятки?

Сережка сердито накинулся на старика.

— Что, задние ряды проверяешь?

— Я... я... ежели всем цехом — по перегородам не хожу, — залепетал Кубышкин.

— Нет, Силантий Матвеевич, так не обойдется. Сам ты сорвал мировую. Просвирнин, как ремень на маховике: зубами не разгрызешь, — вмешался Егор.

— Ну, што ж, ну, што ж, тогда и устосаем, — сговорчиво и тревожно согласился Кубышкин. — Вы заедала... мы подмогала...

Из мастерских уходили артелью.

За Просвирниным ковылял Кленин и, руки в карманы, шагал Кукушкин. Проходили широкое поле от мастерских до слободы и глядели искоса друг за другом. Шли медленно и крепко ступали по размокшей от дождей глине, давали обгонять себя другим рабочим. На Числихе расходились в разные стороны.

Тут на Числихе на пятые сутки встретил Егор Аннушку. Издали слились серые и синие воды глаз. Аннушка свечкой, сквозь ветер и дождь, горела навстречу. Егор оглянулся. Всюду шли люди. Аннушка торопилась, не отрывая глаз от Егора. На руке у нее поскрипывала маленькая корзинка и торчал из нее высокий лычей моркови. Как близко сходились. Егор быстро кинул в ветер и дождь, неслышно для других:

— Не останавливайся, Аннушка! На Чарыме... Утром... Завтра...

Аннушка поняла, сразу сошла с тротуара и, не поглядев больше на Егора, перешла по улице на другую сторону.

Егор сожмурился под козырьком картуза. Сердце засмеялось частым боем. В глазах мелькал серый выношенный сак Аннушки.

Навстречу шли бабы, девушки в таких же саках, но Егору они были чужие и ненужные, он давал им дорогу, на ходу здоровался — и шел дальше, забывая о встречах.

Ночью ныла Просвирнинская рана в боку. Егор осторожно гладил ее по рубчику, пока не начинала гореть она от тепла и пока не начинала палить бок... А тогда рана замолкала, засыпала, и глаза смежались, покойно укладывались в запавших ямках.

И снилось Егору окно, а в окне на виду вырастала зеленая и нежная ботва моркови, заполняла тесно окно, свешивалась в комнату зелеными хвостами, обрастала стены, потолок, пол... Потом в окне, раздвигая зеленые перышки моркови, показывалась Аннушка в белом платке и радостно звала:

— Егора!

Егор просыпался и кидался глазами к окну.

За занавеской серело раннее утро, лил осенний плакун-дождь, ветер хлопал на крыше прохудалым железом. Под клекот дождя Егор опять забывался. Открывался тогда потолок, и мокрое небо шаталось над головой. А по небу летели угольники летних птиц. Вытянув с высоты над кроватью шеи, они кричали что-то Егору. На кровать капал частый ситяной дождь. Егор закутывался и не мог закутаться. Ветер срывал одеяло, надувал его пазухой, трепал... Птицы спускались все ниже и ниже; он видел маленькие круглые бисеринки глаз. Птицы летели густо, тесно, задевали крыльями лицо, ресницам негде было укрыться... По подушке прыгали воробьи и долбили в раковинки уха. Вдруг из-за подушки поднялась стая горластых журавлей и загородила свет, как дымом. Пронеслась... Покружила высоко белая лебедь и села на грудь, распушив белое крылатое платье.

Егору стало душно и страшно, он закричал, но не услышал своего голоса. Тут рванул вихрь... И птиц и одеяло сорвало вихрем, понесло кувырком в небо. Откуда-то показалась Аннушка. Егор схватился за железные столбики кровати и проснулся. Кололо в ране редкими уколами. Будто продергивали в рану нитку с иглой и выдергивали обратно.

Егор дрожал от холода. Руки были дряблы, сводило их легкой судорогой, под кожей горели искры, а в стекло капал дождь мокрые жалобы: кап, кап, кап, кап, кап...

Снова Егор забылся, скорчившись грудкой. Опять летели птицы над кроватью — и не было уже ни потолка, ни стен, ни пола. Кровать стояла на желтой мокрой глине, а кругом раскрылись поля. В полях, как солдаты лагерем с винтовками в козлах, стояли бронзовые суслоны ржи. Несло туман, заволакивало небо, подносило туман к кровати. Из тумана выбе-

жала Аннушка. Егор протянул к ней руки. А за Аннушкой, тяжело ступая через полосы, шел на огромных ногах Просвирнин. Аннушка бежала, а Просвирнин шел. И она не могла убежать. Егор закрыл в страхе глаза — и спустил ноги с кровати.

На заводах пели шестичасовые гудки. Егор вслушался и узнал свой гудок. Ветер стих. Гудки были так отчетливо ясны, словно кричали они тут рядом, на дворе. Егор остался.

За стеной вставал квартирный хозяин сапожник Корёга.

Он кряхтел и стучал деревянными колодками. На кухне квартирная хозяйка щепала лучину для самовара. Егор прилег на кровать, шаря налитую снами голову. В висок бил уверенный и грузный молоточек. Голова горела. А сердце тревожно колебалось, как лист на течении.

Гудки перестали кричать. На кухне загудел в самоварной трубе огонь. Егор втянул густой и жирный запах кожи. Кожей пахли стены, потолки, пахла его комната, кожаный запах был в одежде, в дыхании. Егор задумался о Корёге, встававшем с утренними гудками в собственном заводе, на кожаной табуретке, продавленной годами. Сон прошел. И нельзя было уже уснуть снова. Он сравнил себя с Корёгой. И он, всю жизнь, где бы он ни был, где бы ни ночевал, когда бы ни ложился накануне, просыпался в шесть. Словно в шесть утра весь мир гудел гудками и будил спящих. Егор под стук молотка Корёги зажмурил глаза и увидел, как шадровитый Тулинов, подбоченясь, стоял у станка, прошел в котельную Просвирнин, оглядел мертвый станок Егора, остановился... Может быть, он побежит домой к Аннушке?

«Прогул... прогул», — подумал Егор и улыбнулся.

Табельщик отметит его: в бригаде неполная смена. Бригадир поведет рыжим усом. В получку ему не доплатят...

В окна опять забил, как ласточка крыльями, частый и широкий дождь.

Егор быстро спрыгнул с кровати и торопливо стал одеваться. Корёгу звали на кухню пить чай.

— Один гвоздок... один гвоздок забью! — выкрикнул Корёга. — Чичас! А то колодка выскочит.

— Ну, шишлюн старый! На базар пора мне иттить! Опосля заколотишь!

— Ка-а-к можно!

И Корёга сильно и уверенно загремел молотком.

Егор вышел задами, через огороды на другую улицу, осмотрелся и заспешил к заставе. Он нахлобучил картуз и поднял воротник пальтишка. Дождь стрекал стальной крошкой по картузу и скатывался на грудь, впитывался в спину, обмокал на воротнике.

Егор обогнул подальше Коровинские мельницы. У мельниц уже стояли ломовики с возами под брезентом. Битюги переступали косматыми клёшами ног и встряхивали навстречу дождю гривастыми головами. За белорижцами Егор вошел в кустарник, побежал к Чарыме, беспокойно щурясь на пустые чарымские луговины.

Глава V.

Горбыль поднимался у Чарымы за кустарником, а на нем росла высокая, обглоданная весенними льдами, сосна. Неподалеку от сосны стояла убитая молнией дуплистая береза. К березе с обеих сторон привалил кто-то на борта две старых дыроватых лодки. Егор заглянул под них, снял мокрый картуз, встряхнул, вытер руки о подкладку пиджака и, наклонившись, подлез под прикрытие. Под лодкой лежало умятое прелое сено. Егор растормошил сено, перевернул и, набрав в руку и сжав комком, заткнул дыру в днище. Дождь перестал капать. Егор прилег на сено. В жидком тумане будто где-то надымили валежные костры, вдалеке краснели заводские огни в верхних этажах, а из труб текли черные дымные реки. Под ними махали крыльями мельницы. Над городом подымались низкие дымки растопляемых печек. Клубами серой шерсти, стогами, ватными кипами запрудили небо облака и неслись и неслись над городом, над фабриками и заводами.

Егор слушал бивший о лодку дождь, глядел на заводы, на мельницы, на город, на убегавшие от него облака, и весь мир казался ему огромной, никогда не перестающей работать мастерской. И вот даже его сердце все стучало и стучало, не уставая работать, как Корёга стучал о колодку, как вертелись на заводах колеса машин, дымились и топились печки, потрескивали, как шел нужный земле дождь. Егор задумчиво разрывал травинку на тонкие колечком свертывавшиеся волокна и разглядывал у самых глаз.

Аннушка подошла незаметно и юркнула под лодку, и он вздрогнул от неожиданности уже у ней на груди. Она прижалась к его губам, прикрыла его собой, схватила его за плечи и вдавила голову в сено долгим, могучим поцелуем. Оторвалась... вздохнула... и опять прижалась крепко и больно. Губы раздались и белые зубы Аннушки раздавили губы Егора. Он тихо простонал и положил ее с собой. Охватив ее одной рукой за шею, другой рукою он, суетливо ища пуговицы, расстегнул мокрый сак Аннушки и откинул полу. Аннушка изогнулась, сунула обе руки к нему под пальто и сжала за спину, не выпуская пересохших и горевших губ, вбирая их в рот, глотая его дыхание.

Под лодкой было почти темно, но Егор видел зовущие, стыдливые глаза Аннушки и дрожавшие легкой зыбью ресницы. Капал на днище лодки настойчивый и упорный дождь, пахло сеном, землей, гнилым деревом и размокшей смолой.

Они устали, ослабели... Руки Аннушки перестали сжимать... повисли. Свалились на холодную отсыревшую землю, как подрубленная, увялая ботва. Егор положил свою голову рядом с головой Аннушки. Волоса их переплелись и спутались. Аннушка потянулась, повернулась вдруг к Егору боком и зашептала:

— Егора, я, кажись, затяжелела! Никогда так не было... Дитё от тебя будет...

Егор раскрыл сытые глаза и отвалился от Аннушки, как наевшийся ребенок от материнской груди. Аннушка уткнулась в его плечо.

Так они долго и молча лежали. Потом губы нашли друг друга снова. Егор целовал свежие холодные яблоки щек Аннушки и грел маленькие налившие уши. Аннушка водила ресницами по его лицу и часто мигала.

Вдруг она приподнялась на локте, отстранила Егора, внимательно поглядела на него и звонко расхохоталась.

— Ха-ха! — смеялась Аннушка. — Ну, и фатера у нас! Ха-ха! Нашли местечко полюбовнички, нечего сказать! На юру... под зонтиком!..

Посмеялась и нахмурилась. Егор потянулся к ней. Аннушка уперлась руками в грудь Егора.

— Будет, Егора! Побаловались — и будет. Хорошенького понемножку! Лодке, поди, стыдно глядеть на нас! Будто... в первый раз!..

Егор не послушался и стиснул Аннушку.

— Тебе что: ты мужья жена!

— Я с Ванькой сплю через пень в колоду. Постничаю... Право, Егора! Он не солощий. Пьяный в стельку приходит каждую ночь. Не до того... У порога чурбаном свалится и спит. А ты... ненасыта, ненасыта... покойничек мой милой!

Аннушка прижалась к Егору, задумалась, задрожала вся, губы горько сморщились... Егор тревожно зашевелился и дрогнувшим голосом залепетал:

— Аннушка! Аннушка! Ты что?

И начал стирать с ее рук слезы.

— Мне... жа-а-лко тебя, — зашептала Аннушка, — думала... не увидимся. Ванька пришел тогда после пожара, спала я, сдернул одеяло... закричал... Реви не реви, потаскуха, кончил теперь Егорку... В сердце у меня как дернет... Будто когда на машине... вагоны дергает. А я гляжу на него спросонья. Испугалась Ваньки. Первый раз испугалась понастоящему.

Аннушка всхлипнула и обняла Егора за шею, не справляясь с бежавшими густо слезами.

— Ванька за волосы ко мне вцепился... и трясет. А у самого глаза выскочить хочут... За тебя... и за свою жизнь заплакала я. Ванька стащил с кровати голову так к себе к глазам самым... впился, как дьявол на картинке: узнать на душе всю подноготную хочет...

Аннушка передохнула и часто задышала на грудь Егору.

— Об Егорке плачешь? А самого трясет, как на морозе лошадь у кабака... мужики когда запьянствуют на весь день в деревне. Тут я... схитрила... вывернулась, замазала Ваньке буркала враньем...

Аннушка усмехнулась сквозь слезы.

— Засудят теперь тебя, поножовщик! За решетку захотел... Молодость свою гноить... в Сибири.

Аннушка остановилась и засмеялась. Засмеялся Егор, целуя ее в мокрые глаза.

— Ванька как отскочит... Будто шатнулся из стороны в сторону... Захрипел мехами-то. Полкомнаты в раз проглотил. Да ка-а-к хлеснется мне в ноги... да ка-а-к заплачет!.. Гляжу я ему в спину, а спина широкая, будто комод, в грязи вся, пиджак горбом ходит... Едва унялся, чорт! Прощенья просил, тебя жалел, рассказал все, как было. Просидела я у окошечка до обеден. Будто заново прожила жизнь...

Аннушка замолчала.

— Ну, ну? — жаднел Егор.

— Што ну, ну? Тебе чего? — пошутила Аннушка и блеснула взглядом. — Тебе интерес опустя пору, а мне каково было, не знаешь? Немилой рядом... на постеле... а милой на тот свет ушел навсегда.

— Ушел и обратно пришел.

— Пришел-то пришел да надолго ли?—тревожно сказала Аннушка.— Ох, я и смеюсь и плачу, и радость у меня внутри, как птичка поет. А где-то под сердцем, дальше дальшего, опасно, грозится будто кто-то, останавливает радость...

Над лодкой вдруг затрепали крылья и закаркала ворона. Аннушка охнула. Егор поморщился.

— Слышишь, слышишь? — испуганно затвердила Аннушка. — Не к добру это! Как разговор подслушала! Откуда и взялась... А? Егора! Я боюсь. Что-то будет?

Ворона пересела на убитую молнией березу и снова закричала жалобно и горько.

— Пустое! Вороны кричат перед дождем. И человека они чувствуют. Летела мимо... услышала — говорим — и закричала, дура!

— Так ли, Егора?

— Потом... может, кто идет по лугу...

Они прислушались. Колотился о днище серый воробей-дождь. Егор осторожно высунулся из-под лодки, осмотрелся кругом. И тогда третий раз закричала в страхе ворона, поднялась с шумом с березы и кинулась через Чарыму.

— А, чорт! — выругался Егор и насмешливо упрекнул Аннушку. — Вороны испугалась. Просвирнина на цепочке водишь, а перед вороной в бегство.

Аннушка сидела молча. Она провела по волосам, пригладила их, повеселела. Она похлопала Егора по руке. Он задержал руку и прижался к ней щекой.

— Дальше... хорошее начинается, — заговорила Аннушка. — Сижу я так... плачу под платком. Разузнать о тебе охота: поглядеть на тебя. А боюсь встать с места. Ванька вскочил со сна. И ко мне. Спрашивает, как маленький, что делать? Хитрее хитрого будто кто подсказывает мне. Я Ваньку ругать. На завод не ходил, говорю. Все и узнают. Ванька пьюном.

Егор остановил Аннушку, заглянул ей в глаза и грустно сказал:

— Ты — хитрая. Ваньку обошла, а меня сразу позабыла насовсем?

Аннушка виновато покраснела и низко опустила голову. Она долго молчала и отворотилась от него. Трудно вздохнула потом и опять зашептала:

— Я... я... испугалась... баба я. Косточки у меня тонкие... не мужиковские. Ты не сердись, Егора! Съизъянила перед тобой. Такая уж я слабенькая и нечистая на совесть.

Егор положил к ней на колени свою голову.

— Где же мне было: я робкая. Участь у меня такая непраськая, обидная.

Егор улыбнулся и поколотил шутливо пальцем по ноге Аннушки.

— Нет, право, не вру, Егора. Ванька мой надоумился. Беги, говорит, узнай. И побелел весь... На что черный, а тут белее благородной барышни сделался. Я на улицу. Бабы, кто во что горазд. Костят меня... заплевали всю. А мне бабьи слова, будто горох в стену. Не таковская я. Не вольна я в своем сердце. Не я первая, не я последняя в любви. Несут меня ноженьки, сами переставляются... в больницу... Пашка-сиделка знакомая — и шепнула мне — доктор, грит, ничего... до свадьбы заживет... Задирчиво так смеется: дотаскалась, стравила мужиков? Видно, сказала так, а самой жалко стало: видно, больно уж лицо у меня сморщилось. И пожалела: жив-де живехонек, не такие раны видывали, скачи себе кобылкой домой. Как сказала, будто разгладилось у меня сердце внутри. Иду домой, а улица-то, а небо-то, а слобода-то наша—ух, веселые, приветливые... Завеселел и Ванька...

Аннушка склонилась к Егору и закачала его голову на коленях, весело смеясь. Егор сел рядом с ней, обнял за спину и заговорил близко у лица:

— Аннушка, уходи от Просвирнина!..

Аннушка забилась в руках.

— Што ты, што ты! Кончит он и тебя... и меня... за один раз. Не говори, не говори, Егора, не дело. Знаю я... не помирился ты с ним... Он опять распалился на тебя. Не кажись ты ему на глаза. Сиди больше дома. Сегодня я...

Аннушка поперхнулась словами, скосила на Егора лукавые, смеющиеся глаза.

— ...думала не ходить... а... сама пришла. А ну, как он узнает? А ну, как он застанет нас здесь под лодкой?

Аннушка испуганно вытянулась, жадно и напряженно вслушиваясь, как шел дождь, и Чарыма тихо плескалось о берег.

— Ты совсем стала напуганная... Это ты видишь? Для него ношу.

Егор вынул из пиджака темно-сизый браунинг.

Аннушка застранилась от револьвера.

— Убери! Убери! Не надо... не надо! Брось его, брось его!

Егор спрятал браунинг. Аннушка прильнула к нему горячая и нежная, покорная и гибкая.

— Мы любим, как воры. Зачем нам скрываться?

Аннушка целовала лицо, руки, шею Егора и вместе с поцелуями приходило забытье, слова путались, горела голова, и густое горячее дыхание мешало думать. Они срослись в ласке, как два молодых дерева, обвились руками-ветками и дрогнули...

Аннушка опомнилась первая, оторвала свои влажные губы и спрятала глаза под острыми ресницами.

Под лодкой посветлело.

— Пора, Егора, пора. Ванька обедать придет. Я пойду. Сперва я. Ты посиди, покуда не войду в город. Не увидал бы кто!

— Когда придешь? — держал за руку Егор.

— Знак дам, не кличь меня, как пойду... Будто за нуждой заходила под лодку, ежели попадется кто навстречу. Не выглядывай зря!

Аннушка на-ходу поцеловала Егора, встряхнула сак и выскользнула из-под лодки. Вдруг... опрометью вернулась, обняла долгим упругим обручем рук, вздохнула на груди и умоляюще заглянула под ресницы.

— Егорушка! Стерегись Ваньки!

Она тихо сошла с горбыля, одергивая платье и скидывая с него прильнувшие травинки. Егор подполз к краю лодки и глядел на сполстившийся, облежалый сак Аннушки, на пестрое ушко полусапожка. Он провожал ее взглядом. Луга были пусты. Аннушка быстро и прямо шла к городу.

Егор выждал. Он ушел от лодки вглубь луговины, нашел на размытом берегу Чарымы гладкую темно-синюю плитку, круглую и маленькую, как олашка, помахал ею в руке, а потом сильно и твердо кинул. Камень свистнул и, скача, заскользил по легкой ряби Чарымы...

В полдень Просвирнин сидел за столом против Аннушки, молча ел и беспокойно оглядывал ее. Аннушка сторожко и незаметно ловила его взгляд.

— Што в рот воды набрал: ничего не говоришь? — сердито и насмешливо бросила Аннушка. — Дела не веселят? Али что сказать хочешь, да смелости нехватает?

Просвирнин покосился на нее.

Аннушка взмахнула острыми, как ножи, глазами на Просвирнина и обозленным голосом крикнула:

— Чего на меня сыщиком глядишь? Не вижу, думаешь, я? Какого нанюхался опять бабьего подолу, ревнивой чорт?

И от обиды Аннушки Просвирнин вдруг прояснел, смяк, радостно взглянул на нее.

— Не шуми, Анна, — задумавшись, сказал он. — Будто в ушах кто ковыряет от твоего крику. Я это так... с устатку. Давай хлебать по-хорошему!

Хитрый, как зверь, глаз Аннушки скользнул и упал в ложку, резнул ее обглоданные деревянные края.

С обеда закричал свисток. Аннушка провожала Просвирнина на работу и заботливо спрашивала на крыльце:

— Табак-то взял?

Просвирнин пошарил в кармане и кивнул головой. Аннушка защелкнула задвижку, встала у окна и, подбоченясь, смотрела долго и уныло, как катилось по улице, покачиваясь деревом на ветру, большое черное тело Просвирнина.

Ночью, лежа на кровати, Аннушка говорила ему вразумительно и тихо:

— Я как увидала — на базар ходила — обиды и твои и мои мне в лицо... На другую сторону от противного зазнайки перешла, не то что што... Пройти мимо из-за тебя тошно, а ты... Местечка из-за него во мне не осталось немятого...

Просвирнин виновато вздохнул...

Глава VI.

Надуло с Чарымы серо-сизые облака, и в ночь они обвалились на землю белым заячьим пухом. Тут прихватило первую порошу ядреным утренником, и снег обжился. К заговенью рванули враз метели, навыли, нашипели, намели снегу, как на Рождество. На Введенье была оттепель. Шел густой проливной дождь. Разбил он укатанные дороги в тяпушку, смыл с крыш без остатка белые башлыки, приземил печечный дым до застрехов, а небо заголубело, поднялось выше, будто весной. Трое суток шаталась погода, а на Федора Студита снова заледенело. Затянуло к утру небо грузными и брюхатыми облаками: будто нависли полати над землей. А с полатей потихоньку, понемногу, с передышкой, просыпалась сперва белая колкая крупа, застрекотала по крышам, по ледяной дорожной корочке, за крупой повалил самоходом, все расходясь и расходясь, мягкий, ужимистый снег. На другое утро выстрелил мачтой дым из трубы, и морозное рыжее солнце заблестело негреющим круглым окном. Зима обосновалась.

Тулинов ходил в баню со своим парнишкой. Мишутка бежал по морозцу впереди и нес узел с бельишком. Месяц рассветился на небе, будто серебряное солнце. На Кобылке была светлынь. Мишутка подпрыгивал на одной ножке, скакал в сугробы и с кряхтеньем вылезал на дорогу.

— Озорник! — унимал отец. — Начерпаешь и катаньки снегу: насмока будет. Перестань говорю!

— Папка, прыгни разик, — не слушаясь, говорил Мишутка. — Кто дальше прыгнет?

— Я вот тебе прыгну по шарикам. Отстань вертеться сорокой!

Мишутка пошел смирно, оглядывался на отца, потом вытащил из подмышки узел и стал его подкидывать над головой, весело крича и ловя налету.

— Не набалуешься ты, заноза? — сердито окрикнул Тулинов, когда узел упал на дорогу, Мишутка поскользнулся и растянулся рядом.— Сломаешь еще ногу, балуючи. Ишь, месяц отчеканил снег-то, как рельсы... скользко.

Мишутка взвился с дороги, кинул еще раз - другой узелок и пошел вровень с отцом, натянув на уши глубокую шапку.

Завернули за полицейскую будку. Тут Мишутка, увидав городового в овчинном тулупе, сидевшего на тумбе и дымившего из стоячего воротника цыгаркой, зашептал отцу:

— Знаешь, папка, как мы летось этого городового с ребятишками обошли?

Тулинов оглянулся на городового, быстро шагнул вперед и наклонил ниже голову к Мишутке.

— Он на посту уснул днем. Мы с ребятами подкрались к нему, к самому... Гришка ремешки у шашки и перерезал. Ножик у Гришки вострый. Одним нажимом толстую ветку срезает. Мы шашку и уволокли. Ка-а-к Гришка резанул ремешки... городовой... он пошевелился, а проснуться и не подумал. Глядеть мы на него ходили без шашки. Близко-то боязно, мы издали. Стояли, стояли мы... городовой глядел-глядел, да ка-а-к побежит за нами... А мы... давай ходу. Гришка бежит, а через плечо на него повернулся и нос показывает. Догадался городовой. На другой день шашка у него была новенькая... Хорошо, не признал нас, а то было бы нам... Пожалуй, папка, за это и в тюрьму садят?

— Хорошим, хорошим делом бахвалишься, — сердито заговорил Тулинов. — Вот домой придем, как спущу тебе штаны да по распаренной заднице намозолю вицей! Разве мыслимо так безобразничать? От земли не видно, а поступки подстать большому хулигану.

— Так не я же, папка, а Гришка. Я за компанию бегал. Я первый и убежал.

— Трус ты, значит, выходишь, а суешься. Догони вас тогда городовой, отца бы натаскали по участкам, дрянь! Не смей больше никогда с Гришкой ходить. Увижу, кожу спущу с хребта.

— А мамка знает. Она меня за подволоски натаскала.

— Так и следует. Мало еще за подволоски, волосы надо начистую выдергать, все волосья...

Мишутка замолчал и понурил голову. Тулинов мельком повел на него глазами, ухмыльнулся в бороду и покачал головой. Любопытствуя, стыдясь, обдумывая свои слова, Тулинов спросил:

— Куда шашку-то дели?

Мишутка обрадовался несердитому отцовскому голосу и залепетал весело:

— Шашка, папка, оказалась тупая: не рубит. Гришка наточил лучше своего ножичка. На Чарыме мы верстовые столбы рубили. Ка-а-к дашь, так в дерево и вопьется. Иступили всю. Кончик отломился. Видно, о гвоздь ненароком ударилась. Бабы шли мимо... Мы испугались, чтобы не увидели. В Чарыму далеко-далеко закинули. Потом ныряли, как бабы прошли, опускались в воду с ручками, не могли ошарить.

— Новое дело! На привязи тебя, баловника, придется держать дома. Кто тебе велел в Чарыме купаться, дьяволенок? Есть речушка

Ельма, в ней и купайся. Насилу тут не потонешь, а то в Чарыме... И потом столбы рубить! Казенное добро портить! Скажи мне тогда, я бы тебя разуважил, озора!

— А я больше не буду, папка, — серьезно сказал Мишутка.

— Не надо, не надо, Мишенька! Баловство до добра не доведет. Большой вырастешь, стыдно будет.

— Тебе тоже было стыдно?

— Чего стыдно?

— А всего. Сам ты рассказывал, озоровал-то как маленькой в деревне. У лошади из хвоста волос-то на леску дергал. И как лошадь-то лягалась. Зуб-то тебе напереду выкорчевала.

Тулинов засмеялся и шутливо поддал ему рукавицей ходу по шапке. Мишутка опять понесся бегом, высоко закидывая большие материны катаньки.

За углом, у кабака, заиграла гармонья и кто-то на всю улицу вывел пронзительным и тонким голосом:

Здраствуй, ми-и-лая моя-я,
За пор-р-ог запнулся я-я-я!..

И много пьяных нескладных голосов подхватило:

За порог запнулся-я-я,
Да-а здраствуй, м-ми-лая моя-я!

Затопали ноги, хлопнулась стеклянная дверь со звоном, отскочила и еще раз хлопнулась, захрустел снег...

— Папка, это Просвирнин! — испуганно шепнул Мишутка.

Тулинов остановился, попятился назад и дрогнувшим голосом тоже шепнул:

— Нет, это Кукушкин.

Из-за угла вышла черная, пьяная просвирнинская артель и повернула посередь дороги. Сашка Кривой, шатаясь, широко разводил меха гармоньи, Кукушкин запевал, артель, шарашась вразброд, подхватывала.

— Папка, побежим! — дернул Мишутка отца. — Бить будут!

Тулинов опомнился, взял Мишутку за руку, оглянулся на пустую месячную улицу, помялся на месте и пошел навстречу. Его узнали. Просвирнин громко и довольно захохотал. Тулинов свернул в снег, съежился под шапкой, но ему заступили дорогу.

— Ночевали здорово! — запищал Кленин. — Та-в-а-рищ Тулинов! В баньку ходил?

— Тащи его! — крикнул Кукушкин.

Сашка Кривой перестал играть, подпрыгнул к Тулинову и пнул его из-под гармоньи в живот. Тулинов выпустил руку Мишутки, протяжно ойкнул и упал в снег. Мишутка громко прокричал и с ревом кинулся

к отцу. Его отшвырнули. Тулинова сдернули со снега, поставили на ноги и трепали на дороге, откидывая кулаками от кулака на кулак, отшибая застраняющие руки, валились от пустых размахов в снег, трудно вставали и ныряли снова в черную кашу тел головами вперед. Били молча, только взыгрывала на задеваемых ладах гармонья Сашки Кривого, стонал Тулинов и звал на помощь жалобный, тоненький, отчаянный голосок Мишутки. Мишутка кружил с узелком подмышкой вокруг драки, совался под ногами, просовывал руку в кучу, хватал отца и тянул к себе.

Вышли за ворота и калитки бабы, мужики, но не смели подойти, шумели между собой, кричали... Из кабака ковыляли пьяные, лезли в драку, размахивали руками, падали в снег, сшибаемые локтями и ударами наотмашь. У дальней полицейской будки суетился городовой, скидывал тулуп на руки какой-то бабе. Поддерживая колотившую по ногам шашку, он бежал по дороге и резко свистел...

Сашка Кривой вдруг развел гармонью и заиграл «Дунайские волны». Артель пошла... И напоследок Просвирнин, выскочив, ударил Тулинова по голове сверху.

Кровь полилась по виску, по волосам. Мишутка размазал ее на отцовской щеке, вымазал свой нос. Люд подбежал от ворот и калиток, прикладывали к голове снег, размахивали руками, всхлипывали...

— Кровь, кровь унять надо! — звонко звенели бабьи суматошные голоса. — Ой, ой, изойдет кровью!

Артель раздалась на двое, пропуская городового. Тот было остановился. Но артель обошла его, соединила свои крылья и двинулась дальше.

Городовой растолкал голосивших баб и важно заговорил:

— Кто-о? Что-о? Кого?

Мишутка, показывая на плевавшего багровой слюной отца, горько и возмущенно кричал:

— Это Просвирнин! Это Просвирнин! Он ударил кистенем!

Тулинов поднялся с дороги. Слабо и устало он сказал сыну:

— Погоди, Мишутка, не вопи. Подько, дай сюда узелок.

Бабы подержали на весу узелок и помогли его развязать. Тулинов сунул Мишутке развалившееся бельишко, скомкал в руке платок и зажал пробой на голове.

— Матушки! Чавкает! — охнула баба. — Девоньки, чавкает!..

— Кто такой будешь?!— допрашивал городовой. — Из-за чего драка вышла? К чему тутотка мальчонка? Кому в свидетели иттить? В участок надо-ть для протоколу. Кто што скажет? Айдате в участок!

Тулинов положил одну руку Мишутке на голову, а другую держал на алевшем платке. Он недовольно посмотрел на городового.

— Какой там участок! Без протоколов обойдемся!

— Без протоколов! — зашумел люд.

— Не первый раз головы ломают!

— Не железная, не заржавеет голова, зарастет пуще прежнего.

Пьяный рабочий влез в толпу и задыбал, заикаясь, перед городовым.

— Ты... ты... разбойнику дорогу... открыл. А... а... на-а-с в участок! Люд весело и довольно загоготал.

— Квартира у меня рядком, — проговорил Тулинов бабам, — живо дойдем. Мишутка, ходи ножками. Самовар, поди, убежал.

Городовой схватил пьяного за грудь и тряс его. А тот, не стоя на ногах, валился на него и клюкал носом в плечо городовому.

Тулинов с Мишуткой пошли. За ними начал расходиться люд. Двери кабака звенели стеклами, отскакивали, щелкались, впуская и выпуская народ. Городовой громко, бесясь, вопил:

— По какому праву пьян? По какому праву приставанье делашь?

Городовой свистел в свисток, будто сыпали мелкую щебенку через железную решетку, просеивали, мельчили на ухабистую дорогу — и раскатистый треск и свист кружились в жадной и гулкой поморозне Кобылки.

Мишутка, давясь всхлипываньями, жальчиво спрашивал:

— Папка, тебе больно?

Отец, зажимая зубы, дыша носом, выравнивая голос, отвечал:

— Не больно, Мишутка, не больно! Большой вот вырастешь, отплатишь за батьку!

Мишутка горько плакал.

— Отплачу... Как еще отплачу! Я из ружья выпалю!

— Пали, пали, Мишутка, не давай себя в обиду.

Месяц огибал верными дорогами ночное небо, закрывал звезды, просвечивал серебряной струей канву легчайших облаков и шел за Мишуткой без остановки.

(Продолжение следует).

Ироический сказ о походе на половцев князя Новагорода-Северского Игоря Святославича.

Георгий Шторм.

Начнем сказать многие мятежи — Игоря Святославича трудную рать.
От синего тумана, от острова Руяны [1]) начаться повести сей
Рек Боян во Перыни [2]) князю Летиславу:
— Вспомянѐм Перуна-Святовита и Одина того вспомянѐм!

Ходил бо старый Славен [3]) в Аркону [4]) к волхвам руянским, во храм несказáнной лепоты, что в сердце морском. Раскрывали податели рун чаромутные книги, прорекли великому Славену славу, русской же земле — труды: — «падет стяг арконский, станет солнце, как месяц;—не сдержит князь юности, славы ради — в туге захленуться русской земле»...

Были сечи Славена, забыты дела Летислава. Свершил не трудно лета жития во Перыни Боян. А вещее слово его над повестью нашею вьется.

Начнем же сказать!

1.

Дремлют веси руян, сон идет по поторжью, спят на княжьем дворе слы и гостье. Князь Крут Аркону сильно устроил — над всей поморской землей был руянский гард [5]).

Давали славяне дань Святовиту. Высоко — от прибоища на три перестрела — был его храм. Шел округ тын с красною кровлей. Не было в капище стен, но столпы и заветшавые багряницы; по очелью же — дивную вывязь сделали стругари. Блистали четыре лика злаченых. Держал Святовит десницею рог, лежали пóсторонь его меч и седло. А служил ему белый конь; от главы до ног не было на нем порока. Синими мглами — до света скакал Перун на опененном коне...

Ширится пóбрезг. Зардевшие ветры веют на море Сайванское. И отворились малые храмовые врата.

---

[1]) Руяна — остров на Балтийском море (нынешний Рюген).
[2]) Перынь — место, служившее новгородцам для поклонения Перуну.
[3]) Славен — мифический основатель Новгорода Великого.
[4]) Аркона (по-славянски — Уркан) — главный город на Руяне.
[5]) Гардами назывались города балтийских славян.

Вышли на белых конях триста юношей, приставленных к Святовиту. Вел их, светлуясь в лучах, Хотан, колыхая станицу — паволочитый арконский стяг.

Выйдя к морю, сели они с конями на черленые струги и ушли к Фембре [1]): воевать лютых морян.

Побрели через греблю стада. Зашумело на летней стороне поторжье. Идет крýгом по землям словенская гостьба [2]).

А у Фембры крепко бились весь день до заката. Уже меркли павечерием зори, и трубил рог, когда воротилась со славой и добытком рать.

Плескали в ладони руяне. Вел воинов Хотан в закроплéнной кровью одежде. Воззрилась на него дочь князя Крута — красовитая, темная сердцем — Сиррит княжна.

— Хотан! Хотан! Взгляни на меня! — молвила Сиррит.

Вздрогнул Хотан и, колыхая станицу, поднял долуперивый взор...

За полями, за лесами, на дальнюю землю блистальница пала. Горы стали слева, горы стали справа; посредине — тищина.

2.

Ниже Трубчевска на Десне — Новгород Северский. А в Десну реку пала река Неруса, а в Нерусу реку — реке Навле пасть.

Скатилась в Навлю звезда. Родился княжич. На восьмой день прозвали ему имя Игорь.

Вспомнил Святослав Трояновых времен присловье: «Один сын— нéсын, два сына — пол сына, три сына — сын».

Боян, крылатый умом, навыкший баячи [3]) в стране Зимеголов! Ты повил славою сечи Славена, ветвями помыслов затмил звезды на Трояновой тропе [4]); вот бы воспел великого Кия-Трояна, сына Дажбога, древлий киевский кон, красную Трою-Коногард [5])...

Реяли, как бы летали пред княжичем стены и лики... Минуло лето, теплом и дождем зима стояла. Вымолвил Игорь слово. — Недолго уже ему немовать.

Быстро возрос и, скоро, были у юного князя постриги. На седьмом году, бавлясь, перить стрелы стал...

3.

Рады весяне и люд арконский обжинкам — славят летницу [6]) и несут дары — пенязи и полотна — в храм.

---

[1]) Фембра — остров на Балтийском море. Обитатели его — вагры — пользовались громкой славой пиратов.

[2]) Гостьба — торговля.

[3]) Баячь — песенный, сказовый дар.

[4]) Троянова тропа — млечный путь.

[5]) Троя и Коногард — древнейшие названия Киева.

[6]) Летница — праздник жатвы в Арконе.

Вывел жрец Требомир коня и, связав убоденные в землю копья, по ступанию его гадает. Красен в кутине [1]) пирог; пляшут округ руянские девы, бросая Святовиту столистные шипки.

Пьют пиво в кормчах, корцами носят подчашие мед на холм Триглава.—«За здоровье князя, его стада широкого, за здоровье его твердого и высокого кнеса!» — восклицает мирь.

День меркнет ночью, а человек печалью.

Режет на дереве руны, дышит от сердца огнем Сиррит княжна.

И томится у храма разженьем незнаемым Хотан, бродит вдоль тына и взирает на темный простор.

Скоро видит он быстро идущую Сиррит. Как бы ветром несло ее по дороге. Вылитый из гривны обруч блистал на руке.

— Поглядим вместе на великую ночь, — молвила Сиррит...

Но темен пламень душевный, обоих желание заполонило.

И повел Хотан Сиррит в кутину и пребывал с нею там.

А в единый на десять час — сотряслись столпы, и пала на земь заветшавая багряница: — трепетен и ужасен — явился в капище белый конь.

Встав на дыбы, потоптал он лежащих в кутине, гневно заржал над прибоищем и ринулся со скалы...

4.

Ныне юности Игоревой память сложим.

Уж умел он русскую грамоту и четью-петью церковному. Садился на коня уготованного и, сзывая кличан, ловы деял в угодьях своих. А в мечте ночной — чуден — виделся ему луг зеленый, а еще хлебное зерно и крылатый огонь над ним.

И тут стал он неистовый любленник и желанник...

Неправду чинил, ходя в полюдье — за данью; суды рядил: за кровавую рану — пятнадцать бел и за синюю рану пятнадцать бел.

Рано взострившись на рать, тешил звоном копейным гордость и буесть...

Возмужавши, призвал половцев, и пришли к нему с силою Кобяк и Кончак.

Тогда взял Игорь на щит город Глебов. Не дали горожане окупа. Сказали: — «Мы тебе, княже, кланяемся, а по-твоему не хотим». Воздвиг брови гневом Игорь и рек:—«Ну, предам вас на оружье!» Повесил в дыме сотника Сотко. — «Солнце бы тя побило!» — молвил сотник в дыму.

Пороками [2]) сшибли половцы заборола с города. Все было смятено пленом и скорбью. Скоро роздумался князь, в чью бы землю зайти мечом.

5.

Синекрылы Бояновы помыслы...

Потаились кручи руянские.

---

[1]) Кутина (ко́нтина, го́стина) — храмина.

[2]) По̀ро̀ки — стенобитные орудия.

Выгребают гребцы, а ветер — пóкачень. Едут в Словогощ купцы на лéтомирь [1]).

Гнетет паруса ветер нагонный. Кличут моряне: — у прибоища в клокоте пены плывет белый конь.

Поднимали его на корабль, дивились гриве беласой. Всю ночь стоял конь на носу, трепетали храпли его.

На утро, сронив паруса, укрылись заветрием в Словогоще и, забравши рухло, рано потекли на торг.

Стоят буяны зерном, пенькой и сыромятью; навезли из замория челядь; красны новгородские меха и мед.

Закликали на торгу. Дорог руянский конь, а просят за него две гривны. И такова была светлость его — в страхе отходили купцы.

Но, вот, по третьей зáкличи и — рукобитье. Запили куплю вином, посыпали головы дерном.

Продан конь в восточные земли в город Итиль.

6.

Ширится пóбрезг. Зардевшие ветры веют на море Сайванское.

Бегут к оскверненному храму руяне, в смятеньи арконский люд.

Вывлекли из кутины мертвую Сиррит, был жив еще Хотан. Сказал князь Крут:

— Судите ему, как уставлено законом ветхим!

Но не снес поруга — навергся Хотан на меч.

Слава рушится, век коротается, смертный час приближается. Страхи текут в тыл руянам от озера Свет, от рек Медуи и Пены. Князь Крут державу буйно простер на полдень: — «Твердите гарды и веси! Вон идет на нас Вальдемар с большими людьми!»

Стали Аркону хлебом доволить, наполнили вододержи. И застонали увалы и пущи: пришла на Святовита датская земля.

Перенял водоводы Вальдемар. Боронились крепко руяне, но перепадчивы князья поморские: пошел на стены зверь-чернитра—стяг поморян.

Триста юношей кинулись в бой, но белым коням уже не было спеха в ногах, и кусали их тучные датские кони в личинах. Повергались ниц поморяне перед князем Крутом, но сломалось копье, ощеп ратовища в руке остался. Пала паволочитая станица. Одолели руян Вальдемаровы лучники и мечари. Пять стрел в четыре пера пронзили жреца Требомира.

Запылали кутины. Опоясан храм рдявою [2]). Во прах повержен светоконный Перун...

7.

В Северской земле была тишина. Минули лета княжьих обид. Тогда же пал на поля половецкие буй-помысл Игорев.

[1]) Лéтомирь — ярмарка.

[2]) Рдява — огонь.

Вспомнил князь, как побил половцев при урочище Олтаве, как бежал шелудивый Кобяк, пометавши полон, и не любо стало ему течь у стремени Святослава Киевского.

Кинувши клич по рати, послал по князей.

И сказал к дружине:

— Вы коней своих не томите, дайте испить им Дону. Идем на поганых, поискать копьем Тмутороканя, или славы добыть, или домой не быть!

— Твой меч, а наши головы! — рекла дружина.

Тут приступил к Игорю старец — галичский книгочий Аир.

— Не губи себя, княже! — рек чернец, синея власами. — Не сдержишь ты юности, славы ради — в туге захленуться русской земле!

— Иди прочь! — кликнул князь. — Что мне господь проявит, на том и стану.

Тогда заклектали в небе орлы.

— К добру ли? — молвил Игорь, поклонивши колени: — Избавь меня, боже, от вражьего запленения! — Вижу — судьба моя в невести лежит!..

Съехал князь с городища. Пошли полки путем конетечным.

Чудно стяги идут. Барс наметный кроет седло. Стучат стрелы в туле [1]) бобровом. Ворон над Игорем перье роняет, крачет:

— Быть тебе пропа́сть!

8.

Златорукий стал вечер над землей половецкой.

Ветер с Дона легко повевает. Едут по̀солонь [2]) из Итиля купцы.

Кончаковна юная на день пути видит. На плече кречет кропленый куркует, ладит стрелы Тохта княжна.

Роман Гзич с куманами [3]) по̀ полю скачет. Наехали на гостей, лупят возников половцы, и, как ветром, вымчало из сечи дивного коня.

Ударила Тохта в погоню, настигла по̀сторонь дороги и, закликав, накинула на коня аркан.

От главы до ног не было на нем порока. Весь — дивлению подобен, бел, как снег, грива до земли.

Рада Тохта коню, половцы — полону, а вечер — ночи.

Травы ничут слева, травы ничут справа; посредине — тишина.

9.

С правой стороны Изюмские дороги речка Волчьи Воды пала в Донец, а с левой стороны Изюмские дороги Разгромный Кладезь пал в Оскол.

Идет Игорю на соку́п брат Всеволод. Стоят у Оскола путивльские полки и черниговская помочь: дошли бо сумё́жья половецкой земли.

---

[1]) Тул — колчан.

[2]) По̀солонь — по солнцу, с востока на запад.

[3]) Куманы — кипчаки — половцы.

Тогда стало солнце, как месяц, и одело полки тьмою. А по градам — вёдро; и тихо, и кротко, и воздух благорастворен.

До конца копья не было видно. В перекрое солнца все приуныло. Мглою стяги поволоклись. Стал в очах лазоревый туск...

Вéнули пó полю сладимые ветры. На Донец сеется мрак зелен. Блистают во тьме кованцы и прúлбица [1]) Всеволода; на Владимире Игоревиче свéтло светел доспех.

— Дон — хорошо, а дома лучше, — стала молвить дружина.

— С путями божьими никто не свестен, — рек, несший хоругвь, старец Аир.

А поля незнаемыми голосами кличут. Галочьи стаи на кровь крачут. Волчий нáрыск кроет Игорев путь.

10.

Стоят вежи за полднем. Облиты поля овечьей волной. В юрте молвят речь князья половецкие.

Писан золотом по алой кибити [2]) лук. Взявши в руку его, хвалится Кончак Изаю Бурчевичу:

— Вот — Боняков лук! Русская земля от Боняка в работе была. Хочу, как и он, сечь в златые воротá Киева!

Плеснула меньшица [3]) Кончакова руками: — из загория вымчал конь свирепого Гзу.

— Пришла северская земля на пир! — крикнул Гза в вежу.

Сказал Кончак:

— Я поил коня Хоролом, а еще Десной напою!

Седлает коней Бостеева чадь [4]) и Чаргова. Друг друга не слышат в скрипении телег.

Незнаемыми голосами кличут поля. Зыбежь и пóполох в стане половеческом.

11.

Чудно стяги идут. Русичи Суюрлий реку переходят, выхваляют в трубы князей. Выехали из половецких полков застрельщики и, пустив по стреле, ускакали. Тогда Игорь, идя на челе дружин, кинул клич.

Сбили половцы телеги в круг, пометали щиты и укрылись кожами. А Игорь увидел половчиненку с белым конем и ударил по ней в погоню.

Шелки сученые летят перед ним... Догнал Игорь, а не запленовал — убежала юница.

И то весел князь:—конь дивлению подобен, весь бел, грива — до земли.

---

[1]) Кованцы и прúлбица — лобовые части шелома.

[2]) Кибить — деревцо лука.

[3]) Меньшица — младшая жена.

[4]) Чадь — род, колено у половцев.

А половцы вопят, половцы бегут, и тут они все побиты. Ополонились русичи и потекли в вежи свои

Взяли много добытка и челяди, сабли булатные на угорский вы́ков, черленые стяги и петельчатый оксамит. И сказал Игорь к дружине:

— До остатку погубим поганых! Идем на них к луку моря, куда не ходили и деды наши, возьмем до конца свою славу и честь!

Далеко за полночь шли Ольговичи, половцев побивая...

Прыски звериные прыщут во мраке. Ворон над Игорем перье роняет, крачет:

— Быть тебе пропа́сть!

12.

Ширится по́брезг. Зардевшие ветры веют на море Суро́жское.

Половцы идут, как густой бор. Незнаемыми голосами поля кличут.

Па́морочен день. Трепетна земля. Гряновитые тучи Русь прикрывают.

Кричат Игорю половцы:

— Кончак пришел на тя! А с ним —Токсобич, и Тетробич, и вся земля наша!..

Велика была светлость дружин от оружья блистающего; ветер, тихий и теплый, веял по них.

Тут завыл по-волчьи Кончак, и отвылся ему волк в поле. Тогда воззвали:

— «Кю́риеле́йсон!» [1]) — полки и грянулись в сечу — червонное пиво пить до упоя. Вправо, влево покрылись щитами. Мечи запели славу Трояну. Не стало видно ни конника, ни пешца.

И разошлись.

Свет другого дня рано омрачили стрелы...

Щиплются щиты. Блискают сабли. До вечера прыщут молнии из облака, полного грома, на реке Каяле, и стоит за Игорем солнце умеркшее, а за половцами — луна. Три дня томили русичей половцы — к воде итти им не дали. А злато сухое поля иссушило, запекло смагой уста.

И сказал Игорь, глядя на черных людей:

— Если оставим их, будет нам от бога грех. Умрем или с ними вместе живы будем!

Спешились все. Игорь же на дивного коня садится. Вздынулся конь... А и быть тебе без уте́шенья, славорадый хорабрый князь!..

Слава рушится, день коротается, смертный час приближается.

Не перепреть Игорю Кончака. И уже на князе Всеволоде меркнет доспех.

Ударила его стрела, выбила душу и пять локтей несла ее к морю. Слышит Игорь вздох отлетелый и поник в скорби головой.

Не вода под ветром колеблется — дружины. Скачет к ним князь, но, вот, стал под ним, не идет и падает конь. Игорю не встать — тяжко

---

[1]) Кю́риело́йсон — «господи, помилуй!».

[2]) Мара́ — бессознательное состояние.

гнетет его тело конево. То видя, смялись ковуи — черниговская помочь. Мара́ [1]) Игорю ум покрыла; склонился на травы, не чуя себя.

Не ворон над князем перье роняет...

— Кто ты? — кличет Игорь: — Че́евич? [2])

— Будь мне друг! Ходить нам по одной думе обоим, — молвит речь Чилбук Вобурчеевич.

А русичи вопят, русичи бегут, и тут они все побиты. Половцы своих отполонили победою. Полки Игоря к смерти челом идут.

Тогда стал Кончак на костях. Крови песок причастился.

Жалость крылами землю одела. Светорусские витязи спать полегли.

13.

Златорукий стал вечер над землей половецкой.

Ветер с Тора легко повевает. Не кречеты сизые над полем куркуют — к Владимиру Игоревичу молвит княжна:

— Лесом идешь — не треснешь, водою идешь — не плеснешь! Княже, месяц ты мой! Не дай печали руки над собою. Коня моего под Игорем взяли, на нем же никто ездить не может. Себе возьми его, светич мой любый, княже, месяц ты мой!

А Игорь, в истоме, челом к земле приникает:

— О, стыдкое слово: «полон»! Где дружина моя ласковая? Где кони и оружье многоценное? Кают меня за реку Каялу: «Уже слава Игоря за кустом лежит». Ныне вижу себе от бога отместье. — Взял я на щит город Глебов, повесил в дыме сотника Сотко, и солнце, по слову его, побило меня...

Радость меркнет по русской земле. Обидой всходит буй-помысл Игорев. Гза в силах тяжких пошел на Русь. Женам северским — тоска и труд. Не молкнет на жа́льниках [3]) прю́четь.

14.

Просил Игорь у Кончака попа, и скоро привели к нему заполоненного старца Аира.

Был он светел беседою, молвил притчи, синея власами. И, однажды, рек:

— Струя чудес, княже, в невести лежит. Ясно слушай те заповеди прозрачные!

— Родил господь великую молчь, а из нее родил Слово. И стало Слово вселенные строить — воздвиглись солнце и луна.

От тела лунного на солнечное пала тень, и явилась земля во мраке. Была же она, как человек, раскинувший руки, и разорвалась на́ полы от тепла.

---

[1]) Мара́ — бессознательное состояние.

[2]) Че́евич — кто ты? чей сын?

[3]) Жальник — могильный курган, могила.

Напиталась солнцем глава, а чрево луною, срослось чрево с главой, и родились люди на земле. И восстала меж них вражда, как тонкий пар, пронизанный стрелами. И доныне люди, вышедшие из чрева, враждуют с вышедшими из главы.

Из страны, ныне под водою лежащей, вышли славяне. Была же земля та, как луг зеленый, и горел над полями крылатый огонь...

Тогда притекала к народам сила из храмов, а над ними стояло, светлуясь, солнце. И был у славян на Руяне храм несказа́нной лепоты.

Ныне же луна солнце прикрыла: пала Аркона, одолели нас половцы, и грядет еще горшая лють, имени ее назвать нельзя...

У князя Игоря слово — на вспорхе, а уж Аир ответ подает:

— Душа твоя в теле — твердо заклепанный голубь; он — любовью облачен, истиной повит, смыслом венчан. Есть в земле Северской обитель на реке Навле. Ступай туда на малое время, обелись душою и встань за Русь!

И еще сказал:

— А смертного часа не бойся, княже! Земная быть—не всему конец!

15.

Пришел с Дона в Чернигов Беловод Просович, и поник Святослав Киевский долу главой.

Легчился князь: бил у руки жилу сокол. Сорочка не бисером была покидана — слезами, когда молвил он, заслонивши очи рукой:

— Мои братья и сыновья, любовью любимые! Держал я вас в сыновьстве и чести без обиды, вы же, славы хотя, отворили ворота на Русь.

Ныне Игорь — что сокол мой пеший. Сидеть ему, доколе окупят...

И встал Святослав. Не поток по камню цоркочет — златое слово князя по землям течет...

А половцы, кощеи поганные, победив Игоря с братьями, потекли на Русь, взяли Рим [1]), разорили села путивльские. Много в те поры учинилось в людях изрону. Великая истома была князьям русским. Оскудела от рати земля.

Радость меркнет. Стонут поля. Тугою взошел буй-помысл Игорев. Злато русичей — в Каяле реке. Женам северским — тоска и труд. Не молкнет на жальниках при́четь.

16.

Не зегзица на забороле путивльском кокует — кличет Ярославна в слезах захлипаясь. Отпечаловать мнит у судьбы свою ладу, трудной мыслью ширяясь по Дону реке.

Молвит земле:

— Нету ти сыти! Крови не мало ты причастилась. А злато сухое поля иссушило, запекло смагой уста.

---

[1]) Рим — г. Римов.

Зори трисолнечные! Ночные и полуночные! Утренняя заря Мария! Как вы тихо потухаете-поблекаете, так бы и скорби Игоревы поблекли — ночные и полуночные!

Ярославна зегзицею кличет, в слезах захлипаясь:

— Выйду я в чистое поле, на ровное место, под полетные облака. Положу на главу свою красное солнце. Пали меня, яробуйная сила, не пали ладу мою!

Ярославна кличет:

— Ветры пернатые! Не вейте обидою с моря Сурожского! Не лейтесь, дожди сыпучии! Не греми, синь-гром!.. Стань в тишину!..

17.

Вéнули в полночь сладимые ветры, русский ветер тепла принес.

Поклонил Игорь колени, думой поля омеряя. Овлур кликнул за рекою — преторглась в вежах тишина...

Вскочил князь на коня поводного, а месяц светит. Ехать же им — к Донцу Северскому и вниз по Бобровой.

Мутен течет, Игорю брод затворяет половецкий нелюбый Тор...

Надорвали коней. И бежали они не путем конетечным: днем — по солнцу, ночью — по месяцу, заутрием — по студеной росе.

Игорю солнце красно свет разливает. Галочьи стаи с Руси на Дон летят. А в Путивле-граде звоны сами зазвонили:

— Святославичу нашему — быть к нам!

18.

И прошло малое время.

Игорь Северской земли не утúшил. Непрáвду чинить стал, ходя в полюдье — за данью. Опять пустошное житие завладело княжьей душой.

Два лета минуло, а в мéженные дни третьего лета пришел из полона Владимир с Кончаковною и с белым конем.

Освятивши крещеньем, нарекли Тохте имя Свобода. Обручил ей Владимир жемчюг телесный. И рад был венчанию Игорь князь.

Вот и меды изварены, свадьба пристроена; колачи на стрелы надеты, доспет пирог осыпной.

И видит Игорь: у витого столбца потрясает конь гривой беласой. И, вступивши в стремя, хочет притомить его князь за тяжкий полон свой за реку Каялу...

Кличет Игорь, правит к реке — в поля его конь уносит. В гневе князь заворочает коня, он же — мчит его, трепетен и ужасен.

В Десну реку пала река Неруса, а в Нерусу реку—реке Навле пасть.

Стал тут конь.

Клеплют билом к заутрени. Тиха и красна обитель. За оградой кивает Игорю старец Аир...

И смирил князь гордость и буесть; роздал все: падучие реки и бобровые гоны [1]), черные куны и бель-серебро.

И того же лета взял Аир харатию, чернило и трость и писал, доколе время солнца не пришло к запа́ду:

«Аз, худый книгочий и тайнам распытник, отходя сего света, пишу рукописанье: *Не лепо ли ны бяшет, братие, начяти старыми словесы* Игоря Святославича трудную рать. От синего тумана, от острова Руяны начаться повести сей»...

Пала Аркона. Забыл свою речь народ руянский.
Горы стали слева, горы стали справа; посредине — тишина.

А чи ли не так воспел бы нам — горазд гудец — песнивый Боян:

«— Одину — память, скифу — песнь.
Златым пескам тризны — цвесть!»

ПРИЛОЖЕНИЯ.

«Язык есть ископаемая поэзия».

М. Мюллер.

В древне-русском языке в изобилии имеется материал, параллельный «Слову о полку Игореве».

На сходство «Слова» с Волынской летописью указывал еще Карамзин. Близость его к «Краледворской Рукописи» отмечал Буслаев. Е. Барсов же прямо отнес «Слово» к литературной школе Киевской дружинной Руси, сопоставив его с греческим текстом перевода «Войны Иудейской» Иосифа Флавия.

Занявшись выявлением параллельного «Слову» материала, я искал раскрытия общеславянских корней «Слова» в языках чешском, румынском, сербском и болгарском. Кроме того, исследование мое протекало по следующему плану: а) Сравнительное изучение «Слова» с памятниками древнейшей письменности и б) «Слово» и так называемый Боянов Гимн князю Летиславу».

Решив использовать добытый материал для самостоятельного произведения в плане «Слова», я применил реконструктивный метод с полным сознанием ответственности и рискованности сего.

«Гимн Летиславу», мнимость коего не могу считать установленной окончательно, лег в основание моей попытки наметить опущенную в «Слове» «Боянову перспективу». Имея достаточные основания для отнесения Бояна к Балтике, я ввел его в повествование, использовав эпизод падения города Арконы, имевший место в 1167 г., т.-е. за 17 лет до похода Игоря на половцев.

В моей работе не было точной «установки на подлинник». Мною руководило желание сблизить лексику «Слова» и современную русскую речь.

---

[1]) Гоны — участки бобровой ловли.

I. ИСТОРИЯ — МИФ — БЫТ.

— От острова Руяны: Руяна или же Руя — нынешний Рюген — остров на Балтийском море. Рюген именовался также Ругией или Русией. Поздние следы этого наименования — в географическом сочинении XVI в. — «Книге, глаголемой Большой Чертеж» [1]).

«Этот небольшой остров, — говорит Шеппинг [2]), — представляет высшую степень развития славянской мифологии. Рюген — главная метрополия нашего древнего язычества и центр символики, проникшей во все верования славян».

— Рек Боян во Перыни князю Летиславу: отсюда начинается попытка воссоздания «Бояновой перспективы». В «Гимне Летиславу» Боян связывается с мифическим основателем Новагорода Великого — Славеном. Перынь — место, где Славен «срубил городище», очевидно, служившее для поклонения Перуну [3]).

— Вспомянем Перуна-Святовита: Святовит — высшее божество балтийских славян, почитавшееся на Руяне, в главном городе острова — Арконе. Святовиту давала дань вся славянская земля [4]); ему был посвящен храм, украшенный резьбою, и, содержавшийся в великом почете, белый конь.

Раскрывая значение имени «Святовит», Вельтман сопоставляет его с индусским Индрой светоконным [5]). Касторский считает имя «Святовит» прилагательным: «Святовит» есть Перун святовитый — Jupiter Lucetius [6]).

— И Одина того вспомянем: «Из всех богов наиболее близок Святовиту Один» [7]). Боян, вспоминающий в «Гимне» Одина, не мог не знать Святовита. Упоминания же им Одина весьма уместно, так как Один — «всепроникающая и образующая сила; от него же исходит искусство певцов» (Гримм).

— Ходил бо старый Славен в Аркону к волхвам руянским: в Аркону приходили за пророчествами изо всех славянских земель [8]).

— Триста юношей, приставленных к Святовиту: «—Неслыханное дело! — восклицает по этому поводу Гильфердинг: — руяне, как бы предупреждая средневековое учреждение Запада, установили религиозное воинство!» [9]) «Воинам этим был список» [10]). —

— Один сын — нéсын, два сына — пол сына, три сына — сын: древнейшая пословица, выражающая идею трехбратного рода. «Значение отца как родового корня содержало представление троичности» [11]).

— В стране Зимеголов: по «Гимну Летиславу» Боян вырос и «научился воспевать» в стране Зимеголов. Земиголы (по Нестору—Зимеголы) жили между Зап. Двиной и Виндавой.

— Затмил звезды на Трояновой тропе: — образ, введенный мною в текст, с целью уяснить одно из темнейших мест «Слова». — «Летая умом под облакы... рыща в тропу Трояню» — означает: «рыща по млечному пути». В румынском языке млечный путь до сих пор называется тропой Трояна (Callia lui Trojan). Ср. с древнерусским названием млечного пути Батыевой дорогой (Даль).

---

[1]) «Книга, глаголемая Большой Чертеж». Изд. Спасского, М. 1846.
[2]) Временник О-ва Ист. и Др. Рос. 1852, кн. 13.
[3]) См. Карамзина И. Г. Р. прим. к I т. 70 и 91.
[4]) Касторский — «Начертание славянской мифологии». П. 1841 г.
[5]) Вельтман — «Индо-германы или Сайване». М. 1856.
[6]) Касторский— «Начертание слав. мифологии».
[7]) Гильфердинг — «История балтийских славян». П. 1865.
[8]) Касторский — «Начертание».
[9]) Гильфердинг — «История балт. славян».
[10]) Saxo Grammatic — «Historia Danica». Paris 1514.
[11]) Забелин — «История русской жизни с древн. времен», ч. I, М. 1908.

Догадка об имени «Троян».

— Вот бы воспел... Кия-Трояна — сына Дажбога, древний киевский кон.... Трою — Коногард: — За крайней скудостью материала, все попытки объяснить имя «Троян» обрекались на неудачу. А между тем, раз народное предание сохранило имя, а в «Слове» оно кажется принадлежащим славнейшему князю домонгольского периода—возникает вопрос: только ли мифичен Троян?

Попытаюсь выявить миф и подвести под него посильную историческую прокладку.

А. Миф.

В «Хождении богородицы по мукам» — рукописи XII в., читаем: «...Трояна, Велеса, Перуна на боги обратиша». Имя «Троян», — говорит Лонгинов [1]), — надо считать происшедшим от высшего славянского божества Триглава, которого чтила не только языческая Русь, но и Польша. (Вернее — балтийское поморье, Триглаву поклонялись в Штеттине — *Г. Ш.*)

Забелин [2]) определил Трояна, как представителя идеи трехбратного рода.

Лонгинов [1]) от Трояна, сына Триглава-Дажбога, выводит солнечную генеалогию Игоря и прочих князей.

Заметим, что в «Слове» солнце — тресветлое. «Жизнь Даждьбожа внука» значит то же, что «жизнь сына Троянова».

Теперь произведем наложение одной на другую гипотез солнечной и трехбратной и обратимся к прокладке.

Б. История.

В виде отступления несколько слов о древности града Киева.

Обнимающие его полукружием в 300 верст Змиевы, Поросские или Трояновы валы свидетельствуют о громадной населенности края в древнейшее время [3]).

Во время похода Дария в 511 г. до Р. Х. сопутствовавшие ему греки узнали, что «в Скифии, над Борисфеном (Днепром) есть место, где много янтаря и зерновою хлеба». А Птоломей Александрийский, живший в 1-й половине II в. по Р. Х., прямо называет Metropolis на Днепре, поместив его в своей «Географии» под 56° сев. широты.

Еще меньше следует удивляться сообщениям о Киеве IV и V в.в., когда он становится известен, как Коногард или Гуннагард [4]).

Вопрос о гуннах достаточно разработан. Целый ряд исследователей (Венелин, Забелин, Вельтман и др.) считают гуннов движением восточного славянства, а Аттилу киевским князем. По Вельтману — Кыяне — Qunae — Cuni — Hunni [5]). Посмотрим, какое к этому отношение может иметь Троян.

Прежде всего, обратим внимание на пресловутый «седьмой век Троянов» (см. «Слово») — Это есть как раз пятый век — Аттиловы времена.

Киянин Димитрий — автор любопытного рассуждения о Трояновых валах, сообщает, что в древности Киев назывался Троей [6]), а киевский князь носил титул к и я, что значит «господарь»; буквально — молот (по «Материалам к словарю др.-русск. яз.» Срезневского) или же — жезл, держава, власть.

---

[1]) Лонгинов — «Историч. исслед. сказания о походе», Одесса 1892.

[2]) Забелин — «История русской жизни с древнейших времен», ч. I, М. 1908.

[3]) Киянин Димитрий — «Вывод о том, что в древней России Поросско-Украинские и Дунайские валы были построены не римским, а русским Трояном». Киев 1845.

[4]) Вельтман — «Аттила и Русь в IV и V в.в.». М. 1858.

[5]) Там же.

[6]) См. извлеч. из соч. Мих. Латвина — «О нравах татар, литовцев и москвитян в XVI в.» (Архив Истор.-Юрид. Свед., кн. II).— «Некоторые полагают, — говорится там,— будто Иллион, иначе Троя, была в Киевской земле». Не есть ли это смутный отголосок древнейшего имени Киева? — *Г. Ш.*

У Вельтмана [1]) в генеалогии древнейших киевских князей находим предшественника Аттилы Рао или Роа (Roas—по Иорнанду). Роа — в русском произношении — Роя,— не (Т)роя ли? Известно также, что Волга называлась Рао или Итиль.

Теперь возвратимся к гипотезе трехбратного рода. Идея эта выражала также согласие между тремя братьями [2]). Мы точно не знаем, сколько было у Аттилы братьев. Возможно, что в народном сознании образ Аттилы заслонил прочих, и ему досталось «тройное» имя — Троян.

Каталаунское сражение, в котором был разбит Аттила, произошло при городе Труа (Troyes).

Приведу еще один факт: Аттила был освободителем балтийских славян от готов [3]). Этим вновь сближаются Троян и поморский Триглав.

В заключение скажу: имя «Троян» (собственно — Трóянь) — прилагательное. Не кажется ли, что у нарицаемого Трóяном князя могло бы быть и другое имя?

Гипотетический вывод: нерусское имя Трояна — Аттила; русское имя Аттилы — Троян.

— Посыпали головы дерном: смысл таков: «да покроет меня земля, если нарушу куплю» [4]).

— Повергались ниц поморяне перед князем: столь велико было значение арконского князя среди балтийских племен, что даже в войнах с Арконой славяне не осмеливались поднимать на него руки и при встрече с ним отбрасывали копье в сторону [5]).

— Отходя сего света, пишу рукописанье: и следующий за этим текст основаны на догадке Кораблева [6]), считавшего автором «Слова» галичского книжника Тимофея. В Ипатьевск. летоп. под 1205 г. читаем: «Бе бо Тимофей в Галиче премудр книжник, отечество имея во граде Киеве... притчею рече слово». У меня имя изменено (старец Аир).

2. ТЕКСТ ПО ДАННЫМ ЛЕКСИКАЛЬНЫМ.

— Быть тебе пр̑опа̀сть: редкая форма двойного неопр. накл. Ср.: «Как цвету ни цвесть, а быть опадать». — «Собр. 4291 древн. росс. пословиц». М. 1770.

— Зардевшие ветры: ср. с текстом «Нибелунгов» — вариант Лахмана стр. 1999: «vlur roten, fivres roten vinden» — «огненно-красный ветер».

— Златосухое: в сербском — огненное (сухая молния). Здесь — двойная игра слов.

— Златорукий... вечер: по Ефр. Сирину («Свед. и заметки» Срезневского). Ср. с «розоперстой Эос» Гомера. Кроме того, в Ведах «рука» и «луч» обозначаются одним и тем же словом.

— Киевский кон: место древнего веча — Киянин Димитр. — «Вывод о Поросских рвах».

— Лóтомирь: яр(о) — мирь — ярмарка. — Лексикон Лукашевича [7]).

— Немовать: лепетать — «Яко детищь, немуя» — Никоновск. Пандект XI в.

— Паволочитый: сшитый из дорогой ткани — паволоки. — «Одр настлан перин паволочитых» — Троицк. Сборн. XII в.

— Рдявою: рдява — огонь (от рдети). — Лексикон Лукашевича.

---

[1]) Вельтман — «Аттила и Русь в IV и V в.в.».

[2]) Барсов Е. — «Слово о полку Игореве». 1904.

[3]) Гильфердинг — «Ист. балт. славян».

[4]) Котляревский — «Древности права балт. славян». Прага 1874.

[5]) Гильфердинг — «Ист. балт. славян».

[6]) Кораблев — «Слово о полку Игореве». М. 1856.

[7]) Лукашевич, Платон — забытый в наст. время филолог первой половины XIX в.' автор интересных, хотя и не вполне научных работ.

— Море Сайванское: древнейшее название Балт. моря. См. карту Вельтмана I в. в книге «Индо-германы или Сайване». М. 1856.

— Светич: сын света, как «словутич» (См. «Слово») — сын славы.

— Стругари: стругарь — токарь. — «Глоссы Mater Verborum» [1]).

— Туман: слово тюркское (Даль).

— Храпли: ноздри — «Глоссы Mater Verborum».

— Чеевич: кто ты? чей сын? — Из замечаний об особенностях словообразов. в древне-русск. яз. Лавровского. — «Изв. Ак. Наук по Отд. Русск. Яз. и Слов.». 1853. Т. II.

3. «БОЯНОВ ГИМН КНЯЗЮ ЛЕТИСЛАВУ».

В 1812 г. в «Беседах любителей русской словесности» (чтение 6-е) была напечатана статья Державина «О лирической поэзии», в которой сообщалось об открытии «славено-рунного стихотворного свитка I (!) века, подлинник коего на пергамине находится в собрании редкостей у (некоего) Селакадзева».

«Я представляю при сем отрывки оного, — писал Державин,— но за подлинность их не могу ручаться, хотя, кажется, буквы и слог удостоверяют о их глубокой древности».

Опубликованный Державиным текст:

Умочи Боянъ сновъ удычъ	(Не) умолчи, Боян, снова воспой!
А комъ плъ блгъ тому	О ком пел — благо тому.
Суди Велеси не убегти	Суда Велесова не избежать,
Слвы словенси не умлети	Славы славян не умалить.
Мчи Бояни на языци оста	Мечи Бояновы на языке остались,
Памети Злгоръ Волхви г(л)оти	Память Злогора Волхвы поглотили.
Одину памети скифу гамъ	Одину — память, скифу — песнь.
Злтымъ пески тризны сыпи	Златым песком тризны посыплем.

В письме Евг. Болховитинова [2]) к Городчанинову от 15/I—1811 г. (см. Сборник стат., читанных в Отдел. Русс. яз. и Слов. Ак. Н. Т. V, в. I. 1868) читаем:

«... Сообщаю новость: (петербургские) палеофилы отыскали где-то целую песнь древнего славенорусского песнопевца Бояна и еще оракулы Новгородских жрецов. Все сии памятники писаны на пергамине древними славенорурическими буквами, задолго, якобы, до христианства славенорусов. Если это не подлог каких-нибудь древностелюбивых проказников и если не ими выдумана сия руническая азбука, и не составлена из разных северных рунических письмен, кои описывает Далин в своей Шведской Истории, то открытие сие ниспровергает общепринятое мнение, что славяне до IX в. не имели письменности... [3]). Замечательно, что в рунах сих есть буква «ъ», коей происхождение в нашей азбуке мы доселе отыскать не могли».

Там же. Из письма Городчанинову от 6/V — 1812 г.

«О Бояновом гимне и оракулах Новгородских, кои все сполна у меня уже есть, хотя спорят в Петербурге, но бо́льшая часть верит их неподложности. Дожидаются издания, тогда больше будет шуму о них».

---

[1]) Памятник чешской литературы XIII в. с объяснениями и примеч. К. Скворцова. П. 1853 г.

[2]) Евг. Болховитинов — Киев. митрополит Евгений, изв. филолог начала XVIII в., автор «Нового Опыта Историч. Словаря Росс. Писателей».

[3]) Мнение, существовавшее, разумеется, во времена Болховитинова. См. Гедеонова — «Варяги и Русь». П. 1878 — и статью Х. Френа: «Письмена древних Руссов» «Библиот. для чтения», 1836, т. XV, отд. 3.

В «Сыне Отечества» за 1821 г., ч. 70—тот же автор сообщает:

«Недавно появился целый древле-славянский гимн Боянов князю Летиславу, писанный на пергаминном свитке красными чернилами, буквами руническими, доныне у нас бывшими в неизвестности. В сем гимне Боян довольно подробно о себе рассказывает, что он—потомок Славенов, что родился, воспитан и начал воспевать у Зимеголов, что отец его был Бус, воспитатель младого Волхва, что отца его отец был Злогор, древних повестей дольный певец, что старый Славен лично видывал его, что сам Боян служил в войнах и неоднократно тонул в воде и пр. Гимн сей в свет не издан, критикой не удостоверен, а потому за историческое доказательство принят быть не может».

Помимо Державина интересовался «Гимном» еще Карамзин.

Письмо его к П. А. Вяземскому (1812):

«Благодарю (Болховитинова) за так называемый «Боянов Гимн». Пожалуйста, спросите и меня уведомьте, кто имеет оригинал на пергаменте, где найдено и кто переводил?»

И еще:

«Буду ему (Болховитинову) благодарен, когда пришлет мне верную копию с «Гимна Боянова» — *действительного или мнимого*» [1]) («Русский Архив», 1868).

В примечаниях издателя Бартенева к двум приведенным выдержкам сказано: «Боянов Гимн» — известный археологический (?) подлог купца Бардина, торговавшего старинными рукописями».

Фраза эта *слово в слово* повторена акад. Гротом в комментариях к поэме Державина «Злогор, Волхв Новгородский» (Державин. — Собр. сочинений, изд. Ак. Н. 1870). Очевидно, кто-то из них рубил с плеча. Возможно — оба, ибо:

Дубенский в исследовании «Слово о полку Игореве». М. 1844 — заявлял: «Гимн Боянов в свет не издан, *критикой не исследован и, едва ли, того стоит»* [2]).

Пыпин в «Очерке старин. повестей и сказок русских», М. 1858 — писал: «Бедность нашей словесности произведениями поэтического характера не раз давала повод к подделкам; таковы, напр., новгородские руны, занимавшие Державина».

Между тем Е. Барсов в I части своего труда «„Слово“, как памятник киевской дружинной Руси», М. 1887, сообщая случай подделки «Слова» купцом Бардиным, высказывает *предположение*, что и гимн «Боянов» — дело его рук.

Итак, собрав, как будто, все имеющиеся о «Гимне» материалы, можно, почти с уверенностью, сказать: «Гимн Летиславу» исследован не был. Попытаюсь выяснить, следует ли об этом жалеть.

Прежде всего, со стороны палеографической — «Гимн» как будто представляет подлинные руны.

9 букв «Гимна» найдены мною в «Шведской Истории» Олофа Далина (П. 1805—1807), но это, разумеется, еще не может служить доказательством подлога. Что же касается твердого знака, то предлагаю здесь следующее свое соображение:

В тамгах (или знаках собственности) Киргиз-Кайсацких орд [3]) найдено мною несколько знаков—по характеру совершенно рунических. Из них Z знак рода Джанас в «Гимне» обозначает звук «г» («дж» переходит в «г»). Тамге рода Берчь 7 в «Гимне» соответствует буква 7, обозначающая твердый знак. Корень слова «Берчь» — «ер»; «ер»=ъ.

В основательности сего утверждает меня сообщение Далина, что в местах татарского кочевья находится много памятников рунического письма. Теперь рассмотрим «Гимн Летиславу» в свете истории.

В I Новгородской летописи упоминается улка Бояня. То же самое находим в «Исторических Разговорах о древностях Великого Новагорода». М. 1808.

---

[1]) Курсив мой. *Г. Ш.*

[2]) Курсив мой. *Г. Ш.*

[3]) Левшин — «Описание Киргиз-Кайсацких орд и степей». П. 1832.

Будучи отнесен к Новгороду, Боян без особой натяжки может быть принят нами за уроженца «страны Зимеголов». Упоминание же им Одина также вполне уместно (см. прилож. I).

Кто же такой упоминаемый бояном Славен?

Позднее сказание XVII в., сообщенное Карамзиным (И. Г. Р., т. I, прим. 70 и 91) рисует его мифическим основателем Новгорода—Волхвом, который после смерти своей «сел в боги». В сказании этом говорится о трех братьях, пришедших от Черного (!) моря и через волхование определивших место, где им осесть. Ясно, что мы имеем дело с вариантом «призвания варягов», в коем скандинавская версия заменена славянской.

Черное море в древности именовалось Русским; такое же название носил Неманский угол Балтийского моря (см. «Древние геграф. карты Пруссии». М. Архив М. Ин. Дел). Для позднего сказания подобное смешение названий вполне возможно. Допустив это, мы имеем родиной Славена (приблизительно) Боянову «страну Зимеголов» (см. выше о ней).

Новгородцы издревле назывались словенами и поселились у Ильменя задолго до Р. Х. (Забелин) [1].

Рюрик не мог «срубить» (основать) Новгород в IX в. Город этот на много веков древнее [2]). Подле него же находился в VI в. город Словно [3]), а на Неманской Березине — Словогощ [4]).

Таким образом сказание Карамзина не противоречит возможности основания Новгорода Славеном, тем более, что относит это событие к незапамятным временам.

Вот и все, что можно сказать по поводу известного нам девятистрочья. Следует отметить, что первые строки «Гимна» кажутся написанными не от лица Бояна, а как бы одним из близко стоявших к нему певцов. Между прочим, о существовании на Руси не одного, а многих «Боянов» высказывал предположение Шишков [5]).

Установить в настоящее время следы подлинника — труд непосильный, и возможно, что мы потеряли ценнейшую нашу рукопись.

Как бы то ни было, если мы даже имели дело с подлогом, то он — вполне грамотен, и его нужно признать удачной попыткой воссоздания «Бояновой перспективы».

1925.
Москва.

Исторический музей.

---

[1]) Забелин — «История русской жизни с древнейших времен». М. 1912. Ч. II.
[2]) Бутков — «О Новгороде в VI в.». «Сын Отечества». 1836. Ч. XXVIII.
[3]) Там же.
[4]) Забелин — «Ист. русской жизни». Т. II.
[5]) Шишков — «Слово о полку Игореве». М. 1805.

Номах [1]).

(Отрывок из пьесы).

Часть вторая.

Экспресс № 5. Салон-вагон. В вагоне страшно накурено. Едут комиссары и рабочие. Ведут спор.

Рассветов.

Чем больше гляжу я на снежную
ширь,
Тем думаю все упорнее.
Чорт возьми!
Да ведь наша Сибирь
Богаче, чем желтая Калифорния.
С этими запасами руды
Нам не страшна никакая
Мировая блокада.
Только работай! Только трудись,—
И в республике будет
Что кому надо.
Можно ль представить,
Что в месяц один
Открыли пять золотоносных жил?
В Америке это было бы сенсацией,
На бирже стоял бы рев,
Маклера бы скупали акции,
Выдавая один пуд за шесть пудов.
Я работал в клондайкских приисках,
Где один нью-иоркский туз
За три миллиона без всякого риска
Двенадцать с половиной положил
в картуз.
А дело все было под шопот,
Просто биржевой трюк,
Но многие, денежки вхлопав,
Остались почти без брюк. —

---

[1]) Номах — имя бандита. Рассветов и Чарин — комиссары. Время действия — 1921—1922 г.г.

О! Эти американцы...
Они — неуничтожимая моль.
Сегодня он в оборванцах,
А завтра золотой король.
Так было и здесь...
Самый простой прощалыга,
Из индианских мест,
Жил, по-козлиному прыгал
И вдруг в богачи пролез
Я помню все штуки эти.
Мы жили в ночлежках с ним.
Он звал меня мистер Развети,
А я его — мистер Джим.
— Послушай, — сказал, —
Please [1]),
Ведь это не написано в брамах,
Чтобы без виски и мисс
Мы валялись с тобою в ямах.
У меня в животе лягушки
Завелись от голодных дум.
Я хочу хорошо кушать
И носить хороший костюм.
Есть одна у меня затея,
И если ты не болван,—
То без всяких словес, не потея,
Согласишься на этот план.
Нам нечего очень стараться,
Чтоб расходовать жизненный сок,
Я знаю двух-трех мерзавцев
У которых золотой песок.
Они нам отыщут банкира
(Т.-е. мерзавцы эти),
И мы будем королями мира...
Ты понял, мистер Развети?
— Открой мне секрет, Джим! —
Сказал я ему в ответ.
А он мне сквозь трубочный дым
Пробулькал:
— Секретов нет!
Мы просто возьмем два ружья
Зарядим золотым песком
И будем туда стрелять,
Куда нам укажет Том.

[1]) Плиз — пожалуйста.

(А Том этот был рудокоп,
Мошенник, каких поискать).
И вот мы однажды тайком
В Клондайке...
Нас целая рать...
И по приказу даденному,
Под браунинги в висок,
Мы в четыре горы-громадины
Золотой стреляли песок,
Как будто в слонов лежа-
щих,
Чтоб достать дорогую кость,
И громом гремела в чащах
Ружей одичалая злость.
Наш предводитель живо
Шлет телеграмму потом:
«Открыли золотую жилу.
Приезжайте немедленно.
Том».
А дело было под шопот,
Просто биржевой трюк...
Но многие, денежки вхлопав,
Остались почти без брюк.

Чарин.

Послушай, Рассветов, и что же
Тебя не смутил обман?

Рассветов.

Не все ли равно,
К какой роже
Капиталы текут в карман?
Мне противны и те и эти.
Все они —
Класс грабительских банд.
Но должен же, друг мой, на свете
Жить Рассветов Никандр.

Голос из группы.

Правильно!

Другой голос.

Конечно, правильно!

Третий голос.

С паршивой овцы хоть шерсти
Человеку рабочему клок.

Чарин.

Значит, по этой версии,
Подлость подчас не порок?

Первый голос.

Ну, конечно, в собачьем стане,
С философией жадных собак,
Защищать лишь себя не станет
Тот, кто навек дурак.

Рассветов.

Дело, друзья, не в этом.
Мой рассказ вскрывает секрет,
Можно сказать перед всем светом,
Что в Америке золота нет.
Там есть соль,
Там есть нефть и уголь,
И железной много руды.
Кладоискателей вьюга
Замела золотые следы.
Калифорния — это мечта
Всех пропойц и неумных бродяг.
Тот, кто глуп или мыслить устал,
Прозябает в ее краях.
Эти люди — гнилая рыба.
Вся Америка—жадная пасть.
Но Россия — вот это глыба...
Лишь бы только Советская власть...
Мы, конечно, во многом отстали.
Материк наш:
Лес, степь, да вода.
Из железобетона и стали
Там настроены города.
Вместо наших глухих раздолий,
Там, на каждой почти полосе,
Перерезано рельсами поле
С цепью каменных рек — шоссе.
И по каменным рекам без пыли,
И по рельсам без стона шпал

И экспрессы и автомобили
От разбега в бензинном мыле
Мчат секундой, считая доллар.
Места нет здесь мечтам и химерам,
Отшумела тех лет пора.
Все курьеры, курьеры, курьеры,
Маклера, маклера, маклера...
От еврея и до китайца,
Проходимец и джентльмен—
Все в единой графе считаются,
Одинаково business men [1]).
На цилиндры, шапо и кепи
Дождик акций свистит и льет.
Вот где вам мировые цепи,
Вот где вам мировое жулье.
Если хочешь здесь душу выржать,
То сочтут: или глуп или пьян.
Вот она — мировая Биржа!
Вот они — подлецы всех стран!

Чарин.

Да, Рассветов! но все же, однако,
Ведь и золота мы хотим.
И у нас биржевая клоака
Расстилает свой едкий дым.
Никому ведь не станет в новинки,
Что в кремлевские буфера
Уцепились когтями с Ильинки
Маклера, маклера, маклера...
И в ответ партийной команде,
За налоги на крестьянский труд,
По стране свищет банда на банде,
Волю власти считая за кнут.
И кого упрекнуть нам можно?
Кто сумеет закрыть окно,
Чтобы не видеть, как свора
острожная
И крестьянство так любят Махно?
Потому что мы очень строги,
И на строгость ту зол народ,
У нас портят железные дороги,
Гибнут озими, падает скот.

---

[1]) Бизнес-мен—человек дела. Деловой человек.

Люди с голоду бросились в бегство
Кто в Сибирь, а кто в Туркестан,
И оскалилось людоедство
На сплошной недород у крестьян.
Их озлобили наши поборы,
И, считая весь мир за бэдлам,
Они думают, что мы воры,
Иль поблажку даем ворам.

Рассветов.

Нет, дорогой мой!
Я вижу у вас
Нет понимания масс,
Ну, кому же из нас неизвестно
То, что ясно как день для всех.
Вся Россия пустое место.
Вся Россия лишь ветер да снег.
Это отзыв ни резкий, ни черствый,
Знают все, что до наших лбов
Мужики караулили версты
Вместо пегих дорожных столбов.
Здесь все дохли в холере и оспе —
Не страна, а сплошной бивуак.
Для одних — золотые россыпи,
Для других — непроглядный мрак.
И кому же из нас не знакомо,
Как на теле паршивый прыщ,
Тысячи лет из бревна, да соломы
Строют здания наших жилищ.
Десять тысяч в длину государство,
В ширину—около верст тысяч трех—
Здесь одно лишь нужно лекарство—
Сеть шоссе и железных дорог.
Вместо дерева нужен камень,
Черепица, бетон и жесть.
Города создаются руками,
Как поступками слава и честь.
Подождите!
Лишь только клизму
Мы поставим стальную стране —
Вот тогда и конец бандитизму,
Вот тогда и конец резне [1]).

Сергей Есенин.

[1]) Первая половина настоящего отрывка была напечатана в сб. стихов С. Есенина «Страна Советская». Изд. «Советск. Кавказ». Тифлис. 1925 г.

Поехали.

Не занапрасно кони дрогнут,
Пылит метелью синий край.
Нам обязательно в дорогу
Лихую тройку подавай.

Эй, погоняй, ямщик железный,
Под разудалую гармонь!
Мы пролетим над всякой бездной
От белых снеговых погонь!

Не пить и не плясать нельзя нам,
Нас всех ломает буйный рост.
И едут избы по полянам,
Бросаясь окнами в мороз.

И плещутся четыре моря
Под забубенную гармонь.
И пляшет избяное горе,
Над головой подняв ладонь.

Поехали леса и степи,
И нет живого места там,
Где лунный снег звенит и лепит
Со всех сторон по головам.

Деревни и селенья, где вы?
Не ветер ли казал вам путь?
Не разгармонивай напева,
Мятежная ржаная грудь.

Веселым бубенцом рыдая,
Промчим, не утаим огня...
Ах, не крестись, моя родная,
В невольном страхе за меня.

Тебе осталось жить немного,
Совсем немного, так и знай...
А нам, собравшимся в дорогу,
Лихую тройку подавай!

Петр Орешин.

Снег.

Все небо плавится свинцом.
Но будет век цвести
Снег первый вымытым лицом
Ребенка лет шести.

И свищет ветер без конца,
И пусть ребенок нем,
Но свежей радостью лица
Как нравится он всем.

Но день, другой — и вот мороз,
Пришел мороз — смотри:
Уже ребенок наш подрос,
Подрос на года три.

Мороз еще, и грустно нам,
И как тут не тужить —
Кругом, кругом по сторонам,
Как взрослый, снег лежит.

И уж друзья его не те,
Не те друзья, не те.
Седою ведьмою метель
Шипит как на плите.

Мороз грубей, и кто б ни шел —
Сгибается в кольцо,
Как будто сотни белых пчел
Впиваются в лицо.

Да, неприветливы друзья —
Жильцы полярных мест,
И не один узнаю я,
Как снег нам надоест.

И не один, когда в плетни
Зазеленеет луг,
Увижу тихий снег в тени,
Глядящий, как испуг...

В. Наседкин.

Гитара.

Мне дороже дара
От судьбы не надо,
Звонкая гитара —
Радость и услада.

Говорит, рокочет —
Рассыпает в струны
Все, чего захочет
Молодой да юный.

Молодой — не старый,
Удалой да бравый,
Не тебе ль гитары
Говорок кудрявый!

Не тебе ли — сила,
Хватка да повадка —
Миловаться с милой,
Целоваться сладко!

Юности курносой
В бурю и ненастье
В шелковые косы
Залетает счастье.

Говорят, рокочат,
Рассыпают струны—
Все, чего захочет
Молодой да юный.

Все берет — не просит,
Песнь и труд — игрушка,
Мед сама подносит
Круговая кружка.

Сердце пьяно кружит
Голова хмельная,
Ни о чем не тужит
Молодость шальная!

От судьбы ей дара
Не желать милее, —
Пой, играй, гитара,
Говори смелее!..

А когда простынет
Первое похмелье,
Понемногу схлынет
Громкое веселье.

Молодость шальная
Про печаль услышит,
Ты тогда, родная,
Говори потише...

Ты уж, друг-гитара,
Не шути, не смейся...
А не так — об старость
Расколись — разбейся...

Павел Дружинин.

Цыганка.

> А цыганочка-то пляшет,
> В барабанчики-то бьет.
>
> *А. Пушкин.*

Пестрые заплаты,
Нищенский убор.
Вот и забрела ты
В наш унылый двор.

С девочкой-цыганкой —
Солнце, ковыли.
Засверкала склянка
В мусорной пыли.

Грузные, нависли
Хмурью этажи:
— Мы в тени раскисли,
— Песней освежи.

В бубен медноликий!
И с плеча — платок!
Показалось: дикий
Загремел цветок.

И взвился высокий
Голосок звеня,
И босые ноги
Пляшут на камнях.

С улицы и лестниц
Сыплет детвора.
От цыганской песни —
Ветер и жара.

Бубен дрожью взброшен,
И гремит, поет!
Дети бьют в ладоши,
Строят хоровод.

— А как звать-то?
                    — Веркой.
— Ты не уходи,
Будешь пионеркой,
С лентой на груди!..

Но уж всех обводит
Жалобою глаза,
Вот она уходит,
Покидая нас.

Улицею грозной,
И туда, в упор, —
Где шатры да сосны,
Месяц и костер.

Евсей Эркин.

Народные массы и движение декабристов.

И. Балабанов.

> Небольшие толпы черни окружали их и кричали: ура!
>
> «Русский Инвалид», 19 декабря 1825 г.

I.

Буржуазные историки интересовались по преимуществу идеологией декабристов и их личностью, оставляя совершенно в тени отражение этого движения в народных массах. Если попутно, либо по исключению, ставился этот вопрос, то на него отвечали отрицательно или оперировали беспросветной темнотой народа, способной принять на веру самые дикие мысли.

В особенности крепко держалась эта легенда о солдатах. И официальные, и приватные историки и даже некоторые причастные к декабризму, как М. Ф. Орлов, изображали дело таким образом, что солдаты были вовлечены в движение исключительно «обманом», игрой на лойяльности принятой ими присяги Константину. Бесспорно, вопрос о присяге играл, в особенности в Петербурге, немалую роль, но далеко не столь решающую. Настроения, благоприятствовавшие движению декабристов, крепли среди солдат независимо от осложнений, принесенных смертью Александра I. Известно волнение 1820 года в Семеновском полку, когда солдатская масса дала удивительные образцы стойкости и солидарности, как известны и появившиеся, в связи с этим волнением, воззвания. Если принять во внимание, что воззвания эти были направлены не только против царя, но и против дворян, а одно из них призывало даже к смещению всех офицеров и к замене их выборными от солдат, то нужно признать, что авторами их не только не могли быть будущие декабристы, но были люди, ничем не связанные с дворянством и с дворянским офицерством, т.-е. в социальном устремлении своем шедшие многим дальше декабристов. С другой стороны, мы имеем свидетельство Каразина, который писал в эти годы министру внутренних дел Кочубею: «Между солдатами есть люди весьма умные, знающие грамоте. Много есть солдат из бойких семинаристов, за дурное поведение в военную службу отданных. Есть и из дворовых весьма острые и сведущие люди, есть управители, стряпчие и прочие из господских людей, ко-

торые за дурное поведение и за злоупотребление отданы в рекруты. Они так, как и все, читают журналы и газеты». Если, таким образом, солдатская масса, поскольку она вербовалась из крестьян, роптала под гнетом крепостного права и жестокостью казарменного режима, тянувшегося четверть века, то «огоньки» начинали светить и в этом темном царстве. «Бойкие семинаристы», оказавшиеся в рекрутах, — несомненные «разночинцы», способные воспринять революционную агитацию и понести ее дальше. «Дурное поведение», за которое помещики отдавали своих крепостных в рекруты, — это большей частью всякого рода «неповиновение», и такая кара постигала свободолюбивых, протестующих, мыслящих, тех, которые, попав в казарму, не всегда подставляли в ярмо свою шею, но развивались дальше, сближались с разночинным элементом, читали газеты, становились сами распространителями «заразы».

Несомненно, что на почве роста таких солдатских настроений, особенно ярко сказавшихся в семеновском волнении, созревала надежда декабристов на то, что солдаты дружным восстанием поддержат их планы. Но столь же несомненно, что агитация их, даже в Петербурге, где преобладали умеренные элементы, не всегда вращалась вокруг вопроса о присяге, но также имела в виду общее недовольство солдат. Князь Волконский, со слов Оболенского, показывал, что «на счет влияния на нижних чинов, общим было принято правилом всеми военного ведомства членами стараться, при разговорах с ними (нижними чинами) наедине, как-то с вестовыми и тому подобное, вселять негодование на излишнюю взыскательность в выправке и чистоте амуниции» [1]). Тот же Оболенский в письме к Пестелю сообщал, что «дела общества идут хорошо и что члены оного действуют на нижних чинов, особенно на унтер-офицеров» [2]), а когда, с получением известия о смерти Александра, братья Бестужевы и Рылеев стали агитировать среди солдат, то говорили о завещании царя, «в котором дана свобода крестьянам и убавлена до 15 лет солдатская служба», т.-е. о том, что солдат затрагивало всего ближе. Благодаря такому воздействию на солдат, и отношение последних к присяге не всегда оставалось на уровне слепой, беспрекословной ей верности. Бестужев передает такого рода рассуждение о присяге, высказанное присягавшим Николаю солдатом своим товарищам, отказавшимся от присяги: «Кто ни поп, тот батька, и кто бы ни выдергал ус, как вам выдергали, — все равно: тот или другой». Для этого солдата все цари — одного покроя. А когда генерал Воинов приказал роте принести присягу Николаю, рядовой Поветкин, «будучи впереди всех и держа ружье у ноги», ответил, что «мы уже присягали, что более принимать оной не хочем потому, что, присягая ежедневно, должны будем присягать и всякому приезжему принцу» [3]). Сравнение брата государева, Николая, со всяким приезжим принцем было уже дерзостью неслыханной, свидетельствующей о том, что бродила мысль, готовая дискредитировать присягу вообще.

---

1) Восстание декабристов. Материалы, т. I. Лен. 1925, стр. 274.

2) Там же, стр. 255.

3) Восстание декабристов. Материалы, т. VIII, Лен. 1925, стр. 255.

Такие настроения более отчетливо сказывались на юге, где и агитация декабристами велась, как известно, более активно, и при том еще до смерти Александра, когда вопроса о присяге не возникало, и в «обмане» не было надобности. В лещинском лагере, к Муравьеву и Бестужеву-Рюмину приходили солдаты из бывших семеновцев. Этих сношений с солдатами не скрыли на следствии ни Муравьев, ни Бестужев-Рюмин, назвав даже поименно многих из семеновцев. Один из последних, рядовой Анойченко, так показывал о посещении им Муравьева и Бестужева: «Тут они оба мне говорили, что служба тяжела, что государь не хочет ничего сделать в наше облегчение, при чем Муравьев произносил против него особо дерзкие слова, непристойные ругательства. Говорили, что немного надо потерпеть — и все переменится, что тогда солдаты будут жить в изобилии, будут иметь деньги и прочее; чтобы мы слушали только его, Муравьева, голоса и приказания и чтобы старались склонять и подговаривать прочих солдат следовать за ним, если откроется бунт». «Мы обещались ему—продолжал Анойченко—склонять прочих армейских нижних чинов—лучших в полку, чтобы они пристали к его, Муравьеву, делу, которому он, однако ж, названия никакого не давал, но я, как и все, без исключения, семеновские нижние чины 8-й пехотной дивизии, знавшие то же самое от Муравьева, понимали, что это должно клониться к бунту против царской власти» [1]). Можно думать, что в своих откровенных, но все же осторожных, показаниях Анойченко до конца не договаривал. Но если он, как и прочие семеновцы, понимал, что «это должно клониться к бунту против царской власти», значит Муравьев вел речи к тому, чтобы солдатам это стало понятно. А семеновцы слушали эти речи, понимали, что дело идет о бунте против царской власти, и шли на это, — «обещались склонять прочих армейских нижних чинов, лучших в полку», и, конечно, обещание свое сдержали, несли агитацию дальше в солдатскую массу.

Другие действовали еще более решительно, чем Муравьев. Рядовой Ракуза, разжалованный из поручиков, показал, что поручик Фурманов советовал ему внушать «известным нижним чинам и вливать в их сердца, что, покуда будет существовать фамилия Романовых, потуда доброго не будет; ежели мы возьмемся за свое дело, то истребим тягость народа и войска, угнетенного ненужным бесполезным делом», если же солдаты возмутятся — говорил Фурманов, — «тогда будет конституция, тогда крестьяне из под крепости освободятся». В конце концов, и Муравьев, — не говоря уже о более радикально настроенных членах «Общества Соединенных Славян», — заговорил о борьбе за крестьянскую волю, как о цели восстания. По словам того же Ракузы, на вопрос солдат перед выступлением из Василькова — «куда же мы идем и зачем», Муравьев и другие офицеры ответили: «Избавить народ из рабства, вам службу убавить» [2]).

---

[1]) Приведено по архивной записи у К. Раткевич «Первые борцы против самодержавия», Лен. 1925, стр. 87—88.

[2]) «Русский Архив», 1902, кн. 2, стр. 294—296.

Агитация эта падала на хорошую почву и находила среди солдат надлежащий отклик. Насколько далеко она проникла, показывает свидетельство Ракузы о том времени, когда он уже сидел под арестом: караулившие его солдаты «из'являли ропот на настоящую их службу и на правительство, говоря о том, что весна откроет все, что они разбегутся по лесам и там соберутся». А по другому свидетельству, — уже после восстания Черниговского полка,—музыкантский староста Дрейзи, «будучи пьяным, ругал Майбороду, что сделал донос на Пестеля, из них последнего ужасно расхваливал и жалел, говорил при том, что Пестель перед смертью изрек слова сии, что Пестель что посеял, то и взойти должно и взойдет впоследствии непременно, и об этом говорили и другие солдаты [1]). Таким образом создавалась даже «пестелевская легенда», которая, нужно думать, связывала «посеянное» Пестелем с крестьянской волей и сокращением срока службы, и крепили повстанческие настроения с расчетом на весну и на дремучие леса, в которых легко укрыться повстанческим отрядам. На основе таких настроений — более отчетливых в солдатской верхушке и смутных в солдатских низах — сложилась активность солдат в дни декабрьского и январского восстаний. 14 декабря, на Сенатской площади, при растерянности декабристов и отсутствии всякого руководительства, солдаты проявляли активность, как могли, — стреляли по царской кавалерии, пустили несколько пуль по царской свите, осмеяли и прогнали митрополита, пытавшегося их «усовещать» и т. д. На юге солдаты Черниговского полка в боевом порядке выступили в поход, а при первом же столкновении с правительственными войсками проявили храбрость, которая удивила даже гусарского полковника, командовавшего отрядом, посланным против Муравьева. На юге, как и на севере, артиллеристы-солдаты отказывались сначала стрелять по «своим», — сочувствие их, хотя бы и пассивное, было также на стороне восставших...

II.

Один из секретных агентов III отделения доносил начальству о «вредных выражениях», которые ему пришлось слышать в особенности от дворовых людей и кантонистов, в связи с толками о казни декабристов: «Начали бар вешать и ссылать на каторгу; жаль, что всех не перевесили, да хотя бы одного кнутом отодрали и с нами поровняли; да долго ли, коротко ли, им не миновать этого». «Русский Инвалид», в своем первом сообщении о событиях 14 декабря 1825 года, утверждал, что декабристы «не нашли себе других пособников, кроме немногих пьяных солдат и немногих же людей из черни, также пьяных». Сообщения правительственной газеты, как и секретного агента, должны были показать, что декабристы не только не встретили сочувствия в «черни», но что, напротив, она настроена была враждебно к мятежу, в кото-

---

[1]) «Русский Архив», 1905, кн. 2, стр. 310.

ром видела попытку дворян воспротивиться «милостивым» заботам царя о крестьянах.

Посмотрим, что происходило в действительности на площади 14 декабря.

Части, с утра отказавшиеся присягать Николаю, спешили к сенату. Необычное и порою беспорядочное движение солдат привлекло на площадь толпы любопытных. К тому же солдаты по пути спрашивали «партикулярных людей, которой стороны они держутся, Константина Павловича или Николая Павловича», и эта своеобразная агитация стягивала еще больше народа к месту восстания. Народной демонстрации содействовало и то обстоятельство, что на площадях, прилегавших к дворцу и сенату, производились в это время три крупных постройки: Исаакиевского собора, здания главного штаба и дома у сената. На всех этих постройках было занято много рабочих; самые постройки были обнесены заборами, у которых сложены были всякие строительные материалы, а на берегу Невы сложен был камень, привезенный для соборного здания. Необычное зрелище привлекло, конечно, внимание рабочих, которые, сами по себе, образовали на площади значительную толпу. По словам современника, «на крышах сенатского здания, примыкавших к нему домов и временных строений около Исаакиевского собора, а также на дровах, сложенных у забора внутри двора, видны были плотные массы народа, бросившего свои работы и занятия для того, чтобы поглядеть на зрелище небывалое, невиданное и неожиданное — в самом центре города, между дворцом и сенатом». Принц Евгений Вюртембергский, племянник императрицы, пишет в своих записках, что среди солдат «суетливо шмыгали какие-то люди, одни в военных мундирах, другие в партикулярном платье, но также большею частью вооруженные, перед ними же находилась густая толпа народа из всех сословий, наполнявшая собою всю площадь и ближайшие улицы». Свободной оставалась лишь площадь у самого памятника Петру I, и на ней, по словам очевидца, «беспрепятственно переходили с бульвара к сенату и обратно не только люди всякого звания, но и солдаты с фронта».

Нужно думать, что Завалишин преувеличивает, когда определяет толпу, собравшуюся на площади, в «несколько десятков тысяч», — для Петербурга того времени это было бы слишком много при всяких обстоятельствах. Но не подлежит сомнению, что на площади собрались значительные массы народа, как об этом свидетельствуют все источники, и как это подтверждает в своей записке и Николай, сообщая, что «народ прибавлялся со всех сторон». По словам Корфа, площадь представляла собой какой-то «маскарад распутства»: «Тут были люди, каких никогда не видать в Петербурге, по крайней мере, массами: старинные фризовые шинели с множеством откидных воротников; шинели гражданские, порядочные, и при них на головах мужицкие шапки; полушубки при круглых шляпах; белые полотенца вместо кушаков, и тому подобное — целый маскарад распутства, замышляющего преступление». Само собою разумеется, что никакой инсценировки «народа» не было, а «маскарад распутства» — просто клевета, пущенная Корфом. Опровергая последнего, Сутгоф утверждает, что «все были одеты прилично», а «в народе точно были

лица непрезентабельные», но такими им и полагалось быть. По словам осведомителей кн. Кочубея, в толпе было много «пришедших на работы мужиков», — это и были подлинные, не маскарадные, крестьянские полушубки и шапки.

Что же делала толпа на площади? Она меньше всего склонна была изображать статистов, безучастно наблюдающих диковинное зрелище. Сочувствие ее было явно на стороне восставших, и при том не только сочувствие, но и готовность активно их поддержать.

«Сбежалось много простого народа, и тотчас разобрали поленницу дров, которые стояли у заплота, окружающего постройки Исаакиевского собора»,— пишет в своих воспоминаниях Штейнгель. «Народ доказал свою готовность — вооружиться чем попало, — хоть поленом» — свидетельствует Розен. «Поленницы дров» да каменья — вот все, чем могла вооружиться толпа и чем она поспешила вооружиться, чтобы активно вмешаться в бунт. Когда конногвардейцы пошли атакой на восставших, их, по словам Бестужева, «встретил народ градом каменьев из мостовой и дров, находившихся за забором подле Исаакиевской церкви». «Чернь, легко наклонная к буйству и увлекаемая примером безнаказанности, из-за заборов и углов кидала в войска поленьями и каменьями», — сообщает Корф. Когда генерал Волков пошел к солдатам усовещать их, в него из-за заборов стали бросать поленья. Камнем, брошенным из толпы народа, был ранен поручик Галахов. Один из современников передает, что «с солдатами были многие охотники в партикулярном платье», которые будто даже стреляли из охотничьих ружей». Каульбарс неудачи кавалерийской атаки об'ясняет не только тем, что лошади не были перекованы и, вследствие гололедицы, падали вместе с седоками, но и, главным образом, как он пишет, тем, что все наше внимание должно было быть обращено на крышу сената: туда собралось немало народу, бомбардируя нас сверху дровами, внесенными со двора». По словам того же Каульбарса, «собравшийся у забора, окружавшего леса строившейся Исаакиевской церкви, народ, видимо, сочувствовавший бунтовщикам, встречал кирпичами всякого, кто, по его представлениям, стоял за законного государя». Доходило дело и до того, что, как свидетельствует один из современников, «некоторые подозрительные личности, прежде бросавшие в войска из-за заборов, окружавших строившийся Исаакиевский собор, поленья и каменья, стали перебегать в ряды мятежников». «Все пространство на площади, — рассказывает Завалишин, — кругом, почти около восставших войск, было наполнено битком народом, который шумел и постоянно требовал оружия для содействия восстанию и на все увещания с правительственной стороны отвечал насмешками, что «теперь, как вам приспичило, то вы лисите, а после нашего же брата в бараний рог согнете». «Посланных с увещаниями он стаскивал с лошадей и бил». Когда заметили в толпе, что какой-то полицейский что-то записывал на бумажке, раздался крик: «Шпион, братцы, шпион», и его мигом смяли.

Толпа на площади жила одной жизнью с восставшими солдатами, помогала им чем и как могла, подбодряла их, насыщала атмосферу активностью, какой вообще было не много. «Люди рабочие и разночинцы, — рассказывает

Розен,—шедшие с площади, просили меня держаться еще часок и уверяли, что все пойдет ладно». К солдатам, по словам Щепина-Ростовского, подходила «некоторые партикулярные люди», а какой-то иностранец на ломаном русском языке говорил им: «когда кавалерия уже атаку сделала, что вы сами на штыки не идете?». Приятелю Бестужева Борецкому «в двадцати углах и закоулках города» рассказывали о различных подробностях событий 14 декабря, — рассказывали и «фабричный» и «уставщик по башмачному делу» [1]. когда некоторые из офицеров об'явили народу цель восстания, — рассказывает Завалишин, — то он отвечал: «Доброе дело, господа. Кабы, отцы родные, вы нам ружья али какое ни на есть оружие дали, то мы бы вам помогли, духом все бы переворотили» и пр. На об'яснение, что при новом порядке вещей все, без из'ятия, одинаково будут нести повинности, и что тогда и солдатам можно, не ослабляя армии, значительно облегчить срок службы, в народе отвечали: «Так как же им, родным (солдатам), и не драться, — ведь, значит, за свое дело стоят».

Всего характернее, пожалуй, для настроения толпы отношение ее к особе нового царя. В своих записках Николай уверяет, что народ, увидев его, начал сбегаться к нему и кричать «ура». Однако следующее вслед за этим признание Николая, что он стал читать манифест свой, чтобы «отвлечь внимание народа чем необыкновенным», заставляет усомниться в столь восторженном отношении толпы к царю. К чему было отвлекать внимание, если бы оно было всецело сосредоточено на «обожаемом монархе»? По всей вероятности, этого не было, и «ура» народ кричал не столь восторженно. Характерны в этом отношении признания двух офицеров отдельного корпуса внутренней стражи. Один из них писал в своем донесении начальству: «Не могши иначе оказать моей преданности к государю, я кричал с войсками «ура» и, как здесь, так и на Дворцовой площади, был вблизи особы государя императора между народом, возбуждая оный кричать «ура». Другой офицер также докладывал начальству, что «возбудил стоящих в угрюмом молчании нижних чинов гвардейской артиллерии и какие-то пехотные полки на вопрос государя императора, рады ли они умереть за него, закричать радостное ура, подав сигнал к оному собственным примером». Если не только народ, но и гвардейскую артиллерию, стоявшую в угрюмом молчании, пришлось «возбуждать» к «радостному ура», то не много было готовности у солдат умереть за царя и еще меньше—восторженного преклонения перед ним у народной толпы. Так оно и было. Корф с негодованием рассказывает, что толпа, стоявшая вокруг Николая, «стала надевать шапки и смотреть с какою-то наглостью»,—толпу немедленно разогнали, а площадь оцепили кавалерийскими пикетами. Бестужев передает со слов Борецкого, как Николай уговаривал народ «разойтись по домам», и как толпа кричала ему в ответ: «Вишь, какой мяконький стал.

---

[1] Если в рассказе Борецкого и перемешана правда с фантазией, то все же характерно упоминание и о «фабричном в тиковом халате, подпоясанном ремнем», и об «уставщике по башмачному делу»: фигуры эти, во всяком случае, крепко запечатлелись в памяти Бестужева, вероятно, потому, что выделялись они и в толпе.

Не пойдем! Умрем с ними вместе». По словам принца Евгения, «собравшаяся чернь стала также принимать участие в беспорядке», при чем в принца полетели снежки, а в ад'ютантов императора — камни. И, наконец, сам Николай должен был занести в свои записки следующие строки: «Выехав на площадь, желал я осмотреть, не будет ли возможности, окружив толпу, принудить к сдаче без кровопролития. В это время сделали по мне залп; пули просвистели мне через голову и, к счастью, никого из нас не ранили; рабочие Исаакиевского собора начали кидать в нас поленьями». Поленья, которые летели в царя и его свиту, более красноречиво говорили о настроении толпы, чем «радостное ура», подстрекаемое полицейскими офицерами и партикулярными шпионами.

Характерно, что такого компетентного наблюдателя событий, как французский посол Делаферроне, всего больше поразило именно настроение толпы на площади. «Всего более, — пишет он, — поразило меня в наблюдениях за всем происшествием дня — участие, принятое в нем народом, а также переданное мне суждение, доказывающее, что стараются влиять на умы в смысле самом либеральном. Оказывается, народу внушили, будто великий князь Константин намерен дать свободу крестьянам. Крайне значительно поразившее меня презрение, выказанное этим, вообще столь склонным к предрассудкам народом к священнослужителям, в полном облачении выступившим в надежде обезоружить мятежников. Над ними едва не надругались, и они вынуждены были, во избежание худшего, поспешно удалиться». Француз, вглядываясь пристально, прежде всего, в настроение толпы, подметил в событиях 14 декабря некоторые черты, напомнившие, быть может, ему дни великой революции в его стране, и содрогался, по его словам, «при одной мысли об ужасающих насилиях, кои совершил бы этот полудикий народ в случае, если бы он был предоставлен самому себе». Вероятно, из сострадания к «полудикой» стране, Делаферроне поспешил, с своей стороны, посоветовать Николаю, пока не наступила ночь, пустить в дело пушки, — «потому, что кабаки дадут случай развернуться бунту в городе».

Угрожающее настроение толпы учел, впрочем, и сам Николай. «Надо было решиться положить сему скорый конец, иначе бунт мог сообщиться черни» — пишет Николай в своих записках, оправдывая необходимость артиллерийским огнем ликвидировать восстание. Если положение правительственных войск, в течение почти всего дня 14 декабря, оставалось невыгодным, то оно могло стать вполне безнадежным при активном вмешательстве «черни» и при наличности должного руководства восстанием. Николай видел эту угрозу и потому поспешил действовать решительно, как только этому представилась возможность с прибытием артиллерии.

Спустя много лет должны были признать и декабристы большую роль, какую могли сыграть в восстании народные массы. «Всего было на Сенатской площади, в рядах восстания, больше 2.000 солдат, — пишет в своих воспоминаниях Розен. — Эта сила в руках одного начальника, в виду собравшегося тысячами вокруг народа, готового содействовать, могла бы все решить». «Две тысячи солдат и вдесятеро больше народа были готовы на все по манове-

нию начальника», — добавляет он. «Расположение народа было несомненно, и он, действительно, мог бы оказать значительную помощь восстанию», — пишет Завалишин, по словам которого, некоторые будто предлагали «вести отдельные толпы народа под руководством небольших военных отрядов сначала на оружейные лавки и на арсенал, для того, чтобы овладеть оружием, а потом сделать нападение на общественные здания и овладеть банком и пр.». Однако вооружение народа было отвергнуто на том основании, что это даст народу «скорее только случай к грабежу и насилию», а в оправдание этих опасений ссылались на то, что народ, требуя оружия, прибавлял: «Мы вам весь Петербург в полчаса вверх дном перевернем».

Завалишин не разделяет этих опасений в воспоминаниях своих, написанных спустя почти полвека, как иначе стали смотреть на дело и другие декабристы после того, как в долгие годы совместного заключения получили возможность критически пересмотреть свою тактику в подготовке восстания. Возможно, что некоторые из них, как уверяет Завалишин, склонны были и в день 14 декабря действовать более решительно. Но идея народного восстания и народного вооружения была все же вполне чужда декабристам. Кажется, один только Батенков, когда обсуждался план восстания, предлагал «в барабан приударить потому, что это сберет народ». Декабристам не удалось сплотить даже свое основное ядро, не сумели они направить в интересах восстания настроение солдат, — тем менее по плечу им были задачи вовлечения в движение народных масс.

III.

Чем дальше от места событий, тем менее отчетлив был отклик на восстание 14 декабря. Если в Петербурге толпа непосредственно наблюдала восстание, находилась в общении с солдатами, от которых узнавала, чем все это вызвано, и тут же определяла к нему свое отношение, то крепостная деревня должна была питаться смутными слухами, по своему толковать их, по своему приспособлять их к своей незатихавшей борьбе за раскрепощение.

А слухами была тогда полна Россия. По словам одного современника, слухи были столь «положительны», что в Москве «ожидали всякий день с юга новых Минина и Пожарского». Михайловский-Данилевский, проживавший в Кременчуге, писал в своем дневнике о слухах в связи с декабрьским восстанием: «Если сии вести дошли до меня, жившего на берегах Днепра, то они должны были вскоре достигнуть до пределов Черного, Азовского и Каспийского морей, обитаемых казаками, раскольниками, бродягами, беглецами и полудикими, словом, людьми без веры, без нравственности, ожесточенными во многих отношениях против России. Кто мог ручаться, что слухи сии не произведут волнения между сими людьми и особенно между находящимися посреди их поселенными войсками, коих ненависть к положению их ни для правительства, ни для частных людей не была тайною?» Опасения в такой мере, в какой они представлялись Данилевскому, не оправдались: слухи о петербургских событиях, быть может, и дошли до окраинного населения, «оже-

сточенного против России», но волнений там не вызвали. В других местах слухи возымели свое действие, и, как бы в отклик на провинциальные толки, управляющий министерством иностранных дел Дивов мог записать в свой дневник под 5 апреля 1826 г.: «Ходят слухи о возмущении крестьян в разных губерниях, которые отказываются платить подати помещикам, говоря, что покойный император дал им свободу, а ныне царствующий император не хочет этого исполнить. Подобные случаи несомненно являются последствием заговора 14 декабря». Предположения Дивова — и, вероятно, не одного его, а правительственных верхов — оправдались полностью. Слухи о событиях 14 декабря дошли до деревни и вызвали своеобразное движение среди крестьян.

В пояснение причин волнений рабочих бумажной фабрики кн. Гагарина в начале 1826 г., ярославский губернатор писал в Петербург: «Со времени бывших происшествий в С.-Петербурге в декабре месяце, различные нелепые слухи в народе, действительно, распространялись и распространяются. Слухи эти в Ярославской губернии более, нежели в другой, имеют возможность доходить и сосредоточиваться во мнении народа, ибо треть жителей губернии, находясь беспрестанно в отлучке по торговле и промыслам, большею частью проживает в С.-Петербурге и Москве; из сих мест, возвращаясь в домы свои, приносят вести, часто самые нелепые, среди собратий своих доверия заслуживающие. Сии-то люди, приходящие из столиц, распространяли слухи между помещичьими крестьянами о мнимо ожидаемой к весне вольности, а между казенными крестьянами и прочими состояниями, что все недоимки прощены будут». Повидимому, губернатор правильно подметил источник распространения слухов, — последние приносились рабочими и крестьянами, побывавшими на отходе в столицах. По данным Игнатович, из 48 крестьянских волнений 1826 года, больше половины (28) приходятся на зимние и весенние месяцы, а наибольшее их количество падает на апрель, т.-е. на время начала полевых работ, когда крестьяне возвращались из отхода в деревни. Нужно думать, что немалую роль в распространении слухов сыграли и те работники, которые находились 14 декабря на петербургских площадях.

Обстановка многих из этих волнений указывает на связь их со слухами о воле, родившимися в непосредственной связи с движением декабристов. Работники гагаринской фабрики прямо ссылались на события 14 декабря: по их словам, царь хочет дать крестьянам волю, почему «взбунтовались дворяне», в которых царь и велел палить из пушек. Крестьяне отправили в Петербург ходоков, решив «до получения великих государевых милостей в повиновение не обращаться и стоять друг за друга», в подкрепление чего отслужили молебен и целовали крест. Когда на место прибыл губернатор с двумя ротами солдат, крестьяне сперва отказались собраться в назначенном им месте и вышли только после угрозы применить к ним «строжайшие меры». Однако на внушения губернатора крестьяне настойчиво отвечали, что «ожидают милости от великого государя». В Вологодской губернии, по словам губернатора, «с некоторого времени между помещичьими крестьянами распространились толки, якобы они взяты будут в казну, а потому якобы и оброков помещикам платить

не следует»; несмотря на принятые меры против тех, кто распространял слухи, дворяне жаловались на «отягощение от распространения в народе духа неповиновения», а в нескольких имениях крестьяне прекратили платеж податей и отказались от повиновения помещикам. В Тверской губернии были случаи, когда крестьяне отказывались платить оброк, выполнять господские работы и «с дерзостью, настоятельным образом» требовали от помещиков содержания, несмотря на то, что хлеб свой продавали на сторону; «неповиновение» и здесь было вызвано слухами, что крестьяне будут взяты в казну.

Зимой 1826 года несколько крестьян помещика Ноинского (в Псковской губернии) возвратились из Петербурга и рассказывали, что помещики Ноинский и Цеэ арестованы и сосланы в Сибирь, а царь обещал дать вольность всем крестьянам, которые заявят неудовольствие на своих помещиков. По деревням начались совещания, сходки, в результате которых отправили 14 ходоков к царю с прошением. В имении Цеэ нашлась кучка смельчаков, готовых защищать дарованную вольность. Прибывшая в имение воинская команда окружила дом, в котором собирались крестьяне для совещаний. Находившиеся в доме сорок крестьян, имевшие некоторое оружие, забаррикадировались и продержались три дня, отрезанные от внешнего мира и лишенные с'естных припасов. На третий день, вечером, «товарищи оных бунтовщиков, между коими даже были и жены некоторых», решив притти на помощь осажденным, подожгли соседний сарай, в надежде, что воинская команда будет отвлечена пожаром, и осажденные успеют скрыться. Однако команде было приказано оставаться на месте. Тогда осажденные попытались пробиться с оружием в руках, а, в помощь им, находившиеся на свободе напали на солдат с тыла. При столкновении этом перевес оказался на стороне солдат, и волнение было подавлено. В имении Ноинского крестьяне, вооруженные ружьями, пиками и дубинами, готовились к сопротивлению, но отступили перед многочисленным воинским отрядом.

В имении Пономаревой (Ярославской губ.) весть о воле принес крестьянин Данилов, вернувшийся с заработков из Петербурга перед рождеством 1825 г. Данилов рассказывал, что побывал в столице у бывшего владельца имения Нелединского-Мелецкого, который советовал подать царю прошение с жалобой на отягощение оброками и на отрезку земли, при чем говорил, что, может быть, бог «подаст им счастье быть вольными», и даже пообещал помочь в отыскании воли. Крестьяне отнеслись ко всем этим вестям с доверием, послали к Нелединскому-Мелецкому ходоков, чтобы проверить рассказы Данилова, поручив ходокам хлопотать в Петербурге о воле. А затем крестьяне обратились к Пономаревой с просьбой вернуть им отрезанные земли, выдать хлеб на продовольствие и обсеменение, возвратить овес, взятый в зачет оброка. Помещица согласилась лишь на возвращение земли, но крестьяне земли не взяли, заявив, что не приступят к обработке ее до возвращения ходоков. Крестьяне стойко проводили это мирское решение и вообще держались очень дружно. К «повиновению» они были приведены вооруженной силой.

Если в северных губерниях волнения происходили в связи с петербургскими событиями 14 декабря, о которых толковали слухи, исходившие от

возвращавшихся с заработков крестьян, то на юге источником их служило восстание Черниговского полка. Ближайшие к Василькову деревни были непосредственными свидетелями этого восстания, — оно происходило на глазах местных крестьян, которые и вообще находились в тесной связи с солдатами, расквартированными по селам. О пребывании отряда Муравьева в с. Мотовиловке Горбачевский пишет в своих воспоминаниях: «Об'езжая караулы, Муравьев был окружен народом, возвращавшимся из церкви. Добрые крестьяне радостно приветствовали его с новым годом, желали ему счастья, повторяли беспрестанно: «Да поможет тебе бог, добрый наш полковник, избавитель наш!» С. Муравьев тронут был до слез, благодарил крестьян, говорил им, что он радостно умрет за малейшее для них облегчение, что солдаты и офицеры готовы за них пожертвовать собой и не требуют от них никакой награды, кроме их любви, которую постараются заслужить. Казалось, крестьяне, при всей их необразованности, понимали, какие выгоды могут иметь от успехов Муравьева; они радушно принимали его солдат, заботились о них и снабжали всем в избытке, видя в них не постояльцев, а защитников». С явным сочувствием относились к восстанию и крестьяне тех мест, которые были ближе всего к району движения Муравьевского отряда. Михайловский-Данилевский отмечает в своем дневнике, что, когда Муравьев приближался к Белой Церкви, его там «ожидали, чтобы с ним соединиться, четыре тысячи недовольных своим положением, это были, большею частью, старинные малороссийские казаки, которых Браницкая укрепила за собой несправедливым образом». И, действительно, при расследовании слухов о возможном волнении крестьян имений Браницкой в марте 1826 года, одна из крестьянок ссылалась на разговоры гусар, которые, будучи в карауле при арестованных солдатах Черниговского полка, говорили, что много полков взбунтовалось, придут в Белую Церковь и начнуть резать панов, а другой свидетель ссылался на слова, которые он слышал от крестьян, что «когда бы солдаты Черниговского полка пришли прямо в Белую Церковь, то зараз бы и они явились к ним на помощь и начали бы свое дело». От этих крестьян весть о муравьевском восстании шла дальше, распространялась она и солдатами как Черниговского, так и других полков.

В материалах, собранных Иконниковым, приводятся случаи распространения солдатами слухов о восстании по многим уездам Киевской губернии. То там, то здесь крестьяне, со слов солдат, начинают толковать о том, что близок день, когда станут «резать панов и жидов». «Коли б бог дал скоро велик день, вырежем панов, чтобы их не было», — говорили крестьяне Белоцерковского уезда, ссылаясь на слова солдат. В Уманском уезде, при расследовании слухов о предстоящей «резне панов», выяснилось, что главную роль в распространении их играл солдат Степаненко, который, придя за фуражем, рассказывал, что будет беда, и неизвестно, кто еще доживет до пасхи, а слышал это «близ Тульчина», т.-е. в месте ареста Пестеля. В Таращанском уезде слухи распространялись со слов будто бы проезжавшего офицера. В апреле 1826 г. солдат Днепровского полка Семенов, возвращаясь из Орловской губернии в свой полк, стал выдавать себя за майора, посланного государем арестовывать помещиков. Раз'езжая по селам Уманского уезда, Семенов ссы-

лался на имеющийся у него царский указ и говорил, что ему велено забирать панов по всей Киевской губернии и отправлять их в Петербург, арестовывал экономов, наказывал управителей, а крестьян освобождал от барщины. В связи с агитацией этого самозванца, стали циркулировать слухи о том, что крестьяне собираются в первый день пасхи вырезать помещиков и евреев. В Подольской губернии крестьянские волнения связывались с появлением какого-то неизвестного, который называл себя «посланным из Варшавы» (т.-е. от Константина) и «внушал помещичьим крестьянам слепые уверения насчет вольности их подданства». Вскоре по дороге в Херсон был арестован Окулов, который выдавал себя за «фискала», посланного Константином, и говорил крестьянам, что они будут отобраны от помещиков, а последние будут сосланы в Сибирь.

Такими слухами были полны Киевская и Подольская губернии. Говорили, что священники получили указы, в которых им повелевалось закончить исповедь прихожан к великому четвергу и освятить в этот день пасхи, так как в первый день пасхи все церкви должны быть запечатаны, и все крестьяне обязаны итти истреблять панов. В Уманском уезде рассказывали о появлении сына Гонты, который разослал помещикам приказ отдать всю землю крестьянам и самим выехать в Варшаву. В Яблоновке (Таращанского уезда) крестьяне хвалились, что они «достанут» на сколько угодно человек оружия, а в Сирковцах (того же уезда) составляли даже списки ополчения.

IV.

Приведенные, далеко не в исчерпывающей полноте, данные позволяют, кажется, с достаточным основанием отнести к легендам все утверждения о «безучастии» народных масс к движению декабристов. Число крестьянских волнений, связанных со слухами о восстании, было, несомненно, многим больше того, которое пока зарегистрировано в литературе,—о нем мы узнаем, когда приступлено будет к разработке провинциальных архивов. И если, с другой стороны, внести даже некоторые поправки в суждения современников о поведении столичной толпы, то и в таком случае останется вполне выразительная картина активности, направленной в сторону поддержки восстания и не совсем укладывающейся в представление о беспросветной темноте толпы и солдат, способной лишь усвоить легенду о «добром» Константине и не менее народолюбивой супруге его «Конституции». Напротив, многое уже теперь говорит за то, — а дальнейшее опубликование архивных материалов еще больше это подтвердит, — что социальная база движения могла бы быть расширена, если бы декабристы были способны ее расширить.

Народные массы вовсе не остались равнодушны к тому, что происходило на их глазах или о чем доходили до них слухи, и пассивности совсем не обнаружили. Разумеется, ни солдаты, ни «чернь», ни крестьяне не читали «Русской Правды», не знакомились с проектами конституции, до них не доходили горячие речи участников тайных обществ. Но они страдали своим горем, жили под гнетом своей нужды, жаждали по своему новой жизни и, затронутые

даже сторонкой движением декабристов, проявили всю ту активность, какую могли проявить в данной обстановке, обнаружив, вместе с тем, что не для всех и не все в этом движении было чуждым и непонятным.

Солдатская масса в основе своей была массой крестьянской. И эти крестьяне в мундирах солдат гвардейских и негвардейских полков были втянуты в движение, во всяком случае, не только «обманом», не только игрой на лояльности принесенной присяги. Не говоря о волнениях в Семеновском полку, которые свидетельствовали о настроении солдат, независимо от какой-либо присяги, одна уже агитация южных групп, развивавшаяся с успехом еще до смерти Александра I и, стало быть, не связанная с вопросами престолонаследия, не менее убедительно опровергает мнение о пассивности солдат и слепой вере их в «добрых» офицеров. Если в Петербурге агитация коснулась солдат слабо, то на юге она проникла в солдатские массы довольно глубоко. И Сергей Муравьев, и Бестужев-Рюмин, и Фурманов, как многие другие и, в особенности, «славяне», будили в солдатах протест против жестокого казарменного порядка, против крепостничества и солдатского, и крестьянского, связывая невзгоды и крестьянской и солдатской жизни с режимом самодержавия. Рядовой Анойченко с товарищами понимали, что дело идет о «бунте против царской власти», музыкантский староста Дрейзи и унтер-офицер Филатов уверяли, что посеянное Пестелем должно взойти и взойдет непременно,—значит, слова декабристов падали на несовсем безнадежную почву. Если так понимали дело солдаты, более близко стоявшие к декабристам, то это понимание они несли дальше в солдатскую среду, возбуждая в беседах острые вопросы солдатско-крестьянской жизни. Иначе — откуда бы взялись эти беседы караульных — о них рассказал Ракуза — дождаться весны, бежать в леса, чтобы там «собраться», откуда и все эти слухи, которые разносились солдатами по деревням и прямой вывод из которых сводился к тому, что нужно резать «панов и жидов»? Все это источником своим имело настроение солдат, на почве которых пользовалась успехом агитация декабристов, беседы их, речи о том, что солдатам будет сокращена служба, а крестьяне будут избавлены от рабства. Именно за это готовы были восстать и восставали солдаты, даже в том случае, когда в дело примешивалось имя Константина, в котором хотелось видеть царя, готового дать волю.

Во имя воли готово было подняться и крепостное крестьянство. В крестьянских волнениях на севере, как и на юге, «константиновская легенда» играла относительно скромную роль. Если были случаи, когда крестьяне связывали свои надежды на волю определенно с именем Константина, то не меньше было таких случаев, когда этой связи совсем не наблюдалось: в Киевской губернии, в большинстве случаев, крестьянские настроения связывались со слухами о солдатском восстании и с надеждой на это восстание. Всегда же и неизменно, в какой бы версии ни доходили до деревни слухи, крестьяне связывали их с тем, что неотступно над ними тяготело — с рабством их, с тягостью крепостных работ, с развалом и неустойчивостью их хозяйства. Если арестовывали помещика, заподозренного в участии в заговоре декабристов, это вызывало радость и наивную веру, что избавление от поме-

щика будет и избавлением от рабства. Если доходил слух, что «взбунтовались дворяне», ненависть к помещикам подсказывала мысль о том, что бунт этот направлен против царя не иначе, как потому, что царь хочет дать крестьянам волю. Если бунтуют солдаты, — естественно, бунт их направлен против ненавистных «панов», которых и крестьянам надлежит немедля «резать». Все пути вели к одному, и пути эти — окольные, далекие от движения декабристов. Тем более достойно внимания, что не вся крепостная деревня, сплошь и безраздельно, способна была видеть в декабристах только дворян, взбунтовавшихся против «милостивого» для крестьян государя. Мотовиловские крестьяне видели в Муравьеве своего избавителя и понимали, какие выгоды может им принести успех восстания. Волнения крестьян помещицы Пономаревой связаны были с рассказами Данилова о посещении им Нелединского-Мелецкого, который, повидимому, сочувствовал декабристам и обещал помочь крестьянам в отыскании воли. В 1827 г. один крестьянин Московской губернии говорил невесте декабриста Анненкова: «Ведь, я знаю, чего они хотели: господа-то хотели свободы нашей, свободы крестьян». Когда осужденные декабристы, по дороге в Сибирь, остановились в Ярославле, на площади собралось так много народа, что начальству пришлось принять меры предосторожности: дом был оцеплен жандармами, а через город тройки мчались с быстротой птицы. Один из декабристов едва успел поднять руку, чтобы снять шляпу, как вся толпа обнажила головы. «О народной мести — замечает один из свидетелей этой сцены — и речи не могло быть». Могли бы иметь место подобного рода факты, если бы все крестьяне смотрели на декабристов только как на защитников крепостного права и врагов воли? Но если даже исходить только из преобладавшего характера крестьянских волнений, когда последние связывались со слухами о воле, то не трудно подметить и в них новые черты. Это не только обычные слухи о близкой свободе, возникавшие почти всякий раз с переменой царствования. В северных губерниях слухи связываются с толками о каком-то загадочном столичном бунте, в южных — прямым источником является восстание Черниговского полка. Крестьяне не только говорят о том, что снова воли можно ожидать от «милостивого государя», их надежды связываются не только с ожиданием «указа» и «манифеста», — они действуют, а на юге совсем не далеки и от восстания. Настроение крестьянства достигает такого напряжения, какого давно не было, лучшим свидетельством чего может служить появление в разных местах самозванцев, не только в Киевской и Подольской губерниях, но, по словам Виттенштейна, и «во многих других губерниях». Напряженное состояние деревни передается и правительству, которое принимает ряд мер предупредительного характера, а 12 мая 1826 года Николай издает особый манифест, которым слухи о воле об'являются «ложными, выдуманными и разглашаемыми злонамеренными людьми» и крестьянам приказывается беспрекословно повиноваться помещикам. Однако уже в декабре 1926 г. учреждается особый секретный комитет по крестьянскому делу, и если в одном из первых заседаний комитета был доложен «свод показаний членов злоумышленного общества о внутреннем состоянии государства», то нужно думать, самое учреждение комитета было

вызвано в такой же мере восстанием декабристов, как и крестьянскими волнениями, явившимися отголоском последнего. Само собою разумеется, что связывать непосредственно все крестьянские волнения этого времени с движением декабристов не приходится. Но в новой обстановке, как кризиса крепостного хозяйства, так и восстания декабристов, крестьянское движение могло получить новый размах, и искра, брошенная в крестьянство, могла бы разгореться в настоящее пламя. За настроениями крестьянства, во всяком случае, остановки не было.

Что представляла собою та «чернь», которая проявила такую активность на Сенатской площади 14 декабря?

Значительную часть ее составляли строительные и прочие рабочие. Крепостной рабочий еще далеко не промышленный пролетарий, каким он сложился впоследствии, при развитых капиталистических отношениях. Рабочий крепостного времени—по основным настроениям своим—тот же крепостной крестьянин: над ним тяготеет то же крепостное право, в фабриканте он видит «господина» своего, но не капиталиста; отношения между трудом и капиталом вполне заглушаются господствующими крепостническими отношениями. Но крепостной рабочий выделяется из всей крестьянской массы, как более сознательный, передовой и активный отряд ее, подвинувшийся в своем развитии в результате как фабрично-заводской работы, так и городской жизни. Крепостной рабочий больше понимает, больше видит и на большее смеет. Характерно, что уже в первой половине XVIII века даже планы дворцового переворота связываются с надеждами на фабрично-заводских рабочих, как на элемент более активный [1]). Известна и та активная роль, какую горнозаводские рабочие Урала сыграли в восстании Пугачева. И теперь на Сенатской площади рабочие определенно становятся на сторону восставших солдат, вооружаются поленьями и камнями, отражают вместе с солдатами атаки кавалерии, не только не «ломают шапок» перед Николаем, но бросают в него дровами. Если, как это рассказывает Завалишин, и высказывалась мысль о том, чтобы вести народ в арсенал для захвата оружия, то, прежде всего, это могло иметь в виду рабочих, проявлявших активность по собственному почину.

В толпе, достигавшей нескольких тысяч, были, однако, не одни рабочие. К месту восстания стекались любопытные со всех концов города; были среди них и торговцы и мелкие лавочники, — вообще, люд торговый. О настроениях этих «низших классов» мы имеем свидетельство одного из видных чинов

---

[1]) В 1749 году «праздношатающийся» подпоручик Батурин, для поправления дел своих, задумал государственный переворот с низложением Елисаветы Петровны и с возведением на престол великого князя Петра Федоровича. Батурин посвятил в свои планы нескольких офицеров, двух гренадер, двух пикеров дворцовой охраны и «суконщика» Кеншина. Батурин хвалился, что у него фабричных с тридцать тысяч, что он с ними нагрянет ночью во дворец, арестует государыню и весь двор. Характернее всего, что суконщик Кеншин доверился авантюристу и начал подговаривать фабричных к перевороту, что, по его словам, было сделать легко, потому что «все суконщики да и другие фабричные были обижены своими хозяевами, которые не выплачивали им задельных денег» (Соловьев, История России, т. XXIII, М. 1873, стр. 208—211).

III отделения: «Низшие классы общества, думавшие прежде только о своих собственных делах,—пишет он,—анализируют в настоящее время все правительственные распоряжения, и от этого происходит то, что за ними теперь труднее следить» [1]). Это относится, прежде всего, к фабрикантам и торговцам, мелким и крупным, которые переживали не столь веселые дни, ввиду, как свежих еще ран, нанесенных торговле и промышленности наполеоновской войной, так и, в особенности, таможенного тарифа. «Громкий ропот доносится с Биржи и Гостиного Двора,—читаем в свидетельстве одного из осведомителей министерства внутренних дел. — Все, кто занимается торговлей, исключая некоторых барышников, находящихся под покровительством, негодуют на таможенные законы и, еще более, на способ проведения их. Никогда еще не было таких стеснений в торговле... Настроение низших классов населения очень неспокойное» [2]). Купец Егор Полилов занес в свои записки следующие строки, относящиеся к 14 декабря: «Разговоры идут разные, но говорить опасливо. Войско взбунтовалось. Палили у сената из пушек, перебили немало народу, толкуют разно». Купец пишет осторожно, не доверяя своих мыслей бумаге: разно толкуют, а о чем — говорить опасно. Очевидно, речи раздавались не совсем благонамеренные. Сам Егор Полилов, узнав от сынишки о том, что происходит на площади, поспешил туда, а затем в кругу купечества и слыхал разговоры разные, в которых не все было враждебно декабристам. События 14 декабря могли найти сочувственный отклик и в этой среде, недовольство которой совсем не было чуждо настроениям декабристов, не в малой мере его отражавшим.

Был и в толпе, и среди солдат еще один элемент, на долю которого, быть может, выпала невидная, но активная роль в восстании. Мы уже упоминали о нем, это—«разночинец». Тайные общества декабристов разночинца не знали, — некоторое приближение к нему составляли члены «Общества Соединенных славян» из мелко-поместных дворян, но офицерство накладывало на них свою печать и сближало их с дворянскими верхами гвардейского офицерства, этим основным ядром декабристов. Но, за пределами тайных обществ, разночинец, не связанный с дворянством и настроенный активно, несомненно существовал. Мы приводили свидетельство Каразина о том, что среди солдат были «бойкие семинаристы» и «господские люди», и видели, что прокламации к семеновским солдатам скорее всего могли исходить из этой разночинной среды. К «Обществу военных друзей» имели отношение: канцелярский регистратор, канцелярист, штаб-лекарь, ученик гимназии [3]). Многие из

---

[1]) «Русская Старина», 1881, № 12, стр. 538.

[2]) В 1831 г. к торжественному обеду во дворце были приглашены некоторые крупные фабриканты, которые, в беседе с Николаем, жаловались на слишком невыгодный для них тариф. Николай утешал фабрикантов тем, что пошлины будут повышены, а ввоз некоторых товаров совсем будет воспрещен (См. «Николай I и московское купечество», — «Русск. Стар.», 1886, т. 51, стр. 577). Жалобы такого рода беспрестанно раздавались как в годы, предшествовавшие движению декабристов, так и в последующее время.

[3]) Материалы, т. VIII, стр. 233 и след.

современников рассказывают о людях в «партикулярном платье», которые были в толпе и проявляли наибольшую активность, — очевидно, это были не только немногие декабристы из статских, как Кюхельбекер, Каховский и Рылеев, а Розен определенно выделяет в толпе разночинцев. Характерна фигура и приятеля Бестужева — Борецкого, увлекавшегося театром, бросившего горный корпус, вступившего в 1812 году в армию, а затем ставшего второстепенным актером. 14 декабря он провел на площади, остро переживая моменты под'ема и падения восстания. «Народ как есть вплотную запрудил всю площадь и волновался, как бурное море,—рассказывал Борецкий Бестужеву.—Я находился в каком-то чаду, в каком-то моральном опьянении, поочередно увлекая толпу и увлекаясь ею». Не было ли на площади и других таких же Борецких, то увлекавших толпу, то увлекавшихся ею? Не были ли эти разночинцы, люди новых настроений и новой активности, рассеяны по полкам, помогая осмыслить солдатам события? Ведь, тип разночинца, начавший определенно складываться в последующее десятилетие, не народился же сразу, вне всякой преемственности с общественным развитием предшествовавшего времени. Ведь, отслоение лучшей части дворянской молодежи, которой, как Герцену, казалось, что из нее выйдет «фаланга, которая пойдет вслед за Пестелем и Рылеевым», началось также не сразу под магическим воздействием восстания декабристов. Годы, предшествовавшие 14 декабря, со встряскою войны 1812 г., с глубоко и быстро происходившей общественной дифференциацией, с ростом купеческого капитала и переходом крестьянской верхушки в купечество, с расслоением в среде самого дворянства, были как раз благоприятны для того, чтобы появились первые пласты разночинной интеллигенции, не связанной с дворянством, но, наоборот, связанной с новыми буржуазными тенденциями общественного развития, и враждебной старому, дворянскому порядку. Как Борецкий в толпе, как рядовой Луцкий из «обер-офицерских детей» и как многие другие безвестные, эти разночинцы могли быть активными участниками движения, увлекая, по мере возможности, за собою и «чернь», и солдат.

Конечно, все это — только намеки. Но «намеками», в конце концов, полно все движение декабристов. Тайные общества — намек на революционные организации, восстание 14 декабря — намек на действительное вооруженное восстание, агитация декабристов среди солдат — намек на действительно массовую агитацию, да и в поведении декабристов весьма многое — только намек на поведение революционных борцов. По сравнению с такого рода, так сказать, кардинальными намеками, нет ничего удивительного в том, что участие солдат в восстании, несмотря на всю свою активность, было намеком на подлинное солдатское восстание, что в намеке вырисовывается роль разночинца, будущего революционного интеллигента, что крестьянские волнения — намек на крестьянское восстание. Движение декабристов, впервые поставившее в порядок дня свержение самодержавия, играло разными цветами, положило зародыш многому из того, что развилось в будущем, и свелось оно ко многим «намекам» потому, что к тому времени еще далеки от зрелого состояния были те общественные силы, которые могли бы стать силой рев

люционной, потому, что не сложились еще те новые общественные классы, которые могли бы разрушить старый дворянско-крепостнический порядок. Движение декабристов было, поэтому, больше симптомом глубокого внутреннего процесса общественного перерождения, отзвуком бурной, вулканической работы «подземных» сил, рождавших новое капиталистическое общество. И едва ли мы далеко отойдем от действительности, если скажем, что самым значительным в этих отзвуках было движение народных масс, которые одни только проявили активность в самом восстании, как одни только активно на него откликнулись.

Свеаборгское восстание.

(Из воспоминаний).

Н. М. Федоровский (Степан).

Я приехал в Финляндию из Петербурга в апреле 1906 г. по вызову военной организации. Явка была в Гельсингфорсе. Я застал там т.т. Валентина (Воронский), с которым я работал в 1905 г. в Василеостровском районе Петербурга, затем Дмитрия (Пигит), работавшего, главным образом, в гарнизонах северных городов Финляндии, Георгия (фамилии его не помню), Воробьева, учившегося тогда в Гельсингфорской гимназии; организатором я застал т. Седого (Литвина), сменившегося затем посланным из центра т. Анатолием (Трилиссер). В качестве раз'ездного агитатора работал т. Христиан. Из солдат деятельным пропагандистом был вольноопределяющийся стрелкового полка т. Пластинин, а также т. Магомет, бежавший солдат из Усть-Двинской крепости и живший нелегально.

Военная организация имела связь со всеми крупными войсковыми частями, в каждом полку, почти в каждой роте был организован коллектив, распределявший литературу и завязывавший новые связи. Нами издавалась газета «Вестник Казармы», которую печатал типографский рабочий т. Василий, приехавший к нам из Екатеринослава. Печатали на обыкновенной американке. В редакционном комитете были я и сочувствующий нам штабс-капитан крепостной артиллерии Цион, сыгравший в дальнейшем позорную роль в самом восстании.

Военная организация имела центральную группу, находившуюся в Гельсингфорсе, и ее ответвления в крупнейших городах Финляндии — Выборге, Або и др. В Выборге работали т. Нестор и т. Зина, также приехавшие из Василеостровского района Петербурга. Для решения общих вопросов собирались конференции, происходившие обычно за городом или в кофейных.

Агитация и пропаганда начались приблизительно с января 1906 года и к моему приезду уже была широко распространена, а к началу Свеаборгского восстания она фактически охватывала все войска и суда флота, стоявшие у берегов Финляндии.

В организации также участвовали офицеры из Свеаборгского гарнизона т.т. Емельянов и Коханский, расстрелянные потом по постановлению военного суда за участие в восстании.

Нами были выработаны планы совместного наступления пехотных войск с флотом на Петербург и было много шансов на то, что это могло удаться, так как на каждом крупном судне был судовой комитет из матросов, находившийся с нами в тесной связи.

Восстание вспыхнуло преждевременно и вопреки нашего желания, так как мы всеми силами сдерживали революционный напор массы, ожидая какого-либо удачного момента.

Автор нашел записки об этих днях, написанные под свежим впечатлением к концу 1906 года, и публикует здесь часть из них.

Глава I.

В июне положение дел становилось все более и более натянутым. Особенно в крепости. Начальство переходило от предупредительных мер к решительным, но пока еще нащупывало почву. В крепости было 10 рот артиллерии, 10 рот пехоты и человек 200 минеров. Артиллеристы, сами по себе, народ развитой под влиянием устной и письменной агитации, были необыкновенно революционно настроены, а о минерах нечего и говорить, реакционной оставалась одна пехота. Пехотинцы очень мало поддавались воздействию со стороны нашей организации. Целый день их морили на ученьи, оскорблений и побоев они выносили довольно, и строгость их казарменного режима несравнима была с артиллерийской вольностью. В последнее время комендант начал отличать этих своих верных подданных, слово «голубчики-пехотинцы» не сходило с его языка. Даже, как говорят, устраивал для них вечера.

Время было очень беспокойное; перед роспуском думы, правительство дало инструкции военным властям. Комендант для того, чтобы окончательно и раз навсегда очистить крепость от «вредных элементов», решил прибегнуть к провокации. В одно прекрасное утро мы не досчитались многих товарищей из нашего крепостного центрального комитета. Сначала думали, что они ушли, но люди, увозившие их на лодках на место заключения, рассказывали в чем дело: рано утром, часа в четыре, их разбудили отдельно ото всех и повели в канцелярию «по делам». Оттуда они уже не вернулись. Волнение поднялось сильное. «Не выдавать товарищей, не выдавать, — передавалось из уст в уста. — Забастуем». Число заключенных сильно преувеличивалось, говорили, что арестован весь «центральный комитет» — около 50 человек. В город был отправлен к с.-д. организации вестник с просьбой помочь и направить движение к какой-нибудь цели.

Организация согласилась с нашими планами мирной забастовки для освобождения товарищей и в этом смысле выпустила листки. Но сведения оказались неверными, арестованных было всего человек 11, притом обвинения никакого не было серьезного. Очевидно, это был пробный шар. Двое наших (с.-д.) офицеров Емельянов и Коханский уговаривали солдат не бастовать, ждать более удобного момента и ручались, что товарищей скоро выпустят. Это подействовало, и все успокоились. Действительно, товарищи скоро были освобождены, и дело затихло.

9 июля организация приглашала нас на митинг в парке «Гесперия». Должны были быть члены государственной думы. Но приглашение частью не дошло, частью не могло быть использовано. Надо сказать (что особенно важно для дальнейшего) связь с.-д. организации с крепостью вдруг порвалась. В центральной группе ВО в Гельсингфорсе был один штабс-капитан Цион. Как раз к этому времени он вследствие причин демагогического характера (желал ввести в организацию капральную каску) разошелся с организацией. Раньше он оказывал много услуг и через него велись связи с крепостью, теперь, будучи человеком беспринципным, он передал все связи эсерам, которые к тому времени прибыли в Гельсингфорс. Все свое личное влияние, довольно большое, как офицера, он употребил на дискредитирование с.-д. организации и внес полнейшую дезорганизацию и в без того затруднительные сношения с крепостью.

На митинг попал только я. Это был самый грандиозный митинг, который мне удалось видеть в Финляндии, и какая масса была военных! Всюду мелькали белые фуражки стрелкок, матросские ленты и даже жандармские эксельбанты. Кругом на лужайках под деревьями расположились массами финские рабочие, русские солдаты тесно окружали трибуну, над которой развевалось знамя с.-д.

Из членов государственной думы явился один Михайличенко и с ним писатель Андреев. Их украсили венками и полились длинные речи. Михайличенко говорил очень просто, как самый обыкновенный рабочий, и его слова находили отклик в солдатах; но особенной революционности еще не замечалось. Митинг приходил к концу, но вдруг Михайличенко взволнованный всходит опять на трибуну. «Товарищи, — глухо говорит его голос, — сейчас получена телеграмма о роспуске государственной думы, вот она, это новый вызов русскому народу и народ его не оставит без ответа. Может быть сегодня, а может быть завтра в России начнется революция. Сегодня же я уезжаю, каждый из нас должен быть на своем посту; обращаюсь к вам, финские граждане и русские солдаты, поддержите народных избранников в их борьбе с царским правительством».

Гул голосов прошел по толпе. Зазвучали другие речи.

После роспуска думы тревожные слухи волновали начальствующие сферы. Для солдат дума была какой-то непонятной фигурой в тумане, о которой говорят им их командиры и... крамольники. Ничего реального для солдатской массы она не представляла. Для крестьян и рабочих дума могла существовать хотя бы как трибуна вольного слова, до солдат оно почти не доходило. Легального пути в казармы дума проложить не могла, а нелегальный был узок. Крестьяне выбирали депутатов, слали свои наказы. Депутаты раз'езжали по городам и весям. Казармы же стояли далеко, пути туда были заказаны, и финляндский митинг в Гесперия представлял в этом смысле счастливое исключение. Но военные власти были встревожены, им чудилось возмущенье, даже там, где его не было. Стоит вспомнить приказ морского министра стрелять из кронштадтских батарей по каждому проходящему судну.

Комендант Свеаборга получил тоже сведения о переходе эскадры на сторону революционеров и немедленно стал принимать меры. Он послал минную роту расставить мины вокруг Свеаборга. Но тут произошло событие, послужившие основой для всей дальнейшей истории восстания: минеры отказались исполнить это распоряжение. Мало того, они пред'явили протест против систематического грабежа их. Как всегда и везде, к их политическим мотивам присоединились экономические, и вся минная рота благодаря этому стояла, как один человек. Коменданту представлялся удобный случай выяснить размеры крамолы и выловить зачинщиков. Все дальнейшее было сплошной провокацией, результаты которой не предвидело начальствующее око. Минеры были немедленно арестованы, фельдфебелей разжаловали в рядовые; комендант, приказав разоружить минеров, собственноручно срывал нашивки, грозил расстрелом и издевался над безоружными. Часть их была отправлена на главную гауптвахту, часть в лагерь, окруженный пехотой, где впоследствии их принудили принимать участие в перевозке войск для усмирения восставших. Арестованным минерам не давали есть полтора суток. Голодные, возмущенные они готовы были на все. Караул был всецело на их стороне, и им удавалось послать вестников с сообщением о голоде и с просьбой об освобождении. Волнение между артиллеристами возрастало, сознательные всеми силами старались удержать рвущуюся к бою массу. Решили мирно на вечерней поверке пред'явить по всем ротам требования начальству об освобождении заключенных. Так и сделали. На *** острове в 9 час. вечера солдаты как один человек пред'явили требования. Пехота была в стороне. Начальство не ответило ни одним словом, ни одним движением. Сухо, равнодушно, как будто никто ничего не говорил, сделали офицеры свое официальное дело. После поверки роты зашумели. Не дадим в обиду. — Выручим!.. Идемте, братцы... сами освободим!..

Артиллеристы делаются словно безумные. Один за другим вылетают из палаток и всей толпой бросаются к лодкам. Но не успели и сесть, как затрещали залпы. Пехотинцы, выстроенные под командой поручика N, выпускали залп за залпом в воздух. Приходилось отступать, ибо солдаты на открытом месте в палатках, защиты нет и волей неволей они бросаются к орудиям Глухо звучит первый холостой пушечный выстрел. Борьба началась.

На Михайловском дело обстояло иначе. Коханский (свой офицер) уговорил, вместе с явившимися туда из города штабс-капитаном Ционом, делегацию артиллеристов подождать более подходящего времени. И было уже принято решение не выступать. Но острова были так разобщены, что Цион не успел еще, приехавши в город, передать, как следует всем... Загремели пушки Артиллерийский, инженерный и др. острова ничего не знали об этих переговорах. Услышав пушечный выстрел, артиллеристы разбили цейхгауз, захватили винтовки и пулеметы и пошли освобождать арестованных минеров.

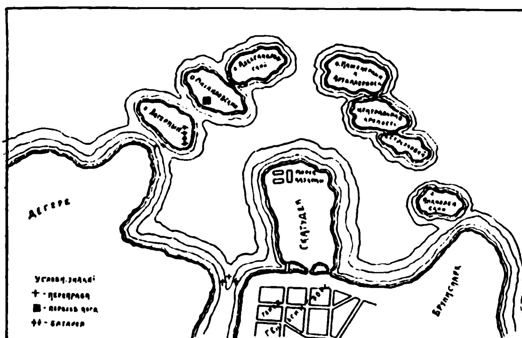
Караул, охранявший их, добровольно сдался. Двери гауптвахты разбили вдребезги, и крики и товарищеские приветствия мешались с рокотом выстрелов.

Между тем тут же на площади перед гауптвахтой были выстроены роты пехоты под начальством коменданта. Перед развернутым фронтом возбужденно бегал комендант, размахивая руками, призывая «молодцов», «голубчиков»-пехотинцев постоять за царя и отечество. Но пехотинцы не хотели итти на своих. Комендант выделил наиболее надежных для охраны своего дома и своей особы... артиллеристы же, захватив освобожденных, ушли вместе с ними.

На Михайловском, узнав о восстании, дали сигнальные выстрелы и арестовали офицеров. Подпоручики Емельянов и Коханский — оба с.-д. — до последней минуты удерживали солдат, но силою обстоятельств были побеждены и приняли командование. Между прочим, в первые минуты, когда все еще крутилось и кипело без толку, Емельянов бегал по всем закоулкам, ища коменданта для ареста, но он спасся, кажется, в церковном подвале.

Спустя некоторое время положение дел определилось вполне. Михайловский, Инженерный, Артиллерийский, Александровский острова были в руках восставших, Центральная крепость, Лагерный остров остались в руках коменданта, там и сосредоточилась пехота, вся оставшаяся верной (см. план). Стрелковый и Николаевский были нейтральны.

Расположение островов (приблизительно):



Орудия, пушки, пулеметы были обращены к Центральной крепости и расставлены так, чтобы прекратить доступ пехоты на Артиллерийский остров. Из офицеров были убиты Исааков и полковник Нотар, арестован генерал Агеев. Нотар и Агеев, услыхав выстрелы, под'ехали к Михайловскому острову. Их окрикнули, но они не отвечали, дан был залп. Нотар был ранен, и они сдались. Но когда их вели под арест, Нотар начал ругаться, грозил судом,

расстрелом, и обозленные солдаты с криком: «Нет тебе в крепости места» — столкнули его в воду и расстреляли.

В городе узнали о восстании лишь на утро. Первый пушечный выстрел не произвел никакого впечатления, так как таковые выстрелы далеко не редкость. Второй и третий и затем аккомпанимент ружейных залпов собрали уже кучку любопытных, но наступившая затем видимая тишина успокоила сбывателей, и они разошлись по домам.

На утро приехал Емельянов за инструкциями, и организация решила принять активное участие в выступлении. Ему дали инструкции: обстрел Центральной крепости и Лагерного, да прислали с ним припасов, которых в крепости не было (муки, мяса). В помощь крепости решено было поднять матросские команды на Скатудене (250 чел.), два минных крейсера, стоявших на рейде, и городских стрелков.

Начальство тоже не дремало: 2 роты 2-го Финск. полка были отправлены на Лагерный, из лагерей в Вильманстрандте спешно вызывали 1-й полк. В общем же в административных сферах царила страшная растерянность. Особенно боялись прихода эскадры, которая, по упорным слухам, подняла красный флаг.

Емельянов приехал в крепость днем, и сейчас же загремели батареи по Центральной крепости. Огонь держался жестокий, в воздухе стоял гул: непрестанный рокот пулеметов, гром пушек и сухой ружейный треск. Но, несмотря на страшную силу огня, вреда Центральной крепости мы серьезного не принесли.

Снаряды были учебные. Учебный снаряд — это далеко не грозное орудие, и они нам сослужили плохую службу. С Михайловского острова обстреливали Лагерный, но с таким же успехом: там даже никто не пострадал. Так прошел первый день восстания (Вторник — 18 июля).

На второй день обстрел продолжался непрерывно. С Лагерного и Центральной крепости отвечали пехотинцы. Примостившись за всевозможными заграждениями, в домах из окон они, пользуясь близким расстоянием, били на выбор. Наши снаряды тучей летали над ними, но попаданий было очень мало. Черносотенцы говорили, что сам бог за них. А нам приходилось туго. Пищи не хватало, готовить ее было трудно — место между кухней и казармами было под огнем пехоты. Приходилось пускаться на хитрости. Пищу из кухни переправляли по протянутому канату, и то раз удалось пехотинцам пулей перешибить веревку. Пищи было мало, сообщения с городом не было: Центральная крепость подвергала обстрелу все пространство между берегом и островами. Насколько комендант понимал всю опасность единения берега с островами и как он препятствовал этому, показывал следующий случай в городе у Брунспарка. Брунспарк — это возвышенное место, с которого прекрасно видны многие острова. Там в эти дни не было свободного места — народ стоял сплошной стеной. По берегу была растянута цепь солдат, чтобы никто с моря не прорвался в город. Как-то вечером в самый раз-

гар перестрелки показывается лодка с моря и направляется к берегу. Центральная крепость моментально открывает стрельбу шрапнелями. Толпа народа на берегу с замиранием сердца следит за смельчаками; видно, как рвутся снаряды и бороздят кругом воду; видно, что сидят и гребут двое, как будто мужчина и женщина. Крики проносятся над толпой; из крепости ударили картечью. Один опускается на дно лодки, но женщина продолжает грести; картечь летит и, как дождь, падает кругом. Толпа на берегу живет и чувствует, как будто она срослась в одно целое. Лодка медленно и неуклонно движется все ближе и ближе; она выходит из полосы огня и направляется прямо к берегу, туда же бежит офицер и солдаты с ружьями. Как один человек разражается криком толпа — «не стрелять», — все бросаются к берегу. Сжатые кулаки, палки, камни замелькали над толпой. Офицер и солдаты окружены, на них напирают, им грозят. «Как вам не стыдно — ведь там женщина. Палачи! Убийцы!»

Солдаты стоят бледные, дрожащие. Офицер кричит: «я сам махал — чтоб там не стреляли, но теперь я их должен арестовать — это мой долг, господа!» Лодка пристает к берегу, в ней мальчик и девочка; мальчик весь в крови лежит на дне лодки, девочка со страхом и недоумением смотрит на всех.

Проникнуть на берег с восставших островов не было почти никакой возможности, и потому они оставались без провианта и помощи. Эта отрезанность от суши, где могла быть оказана огромная поддержка, лишала восстание той силы, которая так была ему необходима. С другой стороны, в городе совершенно самостоятельно трудно было начать восстание.

В этот же день (среда 19 июля) из города послали правительственные войска, окружным путем через дачную местность Дегере; кроме того, переправили на баржах 12 пулеметов и несколько пушек. Переправивши все это на Лагерный, они установили там батарею незаметно для артиллеристов (2 орудия, из которых стреляли офицеры). Канонада разыгралась во-всю. Восставшие острова решили употребить все средства и разметать Центральную крепость. Перед этим заставили генерала Агеева написать письмо коменданту, где он приказывал ему сдать крепость в виду нелепости сопротивления пехоты артиллерийским пушкам. Два делегата поехали к коменданту. Тот принял их, прочел письмо и хотел тут же застрелить посланцев, но был удержан другим офицером. Сдаться он отказался, одного делегата арестовал, а другого послал с ответом. Во время переговоров фактически часа на 2 установилось как бы перемирие. Огонь стих, и наступила тишина. Артиллеристы воспользовались и завели переговоры с пехотинцами о переходе их на сторону восставших. Казалось, дело налаживалось. Решили, что пехота будет переходить понемногу по мостику, соединившему Центральную крепость с артиллерийским островом, и складывать оружие у артиллерийского мостика. Настроение пехоты было далеко не на стороне начальства: на Лагерном взводные уговорили солдат не стрелять, пехота, бросив ружья, расположилась как попало — только непрерывный огонь и черносотенные измыш-

ления офицеров, говоривших, что артиллеристы подкуплены финнами, заставили их взяться за оружие. Здесь же произошло печальное недоразумение... Пехотинцы начали уже переходить, но комендант приказал из окон открыть по ним огонь... и часть артиллеристов на Инженерном принялась опять обстреливать Центральную крепость. Пехота разбежалась, отказавшись от поддержки восставших.

Битва разгорелась с новой силой. Огонь островов был так силен, что казалось, вот-вот все разлетится вдребезги. Ядра, шрапнели, гранаты, пули засыпали Центральную крепость. Там все притихло и попряталось — комендант с минуты на минуту ждал полного разгрома и приготовил белый флаг. И вот в этот критический момент выступила скрытая правительственная батарея на Лагерном острове (см. план), поставленная против порохового погреба. Раздался страшный взрыв на Михайловском, стекла домов, части строений, люди — словно закружились в бешеном вихре. Не столько было ранено и убито людей, сколько разбежалось их. Бросив орудия, в панике, солдаты спасались на другие острова, ожидая взрыва других погребов. Емельянов, главный руководитель восстания, был ранен и лежал в беспамятстве.

Через час появилась эскадра. Это был страшно напряженный момент. Все ждали ее, все уверены были, что она на стороне революционеров. От этого зависело все, и, когда огромные силуэты морских гигантов показались на горизонте, у каждого замер на языке вопрос: наша или нет?

Подойдя километров на 15, броненосцы «Цесаревич» и «Богатырь» остановились. Очевидно, по беспроволочному телеграфу из города они уже знали о восстании, и когда Коханский поехал на катер от имени восставших звать матросов к соединению, он был арестован сейчас же.

Суда открыли огонь по Михайловскому... засверкали огни и огромные 12-дюймовые снаряды завизжали над островом. Перелет! С треском рвались снаряды в море, подымая огромные фонтаны воды; но уже было все равно — перелет или недолет — все видели, что восстание проиграно, оставалось лишь сдаться с честью

Из города, из Центральной крепости, давали сигналы, прицел, точную наводку и вскоре снаряды защелкали по островам. Поворачиваясь, броненосцы непрерывно посылали снаряды из своих 12-дюймовых пушек... до самого вечера.

Опустошение они производили страшное. Крепость была бессильна, из ее 9-ти и 6-дюймовых орудий было нелепо даже пытаться достать до судов. Взрыв погреба, измена флота, отсутствие провианта и опытных руководителей — заставило Михайловский выкинуть белый флаг, а за ним сдались Александровский, Инженерный и Артиллерийский.

Глава II.

В то время, как в Свеаборге восстание возникло стихийно, на Скатудене его подняла сама организация. Скатуден — это часть Гельсингфорса, полуостровом выходящая в море (см. план), там расположены матросские

казармы. В момент восстания на берегу было около 200 матросов, а в порту стояло 2 крейсера: «Эмир Бухарский» и «Финн».

Матросы на берегу были прекрасно сорганизованы и почти все были сочувствующие. Существовала даже матросская боевая дружина. На крейсере была неменьшая надежда — судовые партийные комитеты имели значительное число сторонников.

Организация решила поднять суда на берег и с их помощью вызвать пехотные войска в городе на активную поддержку Свеаборга. Это обеспечило бы успех восстания. Неожиданные обстоятельства изменили все дело.

Вот рассказ матроса, одного из активных участников, очень ярко рисующий картину всего произошедшего:

«Часов в 12 ночи вышли мы с собрания, на котором решили встать завтра утром, 18 июля, на второй день восстания на защиту Свеаборга. Навстречу нам попался матрос с «Финна», мы остановили его и спросили: как дела на судне, и предложили готовиться к выступлению. Проходя берегом, мы услышали шум, к набережной под'езжали лодки и на ней толпились люди. В гребцах сидели солдаты, а штатские были переодетые офицеры. Один из наших крикнул: — А что, братцы, или в крепости тесно стало?

Штатский один подскочил к нам и говорит: — Как у вас дела?

— Ничего, живем.

Мы поспешили дальше. В порту мы передали товарищам быть готовыми, вооружились браунингами, я поставил у телефона своего часового с винтовкой. Ночь провели почти не спавши. На утро настроение было бодрое; к 7½ пришел один наш бывший матрос, он должен был передать нам инструкции нашей организации.

Матросы угощали его чаем, шутили, смеялись, было весело и как-то легко на душе. К 8 часам пришедший фельдфебел велел «свистать на работу». Товарищ Н. заговорил с ним: — Зачем на работу, нельзя ли погодить?

Фельдфебель засмеялся: — Тебе хорошо говорить, ты — отслужил, а нам и работать не грех.—Подошел горнист.—Ну что же, свистать что ли?— Фельдфебель уже видит, что дело не ладно, а тов. Н. говорит: — Ну да что там на работу — эй, играй боевую тревогу... — Тра-та-та-та, — зазвучал рожок и моментально сверху, со двора посыпались матросы, на ходу хватая винтовки; фельдфебель побелел — лица нет, вверху раздаются револьверные выстрелы: трах, трах — это боевая дружина поднимает дух.

Минут через десять — все в сборе, в боевом снаряжении, выстроились на дворе; дали троекратный залп — салют крепости, подняли красный флаг и стали ждать присоединения судов. Суда стояли саженей на 100 от берега и были превосходно видны. Часть матросов взлезла повыше, я взял бинокль, и мы стали наблюдать. Наше удивление было велико — на судах не замечалось никакого волнения, по палубе расхаживали офицеры. Это возмутило многих и послышались крики: «Что же вы спите? Бейте мерзавцев офицеров!» Звуки голосов гулко раздавались в утреннем воздухе, и никакого ответа. Спустя некоторое время мы увидели лодку, спущенную с крейсера, на лодку сел офицер и матросы. Лодка под'ехала к месту, где развевался красный

флаг, и только тогда стало ясно, что офицер собирается сорвать его. Я с товарищем бросились туда. — Что вам нужно? — Матросы хмуро смотрели на воду, а офицер вынул браунинг и со словами — «я с бунтовщиками не разговариваю» — нажал спуск, но он забыл спустить предохранитель, и товарищ выстрелом уложил его на месте. В ту же минуту с крейсера загремели пушки (47 мм). Снаряд ударился около штандарта и разорвал на части матроса. Мы скорее покинули это злополучное место. Вслед за тем раздались перекаты пулемета. Пули со свистом летели вокруг, звенели о крыши и засыпали все открытое пространство. Со двора все ушли в казармы. Отвечать мы не могли, так как нельзя было высунуть носа. Все хорошее, бодрое настроение исчезло, как дым: крейсера стреляют, наши надежды рушились. Общему настроению поддался и т. Х [1]), присланный от организации, он отправился за советами к красной гвардии, что было, по меньшей мере, некстати.

Без руководителей, с разбитыми надеждами, матросы совершенно растерялись, повсюду валялись брошенные винтовки, люди сидели, как в воду опущенные, слышался недовольный ропот.

Часам к 11-ти пришел т. Георгий от организации и своими словами и шутками поднял дух, затем пришла русская боевая дружина, разбили цейхгауз, взяли револьверы, патроны. Под музыку пулемета сели обедать и часов до 12½, что называется, приходили в себя. Наконец, в голову пришла мысль, которая могла исправить дело (если бы это было предусмотрено заранее): нужно итти в город, нужно попытаться одним вызвать пехоту себе на помощь. Да, но в город единственный проход через мостик. А если начальство успело занять его казаками? Нужно скорей, скорей! Встрепенувшиеся матросы похватали винтовки, построились и, извиваясь лентой, двинулись к выходу.

Но увы... на мостике уже белели солдатские шапки, густой шеренгой стояли стрелки и расхаживали перед фронтом офицеры. Очевидно, мы в суматохе и панике этот мостик не заметили. А теперь все пропало. Среди матросов началось колебание. Часть остановилась, послышались крики—«назад! в казармы!».

Я с частью решительных товарищей двинулись вперед. Среди солдатских рядов пронесся крик: «не подходи, не подходи!».

И нельзя было узнать, глядя на эти неподвижные лица, будут они стрелять или нет.

Мы остановились. Крики — «назад, не подходи!» — становились все настойчивее. Они неслись с двух концов, и мы... повернули назад.

Скатуденское выступление было кончено. Отступившие матросы не могли удержаться в казармах и сдались. Часть спаслась на лодках, а русская дружина прорвалась сквозь солдатские ряды».

Таков рассказ матроса. Суть дела им выяснена вполне, но еще более оттеняет причины неудачи статья одного из руководителей (бывшего офицера) в «Вестнике Казармы» № 7.

---

[1]) Кто точно — не помню.

Привожу ее целиком: «Во вторник утром 18 июля, после совещания военной социал-демократической организации, товарищ Х. [1]) и я отправились по назначению. С нами был также и товарищ артиллерист. Выйдя на улицу, мы сели на трамвай и отправились к Скатудену. Дорогой молчали. Наша задача состояла в том, чтобы на 3 восставших крейсерах, вместе с свеаборгской флотской ротой, итти сейчас же из порта к крепости, высадить там вооруженный десант, человек в 150, и обстреливать по условию еще незанятые острова и позиции; а также не допускать подвоза новых войск из города в крепость. Таков был по крайней мере наш ближайший план. Мы твердо верили, что этот первый шаг пройдет быстро без затруднений, так как матросы на судах и в казармах были хорошо организованы, извещены о начавшемся восстании в Свеаборге и готовы на все. Тихо соскочили они с трамвая, на котором ехали, кроме нас, еще один пассажир, и спустились влево от места к пристаням. Было около 8 часов. В порту жизнь шла обычным порядком: ходили пароходы, сновали шлюпки, мелькали рабочие, торговцы, яличники. День стоял яркий, солнечный и тихий. Здесь т. Х. должен был встретить одного из своих матросов. Мы ждали. Вот идет белая фигура. Матрос! Товарищ за ним, но нет — это не тот! Опять ждем. Присели на скамью. Мимо прошел флотский кондуктор, «шкура». Рука невольно сжимает браунинг, но кондуктор равнодушно и медленно спустился в порт... Наконец, товарищ увидел нужного матроса и переговорил с ним.

— Так все готово?..

— Да! Как только на судах заиграет рожок, значит, они наши, а вы тогда скорей к нам с ротой.

— Хорошо, — отрезал товарищ, — идите.

Матрос исчез взволнованный, но решительный. Мы подошли к флотским казармам ближе; скоро явился один из наших.

В казармах все встали. — Началось, — сообщил он, — как на судах?

Тов. Х. об'яснил ему. Со стороны казарм послышались 2—3 выстрела. На судах пробило 8 склянок (8 час. утра). Из казарм вышло несколько вооруженных винтовками матросов. Мимо нас прошел в город какой-то матрос, его хотели задержать, но оставили. С револьверами в руках двинулись мы к казармам. Внутри у ворот сторож пытался было остановить нас: — куда? Нехорошо! Что вы делаете? — Ему пригрозили, и он стушевался. Посреди двора быстро выстраивалась команда матросов: из казарм то-и-дело выбегали новые. Все были вооружены винтовками, револьверами. Слышался шум и смех. Нас матросы встретили радостными криками. Я почти никого не знал в лицо, но меня обнимали, пожимали руки. «Ура, товарищ! Да здравствует свобода!» — «За всю волю, за всю землю», отвечал я, пожимая протягиваемые мне руки. Затем решено было дать салютационный залп, как привет Свеаборгу, где развевалось красное знамя свободы и труда, и как сигнал, что в казармах все было готово.

---

[1]) Не помню кто, — кажется, т. Анатолий.

Под'ем духа был общий, сердце радостно стучало. Гулко прокатился залп. Лично меня, припоминаю, несколько смутило, что залп был сорван, вышел растянутым; что некоторые из матросов не сумели сразу дать выстрела. Было видно, что не все знают винтовку и строй, да и командовавший, насколько мне знаком строевой устав, напутал и сбился. Но мысль эта только мелькнула, было не до того. Подняли красный флаг и стали ждать сигнала с судов. Все переговаривались возбужденно. Тов. X суетился, перебегая с фланга на фланг, я говорил с одним из взводных о том, что мы сейчас пойдем на судах к крепости. Однако с судов никакого знака. Что такое? Решили дать сигнал, что у нас все готово. Прибежал кто-то и сообщил, что пока на крейсерах все спокойно. — Ну, сейчас начнется и там! — раздавались уверенные голоса. К воротам выслали караул и патрули. В это время показался офицер, кажется лейтенант. Он спокойно шел к роте.—Арестовать! Убить его! — послышались голоса отовсюду. Офицера окружили. Тов. X. бросился туда и лейтенанта арестовали и увели под конвоем в казармы. Настроение стало напряженнее. Прошел уж, пожалуй, час, как мы прошли в казармы. Сигнальщики следили, что делается в порту. Вдруг со стороны моря резко прокатился залп, за ним другой, третий. Стреляли из пулеметов; пули с треском попадали в верхнюю часть казарм. Кто? Откуда? Неужели с судов? Это измена!

Оказалось, что стреляли финны. Следовали залпы один за другим. Дрожь пробежала у меня по спине. Вокруг заволновались, забегали, заговорили... Пулемет не умолк. Положение выяснилось: крейсера по какой-то, непонятной тогда для нас, причине не восстали, были против народа. — Нас перебьют как куропаток! — крикнул кто-то, — товарищи! станем за казармы — дальше, там не достают пули.

Под'ем падал, многие, видимо, растерялись. Стали совещаться. Я настоял на усилении патрулей и дозоров. Время шло. Весть о восстании в казармах и наш салютационный залп без сомнения распространились по городу. Каждую минуту можно было ожидать прибытия пехоты и казаков для усмирения. Как быть? Каким образом дать им отпор? Неужели мы очутились в ловушке, нам угрожают и с суши и с моря? Лично мне почему-то самыми опасными представлялись казаки. Налетят, как вихрь, сомнут, мелькало в голове. Я понимал, что рота в строевом отношении плоха, и что быстрых и точных построений от нее ждать нельзя. Взводные командиры и матросы, комитетчики держались каждый своего мнения на счет возможности атаки. Скверно! Как отражается нападение кавалерии? усиленно старался я припомнить. Быстрый поворот в сторону неприятеля, залп, и ружья на руку. На дворе в нескольких местах были сложены бревна вышиной по пояс. Не засесть ли за них для встречи казаков и пехоты? А может быть лучше выйти в город и рассеяться там? Кто-то предложил вернуться в главные казармы и оттуда уже отстреливаться. Многие поддерживали, сначала соглашался и я. Только впоследствии я понял, как опасно для дела было это предложение: возвращенье в казармы явилось бы своего рода отступлением, без сомнения деморализовало бы роту, не говоря уже о том, что она таким образом по-

пала бы в безвыходную ловушку. Но тут выручил всех бравый матрос, все время не терявший присутствия духа. — Как? опять в казармы прятаться? Никогда, товарищи! Опомнитесь! Опомнитесь! Дело начато, все равно нас ждет смерть или победа!

Рота приободрилась. Явился доктор и попросил на случай надобности четырех вооруженных человек к носилкам. Ему дали кажется 8. Скоро в казармы прибыли товарищи из города. Они хотели пробраться в крепость, но им это не удалось. Товарища Г. все матросы знали хорошо и встретили его радостно. Он решил остаться на Скатудене; его спутники ушли. Между тем стрельба из пулеметов не прекращалась. Один снаряд из 47-миллиметровой пушки пробил стену казармы и убил матроса. Положение было серьезное. Тов. Х. ушел в город за справками: почему нет красногвардейцев? Два взвода роты перешли в помещение напротив главного здания. Я отправился с ними. В коридорах эхо гулко передавало рокот пулеметов. По двору разносили обеденные пайки, многие ушли обедать... Между тем вернулся тов. Х. из города без определенных сведений и вновь собрался в город; я решил отправиться вместе с ним и не возвращаться без красной гвардии... За казармами наружно все было спокойно. Взяв извозчика, мы поехали в правление красной гвардии, где-то далеко за городом. На Эспланаде (главная улица) толпилась публика, войск не было. Долго мы ехали, долго искали Кока. Близко от него мы встретили отряд финнов-рабочих человек 100. Оказалось, к нашей радости, что это революционная часть финского пролетариата идет на Скатуден. После переговоров с Коком был послан еще отряд. Решено было, что матросы немедленно выйдут из порта вместе с красногвардейцами. Отряды ушли, на душе стало спокойнее. Бессонная ночь, жара, пережитое на Скатудене и полная неизведанность — все это страшно взвинтило нервы: мучительно хотелось узнать, каково общее положение дел, что происходит в крепости, каково настроение пехоты. Больше на Скатуден я не попал. Оказалось, что вскоре после моего от'езда оттуда пехота заняла проход и мост в город. Часть матросов с красногвардейцами успела пробиться из порта, при чем пехота не стреляла по ним, другие переправились под выстрелами на лодках, а человек 150 осталось в казармах, сдались и были арестованы».

Глава III.

29 июля около полудня по приговору военного суда расстреляны семь свеаборжцев-артиллеристов: два офицера, подпоручики Емельянов и Коханский, и пять фейерверкеров — Детинич, Иванов, Тихонов, Виноградов и Герасимов. Они были убиты по всем правилам искусства, «по уставу», даже с барабанным боем, чтобы заглушить последние слова «крамольников». Офицер, командовавший «пли», был бледен и едва держался на ногах; осужденные в большинстве были спокойны. Последними словами Емельянова были: «Сегодня вы расстреливаете нас, а через год над нами будет стоять памятник от освобожденного народа, и я плачу, что так мало я успел сделать в свою короткую жизнь для его освобождения».

Остальные арестованные в Свеаборге артиллеристы (800—1000 чел.) были помещены в общие казармы, где дожидались решения своей участи. Насколько сознательно они относились к делу, видно из письма, составленного и посланного ими в организацию для распространения его среди войск (достоверность его несомненна):

— Дорогие товарищи солдаты. Мы, артиллеристы Свеаборгского гарнизона, в количестве 1000 человек, посылаем вам свое товарищеское почтение.

Мы были очень обрадованы, когда узнали, что вы, товарищи, не упали духом, несмотря на сильные репрессии в Свеаборге, которые в настоящее время могут произвести не малое впечатление в прочих частях войск. Мы знаем, что вы, товарищи, думаете о нас и стараетесь нам помочь. Но, конечно, это трудно. Ожидайте, товарищи, такого времени, когда исход был бы более благоприятен, в пользу народа и нас, а не так как мы сделали.

Товарищи, мы не упали духом, дух у нас и сейчас велик. Мы принуждены были сдаться не потому, как думают многие, что дух у нас пал, нет: нас победил флот. Флот, на который мы возлагали столько надежд, оказался предателем. Дело шло у нас хорошо, и мы не думали сдаваться. Три острова были сорганизованы отлично. Инженерный, Александровский и Михайловский, они-то и начали действия. Комендант, видя свое плохое положение, вытребовал на помощь 2 роты 2 Финского полка. Эти роты были против нас. Но это ничего, мы бы их выгнали артиллерийским огнем. Мы открыли огонь из всех почти орудий, и дело клонилось к хорошему, но вдруг взорвался пороховой погреб — 3.400 пуд. пороху. Убыло много борцов, но это ничего. Затем разнесся слух, что пришел флот, два броненосца, вместо ожидаемого одного. Мы были обрадованы, а пехота упала духом и уже хотела сдаваться. А флот, подойдя ближе, открыл огонь по Михайловскому и Александровскому островам. Сопротивление с нашей стороны было, конечно, немыслимо при таких условиях. Мы стали сдаваться. Флот изменил потому, что на этих судах, на «Славе» и «Цесаревиче», мало было матросов, их заменили кадетами (ученики морского кадетского корпуса). А Свеаборгская пехота отличалась больше, чем семеновцы во главе с Риманом и Мином. Они стреляли в нас без промаха, стараясь как можно больше убить, и когда артиллерия сдалась, то обращение их с нами было самое подлое. Наши сундучки были поломаны и все сапоги, белье, деньги, одним словом—все хорошие вещи были расхищены пехотой. Вещи похищались пехотинцами в присутствии их офицеров, которые могли только сказать: «да, у артиллеристов хорошие сапоги, у наших офицеров нет таких». Чайники наколоты штыками. В этом грабеже принимали участие и стрелки.

Товарищи! Мы ожидаем суда. Суд нам будет строгий, по словам коменданта, но мы не боимся этого суда. Мы знаем, что пострадаем за Свободу и Землю. У нас семь лучших товарищей перешли в лучший мир, они не хотели более смотреть на ложь, они хотели правды в России и были за это расстреляны. Мы все готовы разделить их судьбу: умереть за такое великое дело.

Товарищи солдаты и матросы! Стойте твердо за правду, следуйте нашему примеру. Соединяйтесь: в единении наша сила. Мы готовы послужить общему делу опять, если останемся живыми.

Арестованные

Военный суд в Свеаборге 17 августа (1906 г.) приговорил к расстрелянию 19 солдат и 3 штатских, 33 солдат в каторжные работы от 12 до 13 лет, 33 солдат туда же на 4 г., 195 человек в дисциплинарный батальон от 3 до 4 год. 298 ч. в военные тюрьмы от 3 до 4 месяцев, 75 ч. к дисциплинарному аресту на 20 суток. 30 оправданы. Приговор поступил на утверждение Зальца (командир 22-го арм. корпуса). Был утвержден с заменой смертной казни каторгой.

Из арестованных матросов 16 человек было приговорено к смертной казни, 11 — оправданы, 80 — приговорены к каторжным работам на различные сроки. Вот что пишут о казни их из Свеаборга[1]) (5 сентября 1906 г.): «Сегодня в 8 с половиной часов утра расстреляли 16 матросов и одного кандидата фельдшера. Матросов расстреливали матросы, а кандидата 4 стрелка... Стреляли ежившись и безмолвно, ибо флотский подполковник, который командовал расстрелом, сказал: «Братцы! Вам приходится расстреливать ваших товарищей... Но ничего не поделаешь. Надеюсь, что вы будете стрелять. Я вас привел сюда без винтовок. Винтовки возьмите у пришедших сюда артиллеристов. Если вы стрелять не будете, то знайте: за вами стоят 2 роты пехоты, рота артиллеристов и пол-роты стрелков 2-го батальона. квартирующего на Александровском острове». Осужденные держались очень бодро. Многие во время следования под конвоем пели песни. Кандидат Иван Яковлев отказался от завязывания глаз, а два матроса не давали привязывать себя к столбам и кричали: — «Мы помираем за святую свободу, за землю и власть народа. Помирайте и вы, товарищи, такою смертью».

Но тут скомандовали, барабанщики забили в барабаны, чтобы заглушить голос правды, а потом флотский подполковник махнул платком, и они были убиты.

Всех их свалили в одну яму на Лагерном острове около берега моря...

---

[1]) „В. К.“ № 8.

О красных обрядах [1]).

(По поводу статьи В. Вересаева «К художественному оформлению быта»).

Л. Войтоловский.

> У нас ужасно много охотников переустраивать на всяческий лад, и от этих перестроек получается такое бедствие, что я большего бедствия в своей жизни не знал... А вот изучить наш собственный быт и проверить его—на это нас нет...
>
> *Ленин.*

В 1791 году, в период самой острой борьбы Учредительного Собрания с церковниками, стены города Гавра вдруг густо покрылись таким выразительным воззванием к населению:

«Клянусь всеми богами неба и земли — все, что вы вытерпели от монархии и престола, не сравнится и с десятой частью той омерзительной работы, которую до сих пор проделывает над вами религия — эта скучная, гнилая, постная идея, заставившая мрачно завянуть все цветы нашей прекрасной Франции и населившая ее попами, монахами и лицемерными тартюфами всякого рода. Во имя свободы и революции теперь ведется открытая и серьезная борьба с чудовищами церкви — и наш родной Гавр должен, как всегда, стоять в первых рядах. Долг гражданина и голос революционной совести повелительно требуют от нас самых решительных действий. Отныне предписывается всем честным гражданам революционного Гавра:

— На всех гербах, флагах и вывесках заменить старое изображение золотого ангела изображением красного льва. — Да здравствует красный лев!»

Это воззвание гаврского депутата невольно пришло мне на память при чтении статьи В. В. Вересаева «К художественному оформлению быта», напечатанной в январской книжке «Красной Нови». Статья эта не может быть названа иначе, как восторженным выступлением в защиту новой обряд-

[1]) В порядке постановки вопроса.

ности. — Да здравствует красный лев! Да здравствуют красные обряды! — С этим горячим призывом обращается Вересаев ко всем поэтам, композиторам, режиссерам, к «новым Пушкиным, Скрябиным, Станиславским», убеждая их «создать новые грандиозные обряды, просветляющие и поднимающие жизнь на сверкающую высоту» (стр. 175 «Кр. Нови»).

Мы не получаем при этом от Вересаева никаких указаний, надо ли «новым Пушкиным, Скрябиным и Станиславским» сообща создавать обряды, поднимающие на сверкающую высоту, или судьба последних вручается каждому Скрябину в отдельности и создание просветляющих обрядов — всецело дело личного усмотрения. Но увлеченный величием намеченной задачи, Вересаев развертывает уже перед поэтами, композиторами и режиссерами всего мира такие заманчивые перспективы:

«Представьте себе, — говорит он, адресуясь к служителям искусства, — как бы это было прекрасно, как бы это всех об'единяло и поднимало, если бы, вместо разных для каждой религии, в большинстве жизнеотрицательных церковных обрядов, — по всему миру — в Германии, России, Англии, Китае, Индии, на Сандвичевых островах, — везде были бы одни и те же светлые, утверждающие жизнь, полные веры в будущее обряды, такие же для всех общие, как клич «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» (стр. 177).

Заранее парируя возражения со стороны «многочисленных наших радикальных рутинеров», Вересаев очень настойчиво повторяет, что не следует бояться обрядности; что наивно думать, будто под прикрытием революционной обрядности потихоньку оживают религия, магия или вера в чудотворные иконы. Наивно уже по тому одному, что вся наша современность цветет многочисленными обрядами и мы только не отдаем себе отчета, что в сущности на каждом галстухе пионера, на каждой косынке комсомолки, на воздетой к присяге руке красноармейца, на знаменах, буденовках и членских значках, на загсах, клубах и вывесках красуется большими буквами надпись: да здравствуют красные обряды!

«Неужели же, — говорит далее с сокрушением Вересаев,—неужели же невозможно дать человеку что-нибудь более прекрасное, более поднимающее дух и более радостное, чем самогон и сорокаградусная?» (стр. 175).

Что же нужно сделать, чтобы жизнь наша очистилась от скуки и плесени и покрылась молочными реками с кисельными берегами?

«Нужно нечто разнообразное, сложное и величественное, — отвечает Вересаев. — Нужен ритуал, нужно определенное «действо». Нужны торжественные, величавые гимны, в которых художественно закрепленные слова были бы соединены с волнующей музыкой» (стр. 166).

И надо ли доказывать, что чем внушительнее будет самое «действо», чем больше ритуальной торжественности в гимнах, тем стремительнее свершится прыжок из низин нашей скучной и трезвой обыденщины в царство «сверкающей высоты»; тем легче превратится обряд в отточенное оружие пропаганды.

«Вот это будет настоящая пропаганда нового быта и новых отношений, — восклицает Вересаев, — куда подействительнее всех нудных речей и докладов о новом быте. Вы только постарайтесь представить себе, что такой обряд может сделать, например, в деревне» (стр. 172).

Нужно быть, действительно, самым отпетым рутинером, чтобы отказаться от такого чудесного подарка. Тут и страховка от обыденщины, и просветляющие гимны, и волнующая музыка, и борьба с самогоном, и организованный протест против смерти.

«Давайте, — призывает Вересаев новейших Пушкиных и Скрябиных, — давайте штурмовать небеса. Закидаем красными шапками тоску и невежество нашей серой жизни и наполним весь мир, о, баяны родной земли, просветляющими гимнами и волнующей музыкой. Вот это будет настоящая пропаганда нового быта!»

«Рады стараться, — отвечают Пушкины и Скрябины, — но разве мы когда-либо отказывались от желания осчастливить весь мир; и не к тому ли всегда сводились наши заветнейшие мечты, чтобы «глаголом жечь сердца людей»? Мы только не думали, что, сочиняя колыбельную песню или сцену, в которой приказчики перебрасываются веселыми остротами с публикой, мы тем самым творим обряды спальные или торговые».

И тут-то в душе «радикальных рутинеров» действительно поднимается мрачное сомнение: а что если одной только доброй воли Скрябиных и Станиславских еще недостаточно для осуществления благодетельных планов Вересаева?

В самом деле, что такое обряд по Вересаеву?

«Существо обряда, — говорит он, — не в мистике, не в магии, не в бытовой театральности. Главнейшее значение его в том, что он, с одной стороны, дает людям готовые, художественно закрепленные русла для проявления теснящихся в душе чувств, — с другой же стороны, организует сами эти чувства, направляет, просветляет и углубляет их. Огромное действенное значение обряда великолепно учитывала церковь. Следовало бы учесть его и новой общественности» (стр. 177).

Допустим, что требования Вересаева полностью учтены. Допустим, что, по слову Вересаева, земля наша переполнилась десятками Пушкиных, Моцартов и Рафаэлей и все они, радостно откликнувшись на призывы уисполкомов, закидали нас сотнями гениальных кантат, прославляющих семейное счастье, и покрыли стены всех загсов пленительными мадоннами и умилительными сценами супружеской верности до гробовой доски. А число разводов в России, надо думать, нисколько не уменьшилось бы, и средняя длительность советского брака попрежнему оставалась бы равной трем— четырем годам. В чем же дело? Да в том, что не художественная фантазия управляет жизнью, а как раз наоборот, как утверждают «радикальные рутинеры»: быт и обряды всецело питают собой фантазию художников. Обряд есть прямое подобие закона и жизни. Перефразируя известное изре-

чение Маркса, можно сказать, что не общество основано на обряде, а обряд основан на обществе. Тот обряд, который не имеет корней в хозяйственной жизни, такая же мертворожденная затея, как ритуал масонского ордена или «клятва на мечах» декабристов. Не в лабораториях поэтов и композиторов придумываются обряды; они выковываются веками борьбы, в их создании участвует вся бытовая и производственная обстановка народа. Оттого-то обряды являются таким могучим бытовым регулятором и целиком вытекают из правовых и моральных устоев данного общества. Навязывать же последнему в качестве «готовых, художественно-закрепленных» бытовых образцов словесные выдумки отдельных художников, — это равносильно попытке остановить падение Ниагарского водопада с помощью заклинаний. Наглядной иллюстрацией в этом отношении являются как раз те самые свадебные обряды, которыми оперирует Вересаев.

Сопоставляя старую деревенскую свадьбу — такую певучую и шумную (со смотринами, сговорами, сватовством, заручинами и венчальным обрядом) — с нынешней прозаической записью в загсе (в отделе записи актов гражданского состояния) и скромными речами в клубе, Вересаев не без иронии отмечает «удручающее убожество, пришедшее на смену былой красоте и торжественности» (стр. 170). Его поражает отсутствие всякой значительности и пышности в нынешней свадьбе. Все протекает уныло, серо и буднично и ничем не напоминает «о серьезности и важности совершаемого». А между тем «во все времена, у всех народов свадьба была веселым и пышным празднеством, где все охотно, незаметно даже для самих себя, втягивались в радостное коллективное действо, которое в одном чувстве об'единяло всех присутствующих» (стр. 171).

Истинный смысл свадебного «веселья» нам хорошо известен: оно мало чем отличается от «веселья» осажденного города. Достаточно прочитать, например, описание свадебного обряда в очерке М. Горького «Дело Артамоновых», напечатанном в той же январской книжке «Красной Нови», где и статья Вересаева. Или взять первую попавшую свадебную песню:

Родимый мой батюшка!
Что у тебе за купцы были,
Что за беседушки?..
Уж сама я знаю, ведаю,
Уж сама-то догадалася:
Торговали—закупали
Мою буйную головушку.

В русской народной литературе нет образа более унылого, чем женщина, осужденная на замужество. Этого, впрочем, не отрицает и сам Вересаев. Но ему кажется непростительным преступлением, что советская общественность, раскрепостившая русскую женщину, не поторопилась заменить изображение золотого ангела изображением красного льва, т.-е. не убрала из свадебного обряда все печальные слова и напевы и не заменила их плясовыми и радостными. К этому, собственно, и сводится воззвание Вере-

саева к советским Пушкиным и Скрябиным. Но тут-то и начинается самое острое несогласие между Вересаевым и «радикальными рутинерами». Ибо любому «радикальному комсомольцу» известно и раз навсегда им усвоено, что обряды сочиняются не поэтами по заказу уисполкомов, а представляют собою затвердевшие оттиски былых общественных отношений. Так, по словам известного исследователя обрядов, И. Пипрека, в цикле славянских свадебных обычаев полностью отразился весь путь, пройденный историей брака и облеченный в форму особых обрядов и церемоний. Эти обряды и церемонии с неоспоримой наглядностью свидетельствуют, что брак есть дело хозяйственное и что суть брачной сделки на всем ее протяжении — от сватовства и смотрин до заключительного брачного пира — сводится не к напевам и гимнам, как это кажется Вересаеву, а к закреплению приобретенной собственности, ибо брачная церемония смотрела на женщину не иначе, как на рабыню, купленную не для брачного ложа, а для работы на пользу всему купившему ее роду. Вот что и превращало брачную сделку «в радостное коллективное действо, которое в одном чувстве об'единяло всех присутствующих». В этом смысле давно расшифрована вся символика брачного обряда.

Капиталистический строй сохранил тоже закрепощенное положение женщины. И хотя женщина в браке не продается и даже сама нуждается в приплате в виде приданого, но и в буржуазном государстве закон и церковь в одинаковой мере заинтересованы в хозяйственной прочности брачного союза. И здесь вся обрядовая сторона изо всех сил стремится закрепить семейные связи. Потому что и в капиталистическом обществе семья попрежнему остается опорой собственности и порядка.

Иначе обстоит дело в социалистическом государстве, где семья естественно отходит на задний план. В социалистическом государстве экономические факторы утрачивают свое повелительное господство над семейным укладом. Та ли, другая ли форма семьи не имеет существенного значения. Семья облекается новым содержанием, и брак со всеми его житейскими атрибутами становится частным делом каждого гражданина. В силу этого, социалистический законодатель раскрепощает семью и супругов и до известной степени предоставляет дело семейного устройства игре свободных влечений. Но тут перед государством трудящихся встают иные задачи. Идеалу семейной прочности противопоставляется идеал социалистической солидарности. Раскрепощая семью, государство берет на себя заботу о детях (борьба с детской смертностью и детской беспризорностью), делается колыбелью общественного здоровья, стремясь понизить процент социальных заболеваний, увеличить рождаемость, прекратить истощение женского организма и т. п., и т. п. С этой именно целью наше советское законодательство об'являет смертельную войну половой распущенности и постельному анархизму. Из сферы сексуально-экономической вопросы рождения и брака переносятся в область евгеники. Во главе социальной гигиены ставится вопрос об охране основного биологического капитала и восстановления биологических ресурсов страны. Отсюда два разных воззрения на брак.

В интересах укрепления собственности буржуазная семейная практика не знает другого требования, кроме чувства ответственности за судьбу финансовой мощи, которое выражается в следующей формуле: нельзя дробить семейных богатств среди многочисленных наследников. Эта ограничительная теория ведет к известной ограничительной системе на практике (Einkind-sistem — одночадие) и превращает брачное ложе буржуазии в арену «бесплодных» наслаждений.

Другие требования пред'являет к брачному сожительству социалистическая культура. Не создание прибавочных ценностей и вопросы денежного наследства занимают ее, а сбережение биологического капитала трудящихся. Оттого, вместо святости брака, советское законодательство берет под свою защиту и провозглашает охрану матери и ребенка: мать, как восстановительница биологических ресурсов всего человечества, и ребенка, как плод, венчающий здоровую и радостную любовь. Самый институт брака при этих условиях утрачивает свою консервативную неподвижность. Брачные связи становятся более гибкими, текучими. Трудно сказать, конечно, в какие новые формы облечется брачный союз, так как новое общество еще в дороге. Но нет сомнения, что глубокие внутренние чисто молекулярные перегруппировки совершаются, что семья перестраивается. Об этом свидетельствует и статистика, установившая, что средняя продолжительность советского брака не превышает четырех лет. К этому еще надо прибавить огромный процент нерегистрируемых и чрезвычайно непрочных союзов. Каждая молодая пара, создающая свою временную брачную ячейку, далеко не всегда налаживает свое отдельное хозяйство; и оттого вся специальная бытовая атмосфера, окружавшая некогда брачные устои, постепенно отмирает. Во многих случаях фактический брак утверждается «самокруткой» или — как теперь говорят — самотеком. Тщетно было бы требовать, от современных художников, чтобы они «уярчали» загсы и украсили советскую свадьбу торжественной обрядностью. Свадебные празднества, повторяющиеся, пожалуй, чаще чем следует, давно превратились в будни, а планировка таких явлений, по заранее установленному ритуалу — с венчальными «гимнами» и «художественно закрепленными словами» — приобретает скорее комический характер.

Однако «потребность в обряде у человека огромна, — настаивает Вересаев. — Стоит оглядеться вокруг, и везде мы находим подтверждение этому» (стр. 174). В качестве характерного отношения к обрядам Вересаев цитирует письмо Льва Толстого.

«Вспомните, — говорит Вересаев, — его убийственно едкие описания церковных обрядов в «Воскресении», описание оперы в «Войне и Мире» и в статье «Что такое искусство», вспомните, как Тургенев приехал приглашать его в 1880 году на открытие памятника Пушкину в Москве, а Толстой ему ответил: «Что я там буду делать? Все это одна комедия». И тот же Толстой пишет Фету в 1872 году: «Я недавно приехал к брату, а у него

умер ребенок, и хоронят. Пришли попы, и розовый гробик, и все что следует. Мы с братом невольно выразили друг другу почти отвращение к обрядности. А потом я подумал: ну, а что бы брат сделал, чтобы вынести, наконец, из дома разлагающееся тело ребенка? Как вообще прилично кончить дело? Лучше нельзя (я, по крайней мере, не придумал), как с панихидой, ладаном и т. д.».

Приведенные строки Толстого Вересаев сопровождает такими пояснениями:

«Это говорит человек, который по поводу религиозных обрядов высказался так: «я готов скорее отдать трупы моих детей, всех моих близких на растерзание голодным собакам, чем призвать каких-то особенных людей для совершения над их телами религиозного обряда». Вы видите: с одной стороны, душа совершенно не принимает религиозных обрядов, с другой стороны — чувствуется, что невозможно совсем, безо всего, что что-то настоятельно нужно» (стр. 166).

Ссылку на Толстого Вересаев считает повидимому особенно убедительной и важной, а между тем именно в этой области — т.-е. в вопросе о смерти — мнение Толстого является наименее авторитетным. В его сочинениях собран огромный художественный материал, доказывающий, как глубоко, на протяжении всей его жизни, Толстого приковывала к себе и волновала проблема смерти. Нет того вида смерти, который не нашел бы себе места на страницах его романов. Это какая-то нескончаемая галлерея покойников. Кажется, кто-то из критиков насчитал в этой коллекции трупов около шестидесяти разновидностей. Тут и смерть от родов (княгиня Болконская), и смерть от ушиба (Иван Ильич), и смерть от мороза (Василий Брехунов), и смерть от удара (граф Кирилл Безухий), и смерть от задушения («Власть тьмы»), и смерть от чахотки (Николай Левин), и смерть от солнечного удара (арестант в «Воскресении»), и смерть от расстрела (пленные в «Войне и мире»), и смерть от операции (Анатоль Курагин), и смерть под колесами поезда (Анна Каренина), и смерть от повешения (Меженецкий), и смерть от пули (Нехлюдов в «Записках Маркера»), и смерть в рукопашной схватке («Хаджи Мурат»), и смерть от отравы (купец Смельков), и смерть от раз'яренной толпы (Верещагин), и десятки смертей на поле сражения, и смерть лошадей (Фру-Фру, Холстомер), и смерть дерева, и смерть татарника, и десятки еще других смертей. Но, собрав такое кладбище трупов, Толстой ограничился только внешним описанием смерти. Он описывает вытянувшееся тело Анны Карениной, стоны умирающих под ножом оператора или на поле сражения. Но он не воспользовался этим обширным художественным материалом для психологического анализа или для определенных моральных обобщений. В огромном большинстве случаев он пугливо умолкал как художник перед картиною смерти и с ужасом отворачивался от созданной им же картины—как человек. Но эта груда трупов показывает, что Толстой как бы готовился к художественному поединку со смертью, готовился долго и упорно, но колебался. И вот единственный раз он наконец решился — в рассказе «Смерть Ивана Ильича» — вступить

в единоборство со смертью. Но этот поединок окончился плачевно для непобедимого художника-исполина. Толстой взял самого банального человека, с банальнейшим именем (Иван), умирающего от банальной болезни (не то ушиб, не то рак, не то старость). И доколе речь идет о муках больного, о его телесных страданиях, о постепенном отчуждении от живых, Толстой гениален. Но там, где Толстому хочется дать картину душевного просветления под влиянием наступающей смерти, там гениальное перо изменяет Толстому, и все слова, о том, что боль перестала быть болью, а тьма сделалась светом, единственный раз в произведениях Толстого звучат фальшиво и холодно. Это об'ясняется тем, что Толстой всю жизнь мучительно думал над загадкою смерти и в ужасе отворачивался от смерти, прячась за тексты и обряды. Это отмечает и М. Горький в своих проникновенных воспоминаниях о Толстом. Это бросалось в глаза и Чехову. Вот что пишет последний в письме к М. Горькому от 15. февраля 1900 года:

«...В один присест я недавно прочел «Воскресение». Все, кроме отношений Нехлюдова к Катюше, неясных и сочиненных, все поразило меня в этом романе силой, широтой и неискренностью человека, который боится смерти, не хочет сознаться в этом и цепляется за тексты священного писания» (Письма Чехова, том VI, стр. 53).

Новые культурно-экономические отношения создают и в этом вопросе, т.-е. в вопросе о погребальном обряде, совершенно новую постановку.

Вместе с перегруппировкой экономических факторов идет подземная перестройка всей бытовой обстановки, обычаев, правосознания страны. Закладка нового быта совершается медленно. Отдельные трудовые группы, отдельные общественные ячейки — красноармейцы, курсанты, мастеровые — осторожно и медленно нащупывают новые пути. Но они знают, чего хотят, и не хотят быть пассивными участниками и зрителями каких-то неведомых и навязанных церемоний. Отсюда и берут начало все действенные истоки коллективного творчества и коллективного волеиз'явления.

Но Вересаев не особенно склонен верить в молекулярную творческую работу низов. Ему больше улыбается героическая пастораль из вооруженных копьями мужиков, которые покорно шагают за Лоэнгрином, появляющимся верхом на лебеде.

«Что это за фантастическое представление о постепенном творчестве из кусочков, будто бы характерном для коллективного творчества! — иронически восклицает Вересаев. — Один мужичок сочинил один стих или музыкальную фразу, его сосед — другой стих, третий мужичок из соседней деревни — третий, — и вот готова народная песня. И слова песни, и песни, и «действа» творятся теми же Пушкиными, Скрябиными и Станиславскими, только неизвестными нам по именам» (стр. 175).

Но откуда же берутся эти Лоэнгрины на лебедях, эти анонимные Пушкины и Скрябины? И что делают народные массы до появления этих

Пушкиных? Неужто сидят в ожидании, как незасватанная невеста, пока не появился рыцарь Лоэнгрин? Если бы Вересаев присутствовал на собрании курсантов, на котором обсуждался вопрос о погребении инструктора, он убедился бы воочию, какому тщательному анализу и подробному обсуждению подвергалось каждое предложение, прежде чем было найдено настоящее.

Далее в своих рассуждениях Вересаев не делает разницы между свадебными обычаями и красным галстухом пионера, между чином церковного погребения и модной песней. За одну скобку с октябринами он берет и пионерских галстухов, и красную якобинскую шапку, и галифе, и буденовку, и всякую случайную мелочь, приобретшую мимолетную популярность. Оттого-то и кажется ему, что наше время цветет обрядами. Оттого-то и рисуются ему такие широкие и торжественные перспективы. Раз можно придумать хорошие стихи или новую военную форму, отчего бы не придумать также и прекрасный обряд?

Но ведь то, что кажется таким возвышенным и прекрасным офицеру Руже-де-л'Илю, может показаться совершенно ненужной комедией или кощунственным шутовством радикальному комсомольцу.

— Ну, что ж, — соглашается Вересаев, — это вполне возможно. «Очень возможно, что в первое время, пока люди не освоятся с этими обрядами, они от них будут получать именно такое впечатление. Но, при первом знакомстве, всякий обряд, всякое условное действие производят странное впечатление... Почему же не комедия — все эти почетные караулы, музыка над гробом, торжественные процессии, траурные гудки, преклонение знамен?» (стр. 169).

Конечно, это старая истина. Старая софистическая мудрость давно об'явила, что жизнь — трагедия для тех, кто оценивает ее сердцем, и комедия для того, кто судит о ней с точки зрения холодного разума. Но в таком случае к чему же было огород городить? Раз все делается по формуле: «стерпится — слюбится», то к чему еще Пушкины и Скрябины? Не проще ли действовать по рецепту гаврского депутата — и закрасить изображение золотого ангела изображением красного льва. Или еще проще написать: — Се лев, а не ангел. Только не знаю — пойдут ли на это радикальные комсомольцы.

Научные достижения в борьбе с туберкулезом.

(Окончание).

Проф. О. И. Бронштейн.

II.

Таковы достижения в области распознавания туберкулеза. Но, разумеется, распознавание — только часть дела, хотя и не малая. Лечение за то, конечно,—главная задача современной фтизиологии, если оставить в стороне (как мы условились с самого начала) вопрос о предупреждении туберкулеза.

Издавна способы лечения чахоточных сводились к двум главным: к назначению лекарств и усиленного питания. Нельзя сказать, чтобы эти два коренных метода были оставлены современной медициной — нет, больных и питают и лекарствами лечат, пожалуй, больше прежнего, но все это приобрело в наше время иной характер и применяется иначе, и расценивается под совершенно другим углом зрения.

Начнем с питания. Что больной всякими видами туберкулеза худеет, теряет в весе, словом «чахнет» (отсюда и «чахотка») — это всем известно. Понятно, стало быть, что надо поднимать питание чахоточного, надо дать ему силы для борьбы с врагом, надо кормить усиленно и стремиться к повышению веса. В общем, действительно, это правильное рассуждение, но врачи и в специальных противотуберкулезных учреждениях, и у постели частного больного очень и очень задумываются над вопросом о питании больных. Чем питать и как питать? Вовсе не безразлично, давать ли туберкулезному возможно больше всякой (понятно, здоровой и питательной) еды: не всякий организм все выносит, одному полезно то, что бесполезно или прямо вредно другому. Многим нужно вводить побольше жиров, а иные как раз нуждаются во всем, кроме жира, который даже ухудшает их состояние. Неимоверно важно состояние желудочно-кишечного тракта у туберкулезного больного: если там уже имеется специфическое поражение, подход к диэте совсем особенный; но если даже есть на-лицо страдание пищеварительного аппарата нетуберкулезного характера, то и это обстоятельство весьма приходится принимать в расчет при назначении пищевого режима. Стремление к усилен-

ному, во что бы то ни стало, упитыванию зачастую ведет к диаметрально-противоположным результатам — больной все больше слабеет и теряет в весе; а вот возьмется за дело хорошо его изучивший спец-туберкулезник, ограничит вначале рацион больного, введет туда необходимые вещества, исключит другие, постарается вызвать нормальное чувство голода — и поправка идет на глазах. Мы далеки от того, чтобы излагать здесь хотя бы в общих чертах основы этой диэто-терапии при туберкулезе. Скажем лишь, что это — целая наука, очень сложная и довольно хорошо разработанная, и врачи санаторий, например, обязательно должны изучить ее и даже проводить не мало времени на кухне, чтобы постигнуть на практике искусство питания чахоточных. Мало того, интересно, что вовсе нередко приходится даже ограничивать больных в пище, сажать на менее питательную диэту, даже добиваться иногда падения веса. Словом, здесь такая же индивидуализация необходима, как везде в области врачевания. Сейчас уж не подходят к больному с старым шаблоном: молоко, яйца, мясо — и всего, как можно обильнее. Подход, повторяем, другой, несравненно более рациональный и в силу этого и более успешный. Да, помимо всего этого, уже довольно давно и ясно определился взгляд, согласно которому исключительное внимание в сторону усиленного упитывания больного не может вести к цели: нельзя упускать из виду и других сторон воздействия внешних факторов. Среди них первое место занимает лечение воздухом — аэротерапия. Опять-таки давным-давно подмечено было значение этого могущественного фактора в обоих направлениях: наблюдалось ухудшение процесса у больных, вынужденных дышать испорченным воздухом тесных жилищ и рабочих помещений, и, обратно, улучшение вплоть до полного выздоровления при постоянном пребывании на свежем и чистом воздухе, особенно в деревне. Сперва большое значение придавалось климату. Отсюда царившая одно время мода отправлять больных (конечно, из имущих и даже весьма имущих классов) в такие прославленные страны и города, как Италия, юг Франции, остров Мадейра и т. п. Конечно, тут и благословенный климат, и пресловутая чистота, и (яко бы) целебность самого воздуха, и многие другие привходящие (и далеко не всегда правильно учитываемые) обстоятельства делали свое дело и помогали многим больным, особенно с недалеко зашедшим процессом. Но когда узнали, во-первых, что и «под пленительным небом Сицилии» и т. п. райских уголков туберкулез распространен среди местного населения не менее основательно, чем в местах «злачных»; а, во-вторых, научились научно расценивать все привходящие факторы, то поняли, что климатолечение вовсе не лечение климатом, равно как и в аэротерапии дело не в одном воздухе, как таковом. Словом, теперь мы уже видим как раз обратную тенденцию, даже, пожалуй, усиленный перегиб палки в противоположную сторону. То все слали на юг, в теплые края, а нынче как раз норовят — на север, где холоднее. Самые прославленные «курорты» для туберкулезных находятся в Швейцарских Альпах — знаменитые Давосы, Лозанны и т. д. Здесь именно в зимние месяцы, среди снегов, на открытых верандах (но, правда, при изумительно-чистом воздухе горных вершин, при наилучших условиях питания, одежды и пр.), чахоточные больные

поправляются и выздоравливают ничуть не хуже, если еще не гораздо лучше, чем в расслабляющем и изнеживающем климате южных стран. Но при всем этом значение воздуха, как такового, не должно быть переоцениваемо: не об одном воздухе, как и не об одном хлебе, жив человек. Стало быть, и применение физических природных воздействий на туберкулезных больных имеет смысл и достигает цели только при комбинации нескольких, если не всех факторов воедино. И если говорят, что в том или ином из стяжавших себе всемирное имя курортов для чахоточных исцеляет климат, воздух, либо питательный режим и т. д., то это, конечно, неверно: и климат, и воздух, и питание и т. д. — это будет ближе к истине. В последнее время стали обращать особенное внимание на солнце как лечебный фактор, и не при одном только туберкулезе, но при нем-то преимущественно. При современном рациональном стремлении именно рационализировать, материалистически обосновать действие и применение всякого отдельного лечебного агента перестали удовлетворяться прежним «об'яснением» благотворного влияния солнечного света, что-де «куда проникает солнце, не приходит врач», что солнце «убивает микробы чахотки» (между тем, внутрь пораженных тканей, где гнездятся туберкулезные бациллы, солнце уж, конечно, не достигает). Ныне уже точно доказано, что действием специфическим отличаются именно ультрафиолетовые химические лучи солнечного спектра и что действие его весьма сложно, что в нем принимают участие и силы самого организма в лице нервной его системы, защитительных приспособлений со стороны крови, кожи и др. Так или иначе будем мы об'яснять сущность гелиотерапии, но самый факт остается вне сомнений: пребывание на солнце вообще, в особенности же так называемые солнечные ванны, т.-е. сильное прогревание на солнце всего (обнаженного) тела, либо отдельных его членов, оказывает действие на весь организм, иногда (у слабых, нервных и т. п.) настолько резкое, что оно может оказаться вредным и вызвать ухудшение, например, кровохаркание у чахоточного больного. Но зато правильно дозированная, т.-е. размеренная по минутам и силе напряжения лучевой энергии, эта актинотерапия является одним из могущественнейших лечебных орудий, которым неизменно и предпочтительно пользуются при разных экстра-пульмональных формах туберкулеза костей и суставов, кожи (так назыв. волчанке) и т. д. Но и больные чахоткой легких среди прочих природных способов лечения получают, разумеется, и свою долю солнцелечения, которое невозможно отделить от всего остального — воздуха, климата. Так как не все местности и, вдобавок, не все времена года дают возможность использовать непосредственным образом солнечный свет с терапевтической целью, то постарались лечить солнцем без солнца. Самую существенную составную часть его можно получить в виде ультрафиолетовых лучей, испускаемых парами ртути при накаливании ее в так называемой кварцевой лампе, и эта кварцлампа вошла сейчас в обиход всякого хорошо обставленного противотуберкулезного учреждения. Существуют также и лампы огромных размеров, так назыв. «горное солнце»: они обливают больных (или отдельные части их тела) целым потоком жгучих лучей с преобладанием ультрафиолетовых, так что кожа загорает, как

от настоящего солнца на каком-нибудь пляже южного курорта. От солнечных лучей и их суррогатов один шаг к лучам всякого иного рода, хотя бы и относящимся к категории невидимых. Здесь опять-таки первое место занимают лучи Рентгена. Мы говорили выше о том громадном значении, которое имеет рентгенирование туберкулезных больных с целью диагностики. Но рентгеновскими лучами также и лечат. Благодаря их способности проникать, пронизывать все ткани, можно рассчитывать с их помощью дойти до самой глубины болезненных очагов, что и достигается на самом деле. Правда, здесь на Коховские палочки Х-лучи не влияют убийственно (да даже и в пробирке с туберкулезной культурой это не всегда происходит), но все же в самом болезненном фокусе и окружающей его нормальной ткани происходят изменения, могущие повести к терапевтическому эффекту. Эта сторона дела также не вышла еще из периода опытов и изучения, но все же успехи — и значительные — в лечении Рентгеном туберкулеза хирургического и др. констатированы уже в настоящее время. Существуют, кроме лучей Рентгена, еще и некоторые другие виды лучистой энергии, которые могли бы быть использованы с лечебной целью при туберкулезе подобно тому, как их используют уже против некоторых других страданий. Таковы, скажем, лучи радия. Однако применение их и им подобных, строго говоря, вообще еще не вышло из рамок опыта, почему на этом долее останавливаться не будем. Во всяком случае, мы видим, что всевозможные способы актинотерапии (в широком смысле этого слова) находят себе применение и в фтизиатрии, хотя доселе пути в этом новом деле еще только нащупываются.

Если возвратиться снова к тому режиму, который предписывается туберкулезным больным в специальных лечебных учреждениях — больницах, санаториях и др., то увидим, что там, на ряду с климато-, воздухо-, светолечением, специальным питанием и т. п., весьма процветает еще лечение покоем. Этот вид лечения туберкулеза не получил особого греко-латинского названия (трудно сказать почему это так позабыли его окрестить?), но зато приобрел весьма лестную и почетную репутацию среди прочих методов. В самом деле, большую часть дня чахоточным больным предписывается покойное положение: они должны лежать на постелях, на особых кушетках разного типа — в комнатах своих, в общих палатах, в залах отдыха, на специальных верандах и террасах (защищенных от ветра и непогоды) — лежать во всякую погоду предпочтительно на свежем воздухе — лежать в разные часы дня, не говоря уже о ночи: после еды и после прогулок, после разных лечебных процедур и т. д., и т. д. Одним словом, лежание возводится прямо в какой-то терапевтический культ. И недаром мы видим, как в санаториях «мертвый час», т.-е. время «лежки», если можно так выразиться (уж лучше такое неуклюжее слово, по-моему, чем пахнущее ладаном «мертвый час», от которого поеживаются невольно слабонервные чахоточные, не забывающие никогда, что «чей-нибудь уж близок час»...) окружается положительно священным трепетом: попробуйте добиться свидания с родными, лежащими в тубсанатории как раз в подобный час — это ни за что не удастся. Стало быть, этому способу лечения придается огромное значение. В чем же

дело здесь? Суть, конечно, именно в покойном положении в течение многих часов в сутки и именно после некоторых вышеперечисленных моментов особого напряжения. Спит ли больной в это время, или нет, это уж не столь важно, более слабые засыпают, и им никто и ничего не мешает; но дело не в этом. Дело в том, чтобы больной имел абсолютный покой для всех членов тела (что обеспечивает правильное кровообращение, между прочим, и в больных легких и других частях организма, пораженных болезненным процессом, для пищеварительных органов отсюда лучшее усвоение пищи, — значит, и повышение веса, что так ценится и больными и врачами), для нервной системы (а нервная система, в последнее время в особенности, стала признаваться снова — одно время как будто это было позабыто — могучим рычагом, регулирующим все физиологические процессы вместе с отклонениями от нормы). Покой, следовательно, не даром возводится во главу угла. И это не только в туберкулезных лечебных учреждениях, а и во всевозможных других; но в туберкулезных преимущественно. И, действительно, эффект этого простого, дешевого, приятного и весьма полезного способа лечения сказывается на туберкулезных благотворнейшим образом и чрезвычайно быстро. Особенно, когда имеется дело с организмом рабочего, истощенным неустанным трудом, помимо подтачивающей его чахотки: дать ему возможность час-другой в течение дня просто полежать на чистом воздухе в покое значит уж много. Ну, конечно, здесь не следует забывать и о всех иных способах лечения — и в санаториях, разумеется, трудно бывает отделить результаты лежания от результатов всех этих лечебных факторов: ведь тут сочетаются все рассмотренные нами доселе природные воздействия, не говоря уже о специальных терапевтических агентах, к ознакомлению с которыми сейчас перейдем. Но сперва, однако, необходимо остановиться на одном оригинальном лечебном приеме, являющемся в известной степени противоположностью покою, хотя и ведущем в конечном итоге все к той же цели — выздоровлению. Мы говорим о движении, о труде, работе.

Как это ни представляется на первый взгляд парадоксальным, но труд такой же лечебный фактор, как и покой. Если больной туберкулезом находится в таком положении, что чрезмерный покой является для него излишним и даже, может быть, и вредным, или если после длительного лечения покоем он уже доведен до сравнительно хорошего состояния, находится, как принято выражаться, на пути к выздоровлению — тогда он инстинктивно сам стремится к деятельности. Особенно рабочий, наскучив вынужденным бездельем, томится по труде. Лежать, да лежать, это в конце концов начинает действовать на нервы, а мы уж упоминали (и еще придется к этому вернуться) о громадном значении уравновешенности нервной системы для туберкулезных больных. Сверх того, рано или поздно поправившийся, а то и вполне излечившийся больной должен же будем возвратиться в свою прежнюю трудовую обстановку, к своему рабочему станку и т. п. Вот тут-то и важно вовремя позаботиться о возвращении ему прежней трудоспособности, хотя, может быть, и не в полном об'еме. Отчасти отвыкшему от труда приходится вновь к нему приучаться, и делать это нужно постепенно, осторожно, под

постоянным контролем врача туберкулезника. Но труд, работа (та или иная) важны для туберкулезных больных и по другим причинам, помимо чисто социальных и, так сказать, психических. Мышечная деятельность повышает окислительные процессы в организме, улучшает переваривание пищи, способствует выделительным органам (почки, кожа) в удалении наружу отбросов, шлаков вместе с ядовитыми продуктами жизнедеятельности микробов. Точными исследованиями доказано к тому же и благотворное влияние работы на специфические процессы защитительного характера, протекающие в больном организме вообще, а в больном туберкулезом в частности. Но на этих тонкоразработанных подробностях мы по понятным причинам останавливаться сейчас не можем. Во всяком случае, в общем и целом, процессы кинетические и динамические — движение и труд — должны непременно входить в арсенал наших терапевтических мероприятий при туберкулезе как легочном, так и внелегочном. И уже более тридцати лет назад, когда только стали входить в медицинский обиход санатории для чахоточных, в них движение — в виде прогулок на свежем воздухе — ставилось почти наравне с лежанием. А в тех образцовых и богато-обставленных здравницах в Швейцарских Альпах, о которых мы уже упоминали выше, специальные приспособления для всякого рода спорта занимали далеко не последнее место. Ну, разумеется, там, куда стекались в большинстве богатые люди при первом намеке на грозящее заболевание, спорт мог быть именно спортом, вряд ли имеющим особое влияние в ту или другую сторону. Но в наших условиях, когда здравницам приходится иметь дело в первую голову с трудящимися и зачастую с довольно далеко зашедшим болезненным процессом, лечение трудовыми процессами приобретает совсем иную физиономию. Прежде всего это должен быть труд дозированный: под неусыпным наблюдением врача, который, вооружившись особыми приборами и лабораторными приспособлениями, размеряет работу больных по интенсивности и продолжительности ее, руководствуясь теми или иными реакциями крови и т. п. Затем важно труд индивидуализировать, приспособляя его к навыкам, вкусам больных, а также к характеру болезни. Занятия, скажем на огороде, весьма увлекают одних больных, но не подходят для других; лежачим больным с хирургическим туберкулезом нужно давать легкие ручные работы по оклейке, вырезыванию и т. п. в этом роде. Выздоравливающим легочным дают переплетные и деревообделочные занятия и др. В крупных лечебных туб. учреждениях у нас теперь заводят особые мастерские трудовых процессов, где дозированный труд входит в круг прочих методов лечения и с немалым успехом. В Англии это практикуется уже довольно давно и видят от этого только пользу.

В этом кратком изложении физических методов борьбы с туберкулезом как болезнью мы еще не всего коснулись даже мельком. Обширная область ухода за больным включает в себя целый ряд манипуляций, которые нельзя назвать в строгом смысле слова лечебными, но которые, тем не менее, являются таковыми в конечном итоге. Мы на них останавливаться не будем и перейдем к вопросу о хирургических способах лечения туберкулеза.

То, что хирурги оперативным путем лечат внелегочный туберкулез, никого, разумеется, не удивляет. Впрочем, область применения оперативного метода здесь не так уж широка, и хирургу чаще приходится прибегать к консервативным приемам, нежели к ножу. Ведь туберкулезные поражения костей и суставов, как бы часто они ни встречались, в большинстве случаев попадают в руки к хирургу уже в весьма запущенном состоянии, когда оперативное вмешательство невозможно, так как поражено слишком много, да и само разрезание, отрезание и т. п. уже никакой пользы по существу не может дать. Кроме того, туберкулезные поражения по самой природе своей принадлежат к таким, которые лучше не трогать, выгоднее оставить в покое — тогда заживление идет вернее. И, наконец, самое главное это то, что никогда почти не встречается случаев изолированного хирургического туберкулеза: если имеется заболевание ребер, бедра, позвоночника и пр. и пр., то непременно у этого же больного есть и чахотка легких, либо еще какая-нибудь локализация того же процесса. Это и вполне вяжется с современным учением об этапах развития туберкулезной инфекции в организме, чего мы вкратце касались в самом начале настоящей статьи. Но поэтому-то главным образом и лишено смысла оперативное лечение туберкулеза в виде агрессивного воздействия на специфический очаг. Вот почему хирургу при туберкулезе так редко приходится браться за нож. Он лечит консервативно: прежде всего старается сохранить здоровые ткани от распространения в них туберкулеза по соседству и дать максимальный покой пораженным членам, что способствует заживлению процесса. Шины, корсеты, гипсовые повязки, неподвижное лежание в постели — всякие иные способы иммобилизации, зачастую на долгие месяцы и даже годы — вот что составляет сущность хирургического лечения в данных случаях. Ну, разумеется, где необходимо, хирург и проколет, и разрежет, и прижжет и т. д., но в общем все же стремится к консерватизму и тем достигает больших успехов. Мы видим сплошь и рядом, что быстрый ход туберкулеза костей и суставов затихает, замедляется от этих мер (наряду, конечно, с общими укрепляющими и т. п. способами, о которых частью говорилось, а частью будет речь ниже), и больной начинает поправляться, приобретает вновь способность к владению своими членами. Пусть это не полное возвращение трудоспособности либо способности к передвижению (хотя и это бывает в полной мере, если вовремя предпринято лечение), но все же это остановка губительного процесса, это иногда прямо отсрочка неминуемой смерти...

Более активным проявляет себя хирург в несколько обособленной сфере так называемого гортанного или горлового туберкулеза. Под этим названием нужно понимать вообще локализацию туберкулезного процесса в верхних дыхательных путях, начиная с зева, в разных местах гортани, дыхательного горла и до бронхов и включая сюда также полость носа и уха, ибо все это принято включать в область компетенции ларингологов. Здесь, при этих, зачастую финальных актах туберкулезной трагедии (хотя бывают поражения слизистой гортани и весьма рано), протекающих с крайне тяжелыми симптомами, именно хирург может сделать очень много. Он удаляет начальное

какое-нибудь бугорчатое высыпание, вырезает язвочку, залечивает ее прижиганиями (термическими либо химическими) и, на ряду с общим и специфическим лечением, добивается улучшения, а то и полного излечения местного процесса. Больной, дошедший до полной потери голоса, начинает говорить; зарубцовываются язвы, лишавшие больного возможности глотать пищу, и т. п. Интересно, между прочим, что с усовершенствованием хирургической техники вообще и врачи-горловики стали решаться в последнее время на такие операции, о которых раньше и мечтать нельзя было. Такова, например, операция на гортанных нервах, благодаря которой теряется чувствительность слизистой глотки. Проделывается она обычно таким больным с далеко зашедшим разрушением тканей, которые не в состоянии глотать из-за невероятных болей. А после операции перерезки (или иного способа) нервов они вновь приобретают способность безболезненно питаться и тем на некоторый срок удается продлить их жизнь. Конечно, строго говоря, это не лечение, и уж подавно не излечение, но облегчение страданий есть не менее важная задача и обязанность врача. Здесь опять-таки известный принцип консерватизма вступает в свои права. Но еще более яркое выражение он получил в тех хирургических процедурах, которые направлены к непосредственному излечению легочной чахотки. К ним относится прежде всего чрезвычайно распространившееся за последние 1½ — 2 десятилетия оперативное вмешательство, известное под названием искусственного пневмоторакса. Эта в общем несложная операция состоит во вдувании в полость плевры газа под давлением, благодаря чему сжимается, сдавливается легкое соответствующей стороны, и больному предоставляется дышать только одним оставшимся нетронутым (и уж само собой подразумевается, — совершенно здоровым, устраняется же туберкулезное). Итальянский врач Ф о р л а н и н и, предложивший первым эту операцию, вводил в окололегочный мешок азот, ныне просто нагнетают через вколотую в межреберье иглу воздух; принимаются, конечно, все меры к тому, чтобы не внести туда микробов, не нарушить деятельности сердца, второго легкого и т. д., и т. д. Целый ряд условий, показаний и противопоказаний должен быть соблюден, и тогда сама техника наложения пневмоторакса настолько несложна, что ее производит врач положительно пòходя. Да и больной подвергается операции вдувания походя, без наркоза, встает с сжатым легким и уходит домой и даже на работу. Нагнетаемый в плевру газ, понятно, исподволь рассасывается, и пневмоторакс приходится повторять по несколько раз с разными промежутками. Суть дела ясно в чем: сдавленное газом легкое не дышит (оставшегося, если оно здорово, вполне достаточно для дыхания), не работает, остается в покое и пользуется этой «передышкой», чтобы развить самоизлечивающую деятельность клеточных элементов вокруг туберкулезных гнезд, которые в конце концов должны изолироваться рубцовой тканью от здоровых участков, а впоследствии и окружиться известковым барьером.

Не всегда дело происходит так, как мы рассчитываем, и на один пневмоторакс врачи обыкновенно не полагаются, но все же этот метод среди

многих других, имеющихся в нашем распоряжении, один из наиболее действительных. Нужно добавить здесь, что после лечения вдуваниями, подчас после нескольких десятков их, легкое снова расправляется и продолжает функционировать даже лучше прежнего, если процесс пошел на убыль, а то и вовсе зарубцевался.

Но в стремлении своем дать больному органу покой и при этом еще посодействовать исцеляющим силам природы, а также и своей спасительной смелости, хирурги пошли еще дальше. Ныне они оперируют на туберкулезном легком, как на всяком ином органе, не боясь осложнений и преследуя ту или иную определенную цель. В большинстве случаев это все то же стремление дать покой больной части легкого. Для этого хирурги производят операции так называемые френикотомии — перерезкой особых нервов приостанавливают работу грудобрюшной преграды; или делают торакопластику — это серьезная и кровавая операция удаления ребер, иногда многих зараз. Мало того, проделывается так наз. апиколиз (освобождение легочной верхушки и тем самым спадение ее — при туберкулезе ее, конечно) и «пломбировке» легкого, когда каверна заполняется жиром или другой тканью от того же больного. Как видим, изобретательности и отважности хирургов в этой трудной области положительно нет границ, и если нельзя (и, должно быть, никогда нельзя будет) прямо вырезать туберкулезные очаги из легочной паренхимы, то за то многими путями можно к ним проникнуть и влиять на ход болезни. И тут, опять-таки, мы поневоле ограничиваемся сжатым изложением научно-практических достижений в борьбе с туберкулезом, едва ли не простым перечнем их; но наша задача именно — показать читателю, что медицина далеко не безоружна в этом отношении, что искусство лечить (и излечивать!) все виды туберкулеза стоит не на меньшей высоте, чем наука о его предупреждении.

Спрашивается, где же то, всем известное, исстари заведенное, веками испытанное лечение, без которого и врач — не врач и медицина — не медицина? Ведь мы так приучены к тому, что врач не уходит, не прописав рецепта, и от врача прямая дорога — прежде всего в аптеку. А тут — воздух, климат, еда, покой, движение... Где же лекарства от болезни? Мы еще поговорим потом о том, есть ли и могут ли быть действительно лекарства «от» туберкулеза, но во всяком случае туберкулезных больных и лекарствами лечат. И даже весьма. Нельзя, в самом деле, обойтись без назначения лекарств (как бы мы ни стояли за меры профилактического характера предпочтительно перед всякими иными), раз этого требуют те или иные явления, вредные для больного. Необходимо устранить сильный кашель, который не дает несчастному чахоточному уснуть, а при тяжелой форме туберкулеза может даже вызвать опасные осложнения — вроде, например, самопроизвольного пнеймоторакса. Нужно бывает устранить изнуряющие ночные поты, остановить явление со стороны кишек, понизить лихорадочную температуру, улучшить аппетит, изменить состав крови и т. д., и т. д. Все это может быть достигнуто употреблением разного рода лекарств, которых обширный арсенал имеется в распоряжении врача. Но

не следует забывать, что это все средства симптоматические, что самого-то туберкулеза они в сущности не лечат, хотя самим устранением вредных для организма симптомов несомненно содействуют ему в борьбе с врагом и таким образом косвенно способствуют излечению. Но не так далеко от нас то время, когда медики верили, что некоторыми лекарственными веществами можно подействовать на самую сущность туберкулезного процесса. Так, например, лет тридцать — сорок назад от каждого чахоточного пахло креозотом: его назначали всем больным без исключения, хотя вряд ли кто видел от него большую пользу. Одно время усиленно заставляли туберкулезных вдыхать скипидар, анилин и т. д. Увлекались то тем, то другим, и увлекались, разумеется, искренно и, так сказать, вполне научно, ибо как никак, а известный процент благоприятных эффектов от разных «противотуберкулезных» средств видели — правда, не всегда можно было с уверенностью утверждать, что действует именно данное лекарство: ведь на ряду с медикаментами издавна уже придают большое значение и уходу, и питанию, и всему режиму больного. Как бы то ни было, каждое из этих якобы специфических средств против туберкулеза проделывало неизменно один и тот же путь: непомерное восхваление (почти всегда нераздельно с торгашеской рекламой) и — забвение (не всегда даже вполне заслуженное). Оно и понятно. Ведь весь смысл специфичности заключается в непосредственном воздействии на первопричину болезни, на ее возбудителя — туберкулезного бацилла. А как раз этим-то действием ни одно из мириад предложенных средств и не обладает. Но тут нужно оговориться: на Коховскую палочку, как таковую, взятую в виде чистой разводки в пробирке, убийственно влияют очень многие вещества; однако это не значит, что таково же будет их действие в организме больного. Здесь прежде всего мы требуем от лечебного средства, чтобы оно было безвредным для человека. Есть масса ядов для микробов, в частности для туберкулезных бацилл (таковы все почти дезинфицирующие вещества — сулема, карболка, купорос, формалин и т. п.), но они едва ли не так же ядовиты и для животных клеток — нельзя же в самом деле «с водою выплеснуть из купели и младенца».

Истинная химио-терапия, т.-е. наука о рациональном применении химических веществ (а ведь все лекарства — химические соединения) с лечебною целью при заразных болезнях народилась весьма еще недавно — всего каких-нибудь пятнадцать лет назад. Отец ее, знаменитый Эрлих, на примере своего сальварсана показал, как можно бесконечно обострять противомикробные свойства химического вещества, в то же время притупляя ядовитое влияние на ткани и органы инфицированного организма. Этим путем пробовали итти и при туберкулезе. Пробуют и по сей день. Это значит, что и по сей день еще не найдено такого химического вещества, которого могло бы, подобно сальварсану при сифилисе и других спирохетных инфекциях, стерилизовать организм чахоточного, убивая в нем Коховские бациллы. Но некоторые из достигнутых результатов заслуживают внимания. Лет пятнадцать тому назад большой интерес возбудило предложение лечить туберкулез анилиновыми красками. Некоторые из них, как фуксин, трипа-

розан и др., действительно, обнаруживают особое избирательное сродство к телам бацилл и в таких концентрациях, которые еще безвредны для их хозяев. Значительные успехи от применения подобных анилиновых красок при других болезнях заставили надеяться и здесь. Однако при туберкулезе дело оказалось в несколько ином положении, хотя, повторяем, видными фтизиологами были констатированы успехи и здесь. Весьма возможно, что дальнейшее углубление химио-терапевтической работы в смысле и духе покойного Эрлиха даст более осязательные результаты и в направлении туберкулеза. Но пока, видимо, этим бросили заниматься.

Зато в центре внимания фтизиологов в настоящий момент стоят противотуберкулезные средства иного порядка, хотя тоже построенные на принципе рациональной химиотерапии. Это именно тяжелые металлы. Еще сам Кох, вскоре после открытия им туберкулезного бацилла, начавший изучать действие на его культуры различных дезинфицирующих веществ, остановился именно на солях ртути, меди, золота и некоторых других, как элективно туберкулоцидных. Цианистая ртуть в его опытах задерживала развитие бацилл в разведениях свыше 1 : 10000, а золото даже свыше 1 на миллион.

Попытки тогда же перенести результаты этих опытов на человека оказались неудачными по преимуществу вследствие нестойкости солей тяжелых металлов, особенно золота, в организме, а кроме того и из-за ядовитости многих из них, как ртутных, медных соединений и т. п. Испытаны были и другие металлы, едва ли не все редкие (как рутений, палладий) и драгоценные (платина, например), но без эффекта. Только в последние годы надежды оживились, благодаря большим достижениям химиков, сумевших синтезировать стойкие соединения металлов с сохранением их антисептических свойств и с минимальной ядовитостью. После некоторого увлечения соединениями меди, все внимание сосредоточилось на золоте. И мы сейчас располагаем даже не одним препаратом золота, настойчиво рекомендуемым для лечения туберкулеза. Уже несколько лет применяется кризольган (соединение золота с серой) с весьма недурными результатами. Горловики излюбили другой препарат золота — трифаль, и о нем очень хорошие отзывы. Но особенный шум поднялся вокруг санокризина. Это тоже сернистое соединение золота, предложенное копенгагенским профессором Мёльгаардом и испытанное им сперва на лабораторных, как водится, а затем и на крупных животных — туберкулезных коровах (автор — профессор ветеринарии). Затем перешли к людям. У туберкулезных больных санокризин, оказывается, дает некоторые нежелательные побочные явления, которые Мёльгаард об'ясняет отравлением туберкулезными токсинами, освобождающимися из растворенных санокризином тел бацилл. Для устранения этих вредных ядов он впрыскивает больным, на-ряду с санокризином, противотуберкулезную сыворотку, нейтрализующую эти яды. Пока что, средство еще испытывается в авторитетных клиниках всего мира, и сообщения большею частью еще сдержанные; однако зарегистрированы уже случаи несомненного излечения. Опять-таки нужно сказать, что и это

скорее всего еще не последнее слово науки в этой области, но усовершенствование «ауротерапии» (от аурум — золото) обещает много.

Итак, вот еще один путь борьбы с туберкулезом, путь, по которому наука идет быстрыми шагами и придет к цели рано или поздно.

Нам остается рассмотреть еще один способ борьбы с туберкулезом — при помощи специфического лечения. Мы намеренно оставили его на самый конец, так как он представляется наиболее разработанным научно и требует поэтому значительного углубления в сущность дела, а кроме того, как раз специфическое лечение есть своего рода experimentum crucis, пробный камень научных достижений при всякой заразной болезни вообще. В самом деле, возьмем любую из острых инфекций. Там, если уже известен микроб — возбудитель заболевания, то, на ряду со всесторонним изучением его свойств, выработкой методов диагностики, главное внимание исследователей направляется в сторону иммунитета: нельзя ли изготовить против него сыворотки или иным образом (в виде вакцины и т. п.) приспособить этот микроб к борьбе против него же самого. И мы знаем, что этот вопрос успешно разрешен при дифтерии, столбняке, дизентерии, стрептококковых заболеваниях (роже, послеродовом сепсисе и др.), при многих болезнях животных — мы располагаем здесь специфическими сыворотками, обнаруживающими лечебное и предохранительное действие подчас положительно блестящим образом. Если по причинам, частью свойства технического, частью биологического, не против всех заразных болезней эти сыворотки существуют, то зато с такими можно не менее успешно бороться с помощью вакцин — предохранительных прививок. Так, широкое распространение получили у нас прививки против холеры, брюшного тифа (с так называемыми паратифами), дизентерии, детских поносов, частью против чумы и т. д. А еще в более широком масштабе пользуются вакцинами ветеринарные врачи для предохранения домашнего скота и птицы от многих губительных эпизоотий, как сибирская язва, чума рогатого скота, куриная холера и мн. др. Применяют эти же вакцины — в виде убитых культур соответственных микроорганизмов либо разных экстрактов из них — и для лечения болезней, особенно затяжного характера. Это называется вакцинотерапией и весьма в ходу при всяческих хронических нагноениях где бы то ни было. Странно было бы, если бы туберкулез остался в стороне от этого движения, если бы при всем значительном углублении в иммунобиологию туберкулезной инфекции, чего мы уже коснулись в свое время, не было попыток добыть антитуберкулезную сыворотку. Разумеется, попытки эти делались, делаются и по сей день; сывороток, изготовленных разными способами, предложено в свое время немалое количество, но из всего этого ясно, что для настоящей специфической серотерапии туберкулеза время еще не настало. Возможно, что оно и не настанет никогда по причинам, коренящимся в самой биологии Коховского бацилла, с одной стороны, и особенностям в течении болезни — с другой. И это, и другое отличаются необычайной сложностью. В самом деле, возьмем такие яркие токсические болезни, как дифтерия, столбняк и некоторые другие. К счастью для человечества и для ученых бактериологов, здесь дело

обстояло просто, прямо до математичности. Палочка выделяет растворимый яд — токсин, который сравнительно легко получается в бульоне отдельно от тел самого микроба. Постепенно восходящими дозами впрыскиваемого токсина лошадь приучается к нему, иммунизируется и в результате выработавшейся невосприимчивости в крови животного накопляется противоядие — антитоксин. Сывороткой этой лошадиной крови мы и лечим дифтерию без осечки, если своевременно впрыснуть больному достаточную дозу антитоксина. То же и при столбняке и др. болезнях токсического характера. С другими хуже: яда растворимого при них нет, его приходится извлекать из самих тел микробов (это так наз. эндотоксин), и сыворотка иммунизированных к нему лошадей уже не так верно может действовать в больном организме. Поэтому-то мы еще не имеем безошибочно действующих сывороток против чумы, холеры, тифов. Но при всем том с туберкулезом дело неизмеримо сложнее. Тут и токсин есть, т.-е. фильтрат туберкулезной разводки оказывает ядовитое действие (хотя и слабое) на животных, а на человека и подавно; и иммунизировать этим токсином лошадь — дело обычного лабораторного шаблона. Но, когда пробовали лечить этой сывороткой чахоточных, эффект получался нулевой, а иногда даже и вред. Из тел туберкулезного бацилла возможно извлечь немалое количество разнообразных веществ, действие которых на животных (больных и здоровых) уже довольно хорошо изучено. Об них мы уже отчасти говорили, отчасти же еще разговор впереди. Типичным образцом их является туберкулин К о х а. Но когда им (и ему родственными продуктами) пытаются добиться выработки антител у лошади — не тут-то было... Или никакого толку не получается, т.-е. нет в сыворотке антитуберкулина, или же находящиеся в ней антитела (все-таки не анти-туберкулин в строгом смысле слова) не действуют целебным образом на туберкулезных больных. Мы не станем здесь перечислять эти сыворотки, которые добывались разными учеными в разных странах. Некоторые из них в свое время достаточно нашумели, но все они неизбежно нашли забвение и разве только имена их авторов, как М а р м о р е к, М а р а л ь я н о, Н е п о р о ж н и й и др., говорят за то, что попытка серотерапии туберкулеза есть задача величайшей трудности, а возможно, что и совершенно неразрешимая. Достаточно уже одного состава туберкулезного бацилла, по обилию жировых и жироподобных веществ резко отличающегося от состава почти всех других известных нам болезнетворных микробов, чтобы увидеть, что тут сывороткам антибелкового типа (а доселе мы знаем только такие) не место. Да и сам больной туберкулезом организм — вряд ли подходящая арена для серотерапии, буде она даже и окажется в пределах нашей лабораторной досягаемости. Пусть сыворотка нейтрализует яды — бациллы в своих очагах непрерывно вырабатывают новые. Пусть она будет бактериолитической, т.-е. растворяющей сами тела бацилл, — еще большая опасность от наводнения организма массой освободившихся эндотоксинов. Но это мы берем крайности и то предположительно. На деле же применяемые (кое-где еще и в наше время) сыворотки действуют лишь односторонне и мало надежно. Вместе с тем не исключена возможность для антитуберкулезной серотерапии в ряде опре-

13*

деленных узких показаний. Вот мы видели, как при лечении своим санокризином Мёльгаард ослабляет действие освобождающихся по растворении бацилл ядов особого рода сывороткой. Стало быть, серотерапия, как одно из средств борьбы против туберкулезной интоксикации, вещь желательная и возможная. Нельзя же ожидать от нее того, что дает она при дифтерии и т. п., — самый хронический характер от туберкулезной инфекции не позволяет проводить аналогию.

Совсем иначе обстоит дело, когда мы возьмем вторую часть специфической терапии — вакцинотерапию. Прежде всего мы располагаем, можно сказать, идеальной вакциной: это уже много раз упоминавшийся в этой статье коховский туберкулин. Когда Кох в 1890 году нашел свой туберкулин, добыл его экстрагированием, сгущением убитых бульонных культур своей палочки, то он сперва не думал применять свой препарат с лечебной целью, а лишь удовлетворился констатированием факта необычайной ядовитости этого туберкулина. Крайне малые дозы его убивали морскую свинку, заранее зараженную туберкулезом, в то время, как здоровое животное и на большие дозы впрыснутого туберкулина никак не реагировало. Отсюда пошло употребление туберкулина с диагностической целью у животных (гл. образом рогатого скота) и людей, о чем мы подробно говорили в первой части. Но тогда же сам Кох подметил, что зараженные туберкулезом лабораторные животные могут переносить еще меньшие дозы (менее одной стотысячной доли кубического сантиметра) уже не только без вреда для себя, кроме скоропреходящей реакции, но даже с пользой: они живут значительно дольше контрольных. Разумеется, это наблюдение было повторено многократно на животных разного рода — мелких, крупных и пр. и лишь после нескольких лет экспериментальных исследований Кох решил выйти из рамок лабораторного опыта и сделать попытку лечения туберкулином человека. Первые опыты и здесь дали ободряющие результаты. Но то, что последовало за этим, было поистине кошмарно и лишний раз доказало, что отмерять нужно не семь раз, а семь раз семь... В Берлин к Коху началось настоящее паломничество — больных, врачей, ученых бактериологов. Первые молили вернуть им жизнь и здоровье и... гибли от впрыснутого туберкулина, ибо за отсутствием легких—новых не вставить и самому Коху, а туберкулин вызывает реакцию вовсе не всегда целебную. Вторые пытались добыть у Коха хоть грамм целебного элексира, не умея еще с ним обращаться (да и сам автор тогда не владел своим обоюдоострым мечом, как владеет им теперь любой начинающий «туберкулезник») и питая в глубине души вожделения, весьма далекие от искоренения туберкулеза с лица земли. Третьи... присматривались, стараясь высмотреть «секрет производства» (из которого, впрочем, Кох и секрета никакого не делал), критиковали, радуясь возраставшим неуспехам нового метода. Что делать? Люди только люди, не больше, часто меньше...

После жестокого фиаско, стоившего жизни порядочному числу людей, как бабочки на огонь налетевших на светило науки, слишком рано вынесшее свое открытие на суд товарищей и в практическую жизнь, наступило затишье, длившееся около десятилетия. Туберкулин предали анафеме (в на-

учно-изысканных терминах, конечно) и забвению. Но, к счастью, сам Кох и плеяда верных ему и его идеям учеников не забросили туберкулина, продолжали работать над усовершенствованием его приготовления, выработкой точных и безопасных способов его применения у постели больного, и ныне в «Кохине» (так его прозвали в те годы для сокращения, а вернее — в насмешку) мы имеем могущественнейшее орудие для борьбы с туберкулезом. Теперь уже точно известны показания и противопоказания к его употреблению; другими словами, — каким больным, в какой стадии, в какой дозе и в каком виде можно туберкулин назначать, а каким, когда и почему нельзя. Теперь осторожными впрыскиваниями туберкулина целыми годами поддерживают подходящих больных на уровне положительно цветущего здоровья, так что и признать в нем чахоточного нельзя. Теперь научились лечить туберкулином и подкожно (впрыскиваниями), и накожно (втираниями), и даже внутрь (через рот), и еще разными способами, ослабляющими возможные резкие реакции и повышающими целебное действие этого препарата. Теперь, наконец, имеются различные сорта туберкулинов, отличающиеся друг от друга чистотою, свободою от посторонних примесей, повышенной либо пониженной активностью, а то и содержанием некоторых особых составных частей, искусственно введенных туда со специальными целями. Словом, уже не туберкулин, а целый арсенал туберкулинов. Но все же и по сей день громадное большинство фтизиатров отдает предпочтение основному «старому» туберкулину (он так и называется «alttuberkulin»), ибо в этом арсенале есть немало и заржавленного и просто заведомо негодного оружия. Реклама и спекуляция и сюда проникли...

Стало быть, так или иначе проводимая туберкулинизация с лечебною целью есть истинная вакцинотерапия, как мы ее обрисовали выше. Более того, для лечения туберкулезных применяют и настоящие вакцины уже не в виде только экстрактов-вытяжек, а самих именно тел туб. палочек, а также всяческих их дериватов. Мы не имеем здесь в виду знакомить читателя со всеми тонкостями этого сложного вопроса, а тем менее — вводить в дебри чисто-лабораторной методики.

Скажем лишь, что лечебных препаратов специфического характера много, что каждый почти крупный лабораторный работник в этой области имеет свой им излюбленный, испытанный и изменяемый с годами в сторону улучшения. Все это, как обычно, говорит за то, что ни единства, ни совершенства в этом деле покамест не достигнуто. Нет еще полного согласия между учеными и по вопросу о теоретическом толковании сущности действия туберкулина и ему подобных средств на больной организм.

Но все это, однако, не мешает тому, чтобы туберкулин вошел в повседневный обиход врача-туберкулезника. Можно с полной уверенностью предсказать, что именно на этом пути активной иммунизации (может быть, в виде далеко непохожем на современную туберкулинизацию) будет побеждена «истинно-пролетарская болезнь», как любят называть у нас туберкулез, воздавая ему этим честь, совсем неожиданную и незаслуженную...

Есть, впрочем, довольно много ученых, этой уверенности не разделяющих, т.-е. считающих туберкулез принципиально неизлечимым, хотя и могущим долгие годы оставаться в пораженном организме в скрытом состоянии, благодаря чему и больной переходит в разряд «практически здоровых» — по удачному крылатому словечку, пущенному впервые известным знатоком этого дела д-ром Карпиловским.

По убеждениям этого лагеря ученых, лечить туберкулез, конечно, можно и нужно, но бесконечно важнее его предупреждать. С этим, впрочем, согласны все, разногласия — лишь в способах этого предупреждения.

Напоминаю, что мы с самого начала уговорились держаться строго в рамках достижений, чисто медицинского характера, оставляя в стороне подход общественный — может быть, уж в самом конце мы рискнем высказать свой личный взгляд на эту сторону дела.

Итак, как же предупреждать туберкулез мерами индивидуальными? Тут уж все авторитеты согласны прежде всего в том, что предупреждение это должно проводиться с самого раннего детства, если возможно, с первых дней после рождения на свет: тогда лишь можно надеяться, что туберкулезная инфекция еще не успела проникнуть в организм младенца (и то не на все 100% — добавим от себя). А если же она проникнет, тогда какое же будет предупреждение? Итак, следовательно, как только родился, так сейчас и предохранять от туберкулеза? Как будто рановато, не правда ли? Но, с другой стороны, не будем забывать того твердо установленного факта, что заразиться-то туберкулезом ему суждено уже непременно на все 100% — в условиях жизни нашего культурного человечества. А затем, что тут в сущности такого исключительного, чего надо бы остерегаться? Разве не прививают оспы в самом раннем младенчестве, а в некоторых родильных домах именно в первые дни по рождении? Даже не выпускают матери из учреждения, пока у ребенка не привьется оспенная вакцина. А между тем шансов встретиться с натуральной оспой в жизни у такого младенца куда меньше, чем с туберкулезом. Но вот вопрос: чем же прививать против туберкулеза? Конечно, туберкулезом же, только, подобно оспе, безвредным. Мудрили тут немало, мудрят и по сей день: один ученый предлагает туберкулин особого качества, другой — убитые Коховские бациллы, третий—живые, но ослабленные; четвертый—родственные им, но невинные микробы. В общем, как видно, пока и тут последнее слово не сказано. Но последние по времени (а кто знает, чего доброго, и действительно последними по существу достигнутых успехов?) являются прививки Кальметта. Этот крупнейший из современных ученых фтизиологов уже несколько лет производит опыты предохранения младенцев от туберкулеза, давая им внутрь на 6-й и 9-й день по рождении в жидком виде культуру особого вида бычьего туберкулеза, доведенного 13-тилетним ведением в особых условиях лабораторной жизни до полной потери вредностности с сохранением способности иммунизировать. И на животных лабораторных (свинки, кролики) и на домашних (особые телята), и даже на диких (обезьяны в специальном питомнике Пастеровского Института в Африке) обнаружилось предохраняющее действие Кальметтовской прививки. Опыты на людях исчи-

сляются уже тоже сотнями, и привитые ребята (некоторым около двух лет, кое-кто из них при туберкулезных матерях и вообще все в обычных условиях городской жизни) следов туберкулеза пока не обнаруживают; некоторые успели умереть, но от разных других причин, только не от туберкулеза. Такой блестящий успех никем доселе не был достигнут, и если Кальметт на правильном пути, то в недалеком будущем нам суждено быть свидетелями крупнейшего переворота в борьбе с туберкулезом, едва ли не окончательной победы над страшнейшим бичом человечества. Вряд ли здесь есть большой пересол! Вспомним ту же оспу. Ведь исчезновению ее с лица земли мешают только социально-бытовые и этнографические условия, благодаря которым она нет-нет да и вспыхнет среди каких-нибудь невежественных народцев Азии (или, что то же, среди секты противников оспопрививания, по недоразумению именуемых «просвещенными» мореплавателями), а оттуда перекинется к нам; но при поголовном оспопрививании мы платимся лишь единичными жертвами.

Вспомним сифилис: мы его лечим ныне без осечки, мы его излечиваем (хоть и не на все 100%, но это придет), мы уже предупреждать его умеем стоварсолом, а в будущем справимся с ним, как с оспой, наверняка. Почему же туберкулезу быть исключением? Из всего того, что уже достигнуто наукой в борьбе с ним, можно с уверенностью заключить, что полная победа над ним не за горами — не мытьем, так катаньем, а вернее и тем и другим: и физические методы, и хирургия, и химиотерапия, и специфические прививки — все соединятся в дружном натиске на общего врага.

Нет ни малейшего сомнения, что эти наши взгляды встретят не мало возражений со стороны приверженцев исключительно общественного подхода в деле борьбы с туберкулезом. Тут мы услышим упреки и в необоснованном оптимизме и в «перегибе палки» и в намеренном игнорировании социальных мер антитуберкулезной борьбы и т. д. Это будет даже не вполне несправедливо и совершенно понятно. Всякому свойственно переоценивать значение того оружия, которым он привык сражаться и, добавим, сражаться победоносно. Ибо, разумеется, победоносно сражаются туберкулезники-общественники, отвоевывая у туберкулеза позицию за позицией своими диспансерами, ночными и дневными санаториями, санпросветительными мерами, оздоровлением труда и быта и пр. и пр. — Ведь это по существу стремление к грядущему социализму только с лозунгами антитуберкулезной пропаганды! И лозунги, и стремление, и достижения блестяще себя оправдывают чуть не каждый день.

Но разве не столь же блестящи достижения науки и медицинского искусства, которые мы старались развернуть перед читателем, быть может, в несколько сбивчивом виде и невполне усвояемой форме? А перегиб палки есть и там, и это также более, чем естественно. Некоторые весьма видные фтизиологи (конечно, клиницисты с общественным уклоном, но отнюдь не с лабораторно-экспериментальным подходом), не обинуясь, высказывают даже такого рода идею, что туберкулез-мол является своего рода спасительным жупелом, под фирмой которого только и возможно проводить в толщу народных масс санитарное просвещение и здравые гигиенические понятия. Из этого они

готовы сделать вывод, что не будь на свете туберкулеза, которым мы так ловко научились пугать публику, то моментально на смарку пошло бы все дело здравоохранения, которое, понятно, лишь постольку является охранением здоровья, поскольку оно зиждется на платформе профилактической.

Нужно ли долго останавливаться на этой явно нездоровой идее?! Всякому должно быть ясно, что не одной боязнью туберкулеза вызываются наши социально-гигиенические мероприятия общегосударственного охвата, равно как и меры характера индивидуального. Лозунг «не целуй детей в губы» годен и для противосифилитической пропаганды и в качестве меры предохранения ребят от инфлуэнцы, дифтерии, скарлатины, зубных болезней, даже чумы, если хотите... И пусть все болезни исчезнут из нашего злачного мира, а основы гигиены останутся незыблемыми: так же вредно будет переутомляться, жить на «площади» вместо квартиры, питаться недостаточно и нерационально и т. д., и т. д.

Итак, да сгинет туберкулез, будем содействовать этому всякий по своим силам, знаниям и разумению — и все в полной уверенности в победе и без всякой боязни подорвать этим здоровые устои будущей жизни человечества, не знающего, что такое болезнь.

Батист и Титаник.

Борис Кушнер.

Северо-восточная часть Ирландии, провинция Ульстер, является крупнейшим в мире центром льняного дела. Здесь сосредоточено более 80% льнопрядильной и льноткацкой промышленности Великобритании и свыше 30% мировой.

В столице провинции Ульстер, в Бельфасте, находятся знаменитейшие предприятия. На фабрике «Гривс, Лимитед» установлено 70.000 веретен. Мировой рекорд. «Йорк Стрит Флакс Спиннинг Кòмпани, Лимитед» имеет всего лишь 63.000 веретен. Зато она изготовляет не только пряжу, но и готовые льняные ткани. До самых тонких сортов батиста. По об'ему производства и по числу рабочих она самая большая льняная фабрика в мире. Фабрика «Яффе Спиннинг Кòмпани» известна своим усовершенствованным и сложным оборудованием. В своем роде такой же уникум, как и обе предыдущие.

Большая часть пряжи и тканей, вырабатываемых на предприятиях Бельфаста, идет на экспорт. Во все страны и уголки земного шара. Основным потребителем являются Соединенные Штаты Северной Америки.

В льнопредприятиях Бельфаста занято около 120 тысяч рабочих. Такое сосредоточение льнопромышленности вызвало здесь к жизни большое количество подсобных и вспомогательных производств. Особого развития достигло льнотекстильное машиностроение. Благоприятное положение в хорошем морском порту способствовало экспорту тяжелых текстильмашин во Францию, Бельгию, Германию, Австрию и Россию. В деле постройки льнотекстильных машин Бельфаст опередил и далеко оставил за собою более старую иоркширскую машиностроительную промышленность с центром в Лидсе.

Бельфаст не только льнопромышленный центр. Льнофабрики, крупнейшие в мире, и машиностроительные заводы отнюдь не являются самыми грандиозными его предприятиями. Первенство принадлежит гигантской кораблестроительной верфи «Харленд энд Вульф» — родине Титаника и целой толпы морских исполинов.

Для сооружения пассажирских пароходов в полсотни и более тысяч тонн нужны, конечно, необычайные строительные средства. Эллинги бельфастской верфи сплетены сплошь из одних лишь железных ферм — столбов, мостов и под'емных приспособлений. Они красивей и величественней бессмысленной

и не нужной никому Эйфелевой башни. Обширность эллингов, их вместительность и высота подчеркнуты легкостью, соразмерностью частей и ясностью линий. Они, как железное кружево, протянутое от зеленой воды залива к дымно-голубому небосклону. На них никогда не устанешь смотреть и не устанешь слушать равномерный металлический грохот их работы.

Хорошо расположен Бельфаст. Раскинулся в цветущей долине реки Лаггон между холмами и заливом. Залив выходит в Ирландское море, долина ведет к огромному озеру Лох Нэ, горы лезут в высь. Склоны холмов зеленые, кое-где покрыты лесом. На вершинах пробиваются наружу округлые серые и бурые скалы. Скалистая вершина самой высокой горы—Кайв Хилл—нависла над замком и парком какого-то лорда. С шоссейной дороги, огибающей холм, скалы имеют причудливый вид запрокинутой человеческой головы с характерным наполеоновским профилем.

Остров Ирландия своей подводной частью погружен в теплую ванну океанского течения Гольфштрем. То, что находится над водой, продувается влажными ветрами. Ветры дуют с Атлантики, с юго-запада, с той стороны, где лежат Канарские и Азорские лазоревые острова и разные другие ласковые страны. От всего этого в Ирландии, несмотря на северное ее положение, трава круглый год зеленая. Многие деревья также никогда не сбрасывают своей зеленой листвы. С незапамятных времен Ирландия получила название Изумрудного Острова.

Когда-нибудь будут говорить:

— Благословенная Ирландия.

В наше время этого никак сказать нельзя. Едва ли есть в Европе другая страна, судьба которой была бы так трагична, как судьба Ирландии.

Злополучный остров этот некогда имел много шансов стать счастливым соперником Англии на пути экономического прогресса и мирового могущества. Более мягкий климат, более плодородная почва, более плотное население. Ему нехватало только железа и угля, которыми так щедро была наделена его соперница. И железная Англия целые века под ряд громила Ирландию. Начиная с эпохи Кромвеля, который пытался вырезать чуть ли не все поголовно население острова. Борьба не совсем еще закончена. Продолжается и в наши дни. Но из борьбы за преобладание она для Ирландии давно уже стала отчаянной борьбой за существование. Все свои преимущества Ирландия окончательно потеряла еще в середине XIX века, в эпоху гигантского развития английской промышленности.

С этого же времени начинается массовая эмиграция ирландцев. В Соединенных Штатах Северной Америки ирландцев сейчас, пожалуй, больше, чем в самой Ирландии. Народонаселение Изумрудного Острова катастрофически уменьшается. Из восьми с половиной миллионов жителей, насчитывавшихся в сороковых годах прошлого столетия, осталось к настоящему времени всего лишь только четыре с половиной.

Буржуазные экономисты Англии пустили в свет легенду о том, что причиной массовой эмиграции ирландцев является страшный голод, посетивший страну в середине прошлого века вследствие полного неурожая картофеля.

Легенда эта прочно держится до сего времени. Нужно быть буржуазными экономистами, чтобы утверждать, что ирландцы в 1924 году массами выселяются в Америку от того, что дома у них в 1842 году погиб весь урожай картошки.

Нужно быть буржуазным читателем, чтобы верить в это.

Впрочем, провинция Ульстер и его столица Бельфаст — это не совсем Ирландия. Это оккупированная страна, это область, которую Англии еще в отдаленнейшие времена удалось захватить в свои руки, колонизовать и тем самым на территории самой же Ирландии получить оплот и базу для борьбы против ирландского народа.

Ульстер—это никогда незаживающая рана на теле израненной Ирландии.

Шоссейные дороги в Ульстере так же хороши, как и в других частях Соединенного Королевства. Такая же солидная бетонная постель на железном проволочном каркасе, и тот же гудроновый асфальт.

От Бельфаста расходятся семь дорог.

Одна из них крутыми склонами холмов сброшена к северному берегу залива и, как змея, ползет вдоль его извилин. Она ведет на Каррикфергус и Ларн. Вторая бежит рядом с первой четыре мили, прижимаясь к ней, как сестра к сестре. За Белым Домом вдруг круто поворачивает на запад и дерзко лезет на косогор к подножию замка и парка. Словно хочет пробраться к вершине, где запрокинувшийся горбоносый наполеоновский профиль каменно смотрит в небо. Дорога ведет в Антрим, огибает озеро Лох Нэ и дальше уходит на Лондондери. Третья дорога — на Ньюри, Дэндальк, Дублин — столицу острова, вернее южной его части, «Свободного Государства Ирландии», считающегося ныне одним из доминьонов Великобритании.

По этой дороге пришлось мне проехать миль двадцать пять.

Половину расстояния дорога бежит по долине вдоль небольшой реки. Долина наполнена растительностью и зеленью, как оранжерея. Даже для Изумрудного Острова много. В зелени тонут чистенькие ирландские деревушки с их белыми простыми, несколько суровыми и на вид холодными домиками. Теплит в них только ослепительная матовая белизна стен, напоминающая украинские мазанки.

Почти по самой середине долины городок Лисбурн. Маленький, заброшенный, глухой, каким только может быть городишко Северной Ирландии в пасмурный и дождливый зимний день.

В Хиллсборо дорога упирается в гору и отвесно лезет на нее. Круто до того, что удивляешься, как только машина не опрокинется. Сам городок маленький, чистый, тихий, безлюдный и не то, чтобы средневековый, а так просто очень старый, дедовских времен.

Городок Дромор совершенно таков же. Для постороннего наблюдателя, проносящегося в машине на скорости в сорок миль, и Дромор и Хиллсборо, как близнецы, похожи друг на друга. В воспоминании они сливаются один с другим. Не поручусь, что это точно в Хиллсборо автомобиль, как улитка, ползет на отвесную стену. Может быть, это было в Дроморе.

Банбридж — конечный пункт моей поездки. Он больше предыдущих двух городков. Расположен на реке Банн, впадающей в озеро Лох Нэ. Через

реку старый, престарый, похоже, что и средневековый, мост. По сторонам моста какие-то необязательные и ничему не соответствующие каменные придатки. Быть может, остатки предмостного укрепления. Быть может, в войнах прошлого, в кровавой истории угнетения и эксплоатации река была стратегической границей, город был стратегическим пунктом.

От Лисбурна к западу, к выходу из долины ответвляется четвертая шоссейная дорога. Бежит с северо-востока на юго-запад. К берегу Атлантического океана. Через города Армах, Монахан, Каррик-он-Шенон, Кэстлебар до Уэстпорта.

Три остальных дороги соединяют Бельфаст с близлежащими восточными портами к югу от Бельфастского залива — Даунпатрик, Ньюкэстль, Килькиль, Гринор.

Ирландская земля, так же, как и английская, разделена на небольшие участки. Неправильной формы и причудливых очертаний. Участки отгорожены друг от друга невысокими стенками из дикого камня. Местами камни чем-то сцементованы, местами лежат свободно друг на друге. Угодья представляют собою частью карликовые пастбища, на которых пасутся небольшие стада в полтора, два десятка тонкорунных овец, частью возделанные и обработанные поля.

Несмотря на суровую холмистую однообразную и малооживленную местность, утомляющую глаз, после странных пустынь Англии приятно проноситься между культурных, возделанных ирландских полей.

На фоне красот природы стоят, как вделанные в пасмурную синеву горизонта, многочисленные трубы бельфастских заводов и фабрик. Беструбных фабрик, чисто и чинно работающих на электрической энергии центральных станций, в Бельфасте нет. Магистрат берет за электрическую энергию, отпускаемую для технических надобностей, по два пенса за киловатт. Цена фантастическая. При местной стоимости топлива энергия на мелких фабричных силовых установках обходится не дороже одного пенса с четвертью. Поэтому каждая фабрика в Бельфасте, даже самая новая и современная, имеет обязательно свою паровую машину и свою высокую трубу.

Бельфаст — большой город, не лишенный благоустройства и культуры. На лучшем месте его, на Донголл-Сквере, в самом центре, стоит обязательный мраморный памятник жертвам войны. В городах и городишках, в деревнях и деревушках, во всех населенных местах Великобритании без исключения имеются такие памятники. Не везде, разумеется, мраморные. Кто победнее, ставит простой серый гранитный камень. Но что-нибудь в память жертв, во славу победы стоять должно. И каждый год 11 ноября, в день об'явления перемирия, на памятник возлагаются венки—от магистрата, от прочих властей, от обществ и организаций, от Армии Спасения, от спортивных об'единений и в Бельфасте, разумеется, от Общества заводчиков и фабрикантов. В Соединенном Королевстве принимаются все меры к тому, чтобы население не забыло великой империалистской бойни и сохранило бы традиции, нужные для предстоящего ее повторения.

Тут же, на том же сквере, но только поодаль и в сторонке можно наткнуться на другой памятник, поскромнее и посерее — Титанику и его экипажу, бельфастским морякам.

Кроме памятников, здесь возвышается еще большой, нескладный, безвкусный, очень дорогой Нью Сити Холл—Новый Городской Дом. Чего на нем только нет! Колонны, пилястры, фризы, фронтоны, башни, башенки, тяжелый купол на высоченном барабане, шатровый колонный под'езд — все, как у настоящих дворцов. Не дом, а архитектурно-орнаментальная коллекция. Главная лестница этого в своем роде удивительного здания вся насквозь сделана из итальянских мраморов, невесть зачем привезенных в эту суровую, строгую страну из Каррары, Павонаццо и Бресчии. Бельфастская буржуазия очень гордится своей лестницей.

В Бельфасте имеются университет, ботанический сад, текстильный техникум и Союз Ульстеровских заводчиков и фабрикантов.

Хотя Бельфаст, рядом с Манчестером и Брадфордом, является одним из трех крупнейших текстильных центров мира, его текстильный техникум отнюдь не пользуется репутацией первоклассного.

Для культурных развлечений имеются кино. Их три в городе. И все в центре. В рабочих кварталах, очевидно, развлекаться некому. В кино-залах есть и особый комфорт. Слабый рассеянный красноватый свет исходит из-под ступенек в проходе зрительного зала. И вновь приходящим во время сеанса хорошо видно, куда ступать.

Улицы Бельфаста широкие, прямые, вымощены булыжной брусчаткой. Дома, по крайней мере на главных улицах, вполне европейского вида — в пять и в шесть этажей. Есть и большие хорошие магазины, ярко освещенные по вечерам.

Днем город тих. Жители работают, торгуют или заставляют других работать и торговать. К вечеру центр оживляется, появляется толпа и движение. И двухэтажные трамваи не кажутся больше одиноким стадом мамонтов, слоняющимся по необитаемому острову. Радость оживленных бельфастских вечеров, впрочем, непродолжительна и быстротечна. В 7 часов все снова темно и тихо и пустынно. В витринах гасят свет, закрываются магазины, кофейни, чайные и рестораны. Город уходит спать, грезить о завтрашней выработке и о ценах на завтра.

Перекрестки разметали руки улиц во сне.

Улицы распластались у порогов домов.

И только бдительная и тщательная бельфастская полиция усиленными дозорами тревожит дрему и беспокоит сон города.

О полиции особо, — она стоит того.

Борьба между Англией и Ирландией для последней стала борьбой за национальную независимость, для Англии — выродилась соответственно в систему полицейского удушения сепаратистских и революционных движений на непокорном острове. Полицейское дело в Ирландии было поставлено центральным правительством широко. На эту надобность до войны тратилось по

официальным отчетам свыше 15 миллионов фунтов стерлингов. Сколько сейчас тратят, и представить себе нельзя.

В отчаянных послевоенных восстаниях Ирландия добилась, наконец, в 1922 году формального признания за собой прав «свободного государства». В Ульстере она, однако, и тут потерпела поражение. Давно оккупированный и колонизованный шотландско-английской буржуазией Ульстер изменил Ирландии, он не вошел в состав «свободного государства», откололся.

На окраинах Бельфаста, в рабочих кварталах, до сих пор стоят, как суровые памятники уличных сражений, разрушенные и полуразрушенные здания.

И город все еще на военном положении.

Ульстеровская полиция обмундирована, вооружена и организована сообразно этим обстоятельствам.

Полицейские одеты в строгую иссиня черную форму военного покроя. Фуражки на них такого же цвета и тоже военного образца. Дубинок-клобов они не имеют при себе. Вместо этих невинных орудий регулирования уличных стихий на левом боку у каждого бельфастского полицейского внушительно и грозно болтается огромный автоматический револьвер — настоящая легкая скорострельная пушка.

Все полицейские посты в Бельфасте удвоены.

«Бобби» не стоят, как в иных городах королевства, неподвижно и величественно на перекрестках, управляя движением. Черные полицейские парочки скользят здесь по тротуарам вдоль домов, вдоль скверов, тщательно и неутомимо рассматривая и обшаривая все закоулки, щели, под'езды, проходы.

Чего они ищут?

Остатков возмущения? Зародышей восстания? Призраков революции?

Никакого ответа на эти вопросы не получишь от таинственных джентльменов в темной форме военного образца. Можно только смотреть и стараться увидеть.

В фабричных кварталах вы заметите, как полицейские, компаниями по нескольку человек, раз'езжают по городу на специальных грузовичках. У главного полицейского управления наткнетесь на суровых и хмурых часовых. Двери и ворота солидны, прочны, неприступны, закрыты наглухо, как крепостные ворота в виду наступающего врага. У под'езда главного полицейского управления обратите внимание на стоящий в нише небольшой специальной конструкции и легкого типа броневой автомобиль. На шасси поставлена стальная площадка с четырьмя высокими, в рост человека, стенками из броневой стали. В стенках проделаны отверстия для ружей и пулеметов. В этой боевой колеснице полицейские раз'езжают по городу после полуночи. Жителям Бельфаста в силу военного положения дозволено показываться на улицах только до 12-ти часов ночи. После указанного срока полицейские хватают каждого заблудшего и замешкавшегося путника и ввергают его соответственно. При таких обстоятельствах полиции, разумеется, приходится раз'езжать в специально приспособленных экипажах.

Я прочел недавно в газетах о том, что наступил срок численного сокращения ульстеровской полиции, согласно мирного на сей предмет договора с свободным Ирландским государством. (На Западе все договора мирные, безразлично чего бы они ни касались — войны или только полиции.) Подлежащая сокращению ульстеровская полиция потребовала от государства, чтобы каждому увольняемому чину была выдана значительная компенсация. В подкрепление своих требований полиция об'явила забастовку. Перестала раз'езжать по ночам на броневиках, заперлась в неприступных своих казармах, оплелась колючей проволокой, словом, привела себя в полную боевую готовность.

Но в общем все-таки полиция есть полиция.

В ульстеровском Бельфасте тихо, мертво и спокойно.

О стачечных волнах, непрерывно подымающихся, спадающих и вновь нарастающих во всех частях Соединенного Королевства, здесь не слыхать. Трудно здесь быть таким делам.

Закон, запрещающий применение детского труда подростков до 16-ти лет, на здешних фабриках нарушается весьма откровенно На текстильных фабриках Бельфаста в подавляющем большинстве работают совсем молоденькие девушки, частью просто маленькие девочки. Даже на машиностроительных заводах большая часть работ исполняется мальчиками или совсем еще зелеными юношами. В мастерских редко встретишь рабочего старше 18-ти лет. Только у вагранок, на ответственной формовке, на рихтовке кардных гребенок стоят высококвалифицированные ветераны труда. В общем, процент квалифицированных рабочих здесь, несомненно, значительно ниже обычной нормы.

Большая часть взрослых рабочих Бельфаста ходит в безработных. Металлисты работают на кораблестроительных верфях. Тут ничего не поделаешь, не обойдешься с девочками и мальчиками — не массовое производство.

На ребрах Олимпиков, Самарий и Беренгарий, под низко нависшей реющей в воздухе полупрозрачной железной тучей распластанных ферм эллинга, сооружают металлисты стальные клепаные чудеса.

Удвоенные наряды полиции, броневые автомобили по ночам, скорострельные карманные пушки, «бобби», наряженные в форму военного образца — все это, разумеется, не для мальчиков и девочек с ткацких и прядильных фабрик. Все это для металлистов с верфи «Харленд энд Вульф».

Кроме описанных материальных средств укрощения, наглядных и убедительных, здесь применяются еще и другие, более тонкие.

Жители Ульстера в большинстве своем не ирландцы по историческому происхождению. Они потомки шотландских переселенцев — пресвитериан, искавших на берегах Изумрудного Острова убежища от религиозных гонений. Те же социальные бури реформаций выплеснули сюда и кое-какие случайно уцелевшие остатки французских гугенотов. И в наши дни ульстеровцы — протестанты, коренные ирландцы — католики.

Этой истлевшей и выцветшей исторической канвы все еще достаточно для Союза Ульстеровских заводчиков и фабрикантов, чтобы морочить голову бельфастским рабочим. Религиозность, провинциальный шовинизм и расовая нетерпимость играют здесь не последнюю роль в быте рабочей среды.

Нигде во всей Англии нельзя встретить такого всеобщего покорного и беспрекословного шествования рабочих по воскресеньям в церковь. Похоже на то, что плетутся поголовно все. После церкви в воскресенье полагается сидеть дома и в благочестии читать библию. Мелкобуржуазный ульстеровский обыватель добросовестно исполняет древнюю повинность. Для рабочих это уж слишком, даже в Бельфасте. К тому же их плохо учили читать, и такое занятие для них утомительно. Если верить слухам, бельфастские рабочие по возвращении из церкви просто напиваются. Союз заводчиков и фабрикантов против этого не возражает.

Во всех городах Англии каждое воскресенье можно видеть и слышать проходящие со знаменами и с барабанным боем отряды молодежи школьного возраста. Не только ради спорта и физкультуры. Буржуазия заставляет маршировать своих детей и детей своих верных слуг ради иных, более возвышенных, целей.

Это допризывники белой гвардии.

Будущие буржуазные отряды особого назначения.

То, что буржуазия бросит на фронт социалистической революции, когда войска перейдут на сторону трудящихся, когда дрогнут полиция и жандармерия. Это — последний оплот. И его исподволь готовят, муштруют и обучают. В движение вовлечено все подрастающее поколение верных буржуазии социальных группировок. Есть отряды мужские, есть смешанные, есть специальная «гвардия девушек».

Выучка, дисциплина, обмундирование — очень хороши. Денег не жалеют. Впрочем, затраты на формирование этих кадров в Англии прекрасно окупаются. Хорошо подготовленная молодежь быстро оправдывает себя на высокорентабельной колониальной службе по угнетению и эксплоатации всякого рода цветных народов.

В Бельфасте, в Ульстере дело это стоит на совсем особой высоте. Тут речь идет не о будущем. Тут надо сегодня иметь надежный оплот против революционеров с юга. О школьных отрядах поэтому речи нет. Перед нами уже явное военное формирование — ульстеровская национальная гвардия.

На страх врагам, в нелепой средневековой одежде шотландских войск, в клетчатых юбочках над голыми коленями, под унылые звуки шотландских волынок с утра до вечера по воскресеньям маршируют вдоль улиц Бельфаста полугимнастическим, полувоенным шагом бесконечные вереницы великолепно дрессированных юношей.

Рабочие Бельфаста ни вчера, ни сегодня еще ничего не пытались противоставить этой еженедельной буржуазной готовности. В глухое социальное безмолвие погружены Ульстер и Бельфаст.

В безмолвии и покорности проворные пальцы девушек прядут на Йорк Стрит паутинную пряжу и ткут тончайший батист. В порту на железном эл-

линге каждый день металлисты уверенно строят очередной железный Титаник.

Весь город в батисте и в титаниках. Весь между ними поделен.

Как же их делают, батист и титаники?

Делают их хорошо.

Ирландские полотна — все равно, что английские сукна. Первый класс. Пассажирские пароходы в 20, 30, 50 и более тысяч тонн сами за себя говорят. Корабль весом в три миллиона пудов с лишним нельзя сделать плохо. Количество переходит в качество.

Ничего нельзя возразить против Титаника, хотя ледяная гора и оказалась прочнее его.

Зато многое можно возразить против бельфастских машиностроительных заводов.

Машины, выпускаемые ими, разумеется, хороши. Лучших на свете нет. Но сами заводы очень плохи.

Особенно плох наиболее старый и крупнейший из них — завод Кумм Барбур.

Занято на нем 3.000 человек. Существует он свыше 80-ти лет. Только за счет столь почтенного производственного стажа и можно отнести высокое качество его изделий.

Корпуса завода допотопны. Строитель их меньше всего заботился о свете и воздухе. Мастерские низки, мрачны, затхлы и грязны. Уборные во дворе. А чтобы по пустякам, по малой надобности рабочим не бегать далеко и не отрываться зря от работы, тут же в мастерской в углу на виду у всех устроено отверстие в полу, ничем не заслоненное и не отгороженное. В это отверстие рабочим надлежит мочиться без дальних околичностей. Но это еще не самая существенная достопримечательность кумм-барбуровских заводских корпусов. По соображениям экономии места и строительного материала в корпусах этих вовсе нет лестничных клеток и внутренних лестниц. Сообщение между этажами поддерживается исключительно лестницами наружными. В новых корпусах лестницы эти железные. Они узки и круты, как те, что во дворах зигзагами сбегают по этажам на случай пожара. В старых корпусах все лестницы деревянные. Обветшавшие, покосившиеся. Часть ступенек полуобрушилась. Перила местами сорваны. Случись в таком корпусе пожар, и рабочие в верхних этажах, запертые, как в ловушке, погибнут прежде, чем сможет быть оказана им какая-нибудь помощь.

Площадь мастерских завода Кумм Барбур ни в каком соответствии с количеством размещенного в них оборудования не находится. Завод рос, завод расширялся, владельцы же, видимо, всемерно избегали капитальных затрат на постройку новых зданий.

Если во время обеденного перерыва, когда ремни приводов стоят в воздухе неподвижно, словно дикий и мертвый лес, оглядеть этажи поверх станков, то мастерские Кумм Барбура покажутся сумрачными, давно непосещавшимися складами железного лома и изношенного механического оборудования. Здесь собраны станки и машины за почтенный промежуток времени.

Вон там, у дальней стены, лучший светлый угол в большой карлной сборочной занимают грузные, причудливые и неуклюжие токарные и долбежные и строгальные станы, постройки восьмидесятых годов прошлого столетия. Они непостижимо огромны, настоящие титаники станкового царства. Работают на канатных приводах. Так прочны, что ни время, ни тяжелая работа, ни даже дурное обращение не могут заставить их притти в негодность. Их можно отстранить, продать на слом, сдать в Британский Музей, просто выбросить, как ненужные больше вещи, но нельзя их заставить разрушиться.

Так как быть устарелым в Англии, а особенно в Бельфасте, не считается пороком, то эти механические чудовища прошедшего века неограниченно долго еще будут наполнять мастерские завода тяжелым грохотом и лязгом своим.

Рядом с неумирающими Мафусаилами механического цеха, плечем к плечу с ними, жужжат, проворно грызя металл и дерево, небольшие быстроходные, высокопроизводительные, очень сложные современные станочки, предназначенные для всякого рода специальных операций. Общая работа, как правило, производится на устарелом оборудовании, какое везде в мире давно уже вышло из употребления. И у нас такого нигде не встретишь. Зато весьма охотно приобретаются новенькие, только что изобретенные и запатентованные приспособления и станки для массовой детальной обработки.

Из мастерской в мастерскую можно наблюдать, как не под силу сложному механическому оборудованию бороться с исключительно дешевым детским трудом. И какие терпит оно в этой борьбе поражения. Я видел целую армию побежденных револьверных [1]) станков. Безжалостно сняли их с места и задвинули в темный угол в проходе. Густым слоем налегли на них паутина и пыль. Вместо этих прекрасных, ни в какой еще степени не изношенных, изгнанников установлены самые примитивные токарные шпинделя и бабки на жиденьких, тощих станинках. Четырнадцатилетние ребятишки с быстротой головокружительной вытачивают на них всякого рода машинную мелочь. !Шпинделя, и бабки, и станины, и рабочие руки детей — все вместе заводу почти ничего не стоит. Даровое оборудование, даровой труд. Куда тут, к чорту, револьверные станки и автоматы!

Дешевизна ручного труда на бельфастских заводах определяется не только тем, что в большинстве там работают подростки и дети. Немалое значение имеет особо высокая индивидуальная производительность рабочих. Все делается с духозахватывающей быстротой. Секунды и доли секунд не затрачиваются непроизводительно. Это справедливо не только в отношении работ, оплачиваемых сдельно. Не всякий наметанный и опытный глаз отличит на бельфастском заводе проворство сдельщика от работы поденных. Надзор здесь строг. В предложении рабочих рук нет никогда недостатка.

---

[1]) Токарные станки с вращающейся так называемой «револьверной» головкой, в которой закрепляется от 6 до 12 различных инструментов, полуавтоматически обрабатывающих материал. Револьверный станок — основа массового механического производства в металлообработке.

Хорошо механизированы горячие цеха — литейный и кузнечный. Тут детский труд ни к чему. Нужна хорошая, даже высокая, квалификация. Формовка преимущественно машинная. Ковши и тигли развозятся кранами, ручная разноска почти отсутствует.

Удачно и остроумно оборудован кузнечный цех. Кроме обычных пневматических и пружинно-рессорных прессов и молотов, здесь установлены еще особые шестишпиндельные кулачковые молотки. Шесть молоточков укреплены в одной раме. Вибрируют вверх и вниз безостановочно, как шатуны шестицилиндрового мотора. На этих молотах-полуавтоматах выделывают поковку для веретен, рогульки для банкоброшей и другую фасонную кованную мелочь. Сработанные таким образом детали не нуждаются в дальнейшей обточке. Прямо идут на шлифовальные камни и в полировку.

Самых тонких деталей — стальных игол для кардных вальянов, для ленточных и прядильных машин — на заводе не изготовляют. Иглы получаются из Лидса.

Некоторые вальяны кард несут более ста игол на каждый квадратный дюйм своей поверхности. Интересны специальные станки для насаживания этих игл на кардную обшивку. Станки имеют столько шпинделей, сколько игол в одном ряду обшивки. На каждый шпиндель насажено сверлышко. Все сразу одним нажимом вонзаются в буковую дощечку. От быстроты прокола, от скорости вращения тонкое сверло жжет дерево, и над работающими станками стоит легкий, острый запах гари.

Игольчатые гребенки для ленточных машин изготовляются здесь же, но вручную. И это таинственно и непонятно. Обоймы для гребенок насверливаются на обычных маленьких горизонтальных сверловках. Делают это мальчики. Другие мальчики, получив насверленную обойму, берут ее в левую руку, правой же захватывают щепотку тонких, длинных и колючих игол. Одним единственным длительным полукругом, слегка вибрирующим движением насаживают все захваченные иглы сразу на обойму. Непонятно, когда ребятишки успели приобрести невероятную эту сноровку и быстроту. Работа оплачивается поденно. Настоящее чудо эксплоататорской техники.

Неподвижность и косность здесь не только в старых корпусах и в характере оборудования, — консервативно и традиционно в такой же мере и само управление завода. Уверяли, что весь большой завод, выпускающий лучшие в мире льномашины, имеет всего лишь одного инженера с высшим образованием.

Совсем иной характер носит второй бельфастский крупный завод — Джемса Макки. Этот Макки среди заводчиков и фабрикантов Бельфаста выскочка и новичок. Предприятие его существует всего лишь сорок—пятьдесят лет. Ни настоящего опыта, ни серьезных традиций. Завод Джемса Макки не входит в состав треста, об'единяющего все остальные заводы этой отрасли в Бельфасте и Лидсе. Макки борется с трестом. И до войны организованная сила косности неизменно торжествовала над личным умением и предпринимательской инициативой выскочки и отщепенца. Война коренным образом изменила положение. В мутной воде военных поставок и восстановления франко-бель-

гийской промышленности за счет германских репараций изворотливый, отважный и энергичный Джемс Макки получил решительное преимущество над конкурентами. Джемс Макки сам утверждает, что к нему в карман попало не меньше 50% всех немецких платежей, пришедшихся на долю льняных предприятий в бывшей зоне военных действий. Ныне он один из наиболее видных капиталистов и фабрикантов Бельфаста и Ульстера. Акционер таких предприятий, как «Уайт Хауз» и «Йорк Стрит Флакс Спиннинг Кòмпани», финансист, концессионер и все, что угодно.

Завод Джемса Макки в большей своей части завидно новенький. Нарядные здания, много воздуха, света еще больше.

В литейной подобрана целая коллекция новейших приспособлений и усовершенствований.

В механических цехах даже и этого относительно современного завода отнюдь не все обстоит благополучно. Детский труд для Джемса Макки так же дешев, как и для устарелого Кумм Барбура. Сложной дорогой машине трудно здесь пробиваться.

Когда осматривал мастерские завода Макки, невольно сравнивал их с ленинградским заводом имени Карла Маркса. Выборжский красавец также изготовляет машины для льнотекстильной промышленности. У него нет, разумеется, такой литейной, какую отстроил себе ульстеровский собрат. Зато по части организации процессов он несомненно идет впереди. Особенно в производстве веретен. В отношении разбивки на операции, четкости их, полноты механизации, тщательности приемки и выбраковки завод имени Карла Маркса несомненно оставил все бельфастские заводы далеко позади за собой. Веретена бельфастские, разумеется, лучше наших. Сто лет делают и притом из лучшей бирмингэмской стали.

О текстильных фабриках Бельфаста нельзя говорить так легко, как о его машиностроительных заводах. Бельфаст — океан текстильного производства. Глубоководный, заманчивый.

Мои впечатления о бельфастских льнопрядильных и льноткацких предприятиях скудны, мимолетны, поверхностны.

Одна из наиболее новых фабрик, которую мне удалось посетить, принадлежит опять же Джемсу Макки. От роду ей всего 12 лет. Вырабатывает пряжу низких номеров из кудели. Самое замечательное — двор. Вымощен каменными брусками. Чист, словно его только что вымыли мылом и вытерли насухо тряпочкой. Не только окурка или спички не бросишь — ногой ступить жалко. Совестно, что наследишь. Замечательно чисто также и в мастерских. Вентиляция безупречная. Пыли нет и следов. Единственный недостаток, улавливаемый беглым взглядом, это то, что работницы стоят прямо на каменном плиточном полу. Решеток, деревянных подстилок не полагается. Не то, что в Германии. Там даже полицейские на берлинских перекрестках зимой подкладывают деревянные решоточки себе под ноги, чтоб не стоять на холодном асфальте. В Бельфасте на фабриках, даже в отделениях мокрых прядильных систем, девушки ходят босиком, прямо по голому, мокрому каменному полу.

Все виденные в Бельфасте ткацкие и прядильные фабрики представляются мне лишь бледным, уменьшенным отражением знаменитейшей и грандиознейшей «Йорк Стрит Флакс Спиннинг Кómпани, Лимитед».

Солидно красные корпуса гиганта занимают по улице Йорк два квартала. Между ними длинный переулок всецело отведен под эту фабрику. Но ей мало места, занятого среди других городских зданий. Чтобы пополнить недостачу, из корпуса в корпус, поперек переулка, перекинута каменная галлерея — сама, как висячий добавочный корпус. Химические цеха для отбелки и окраски тканей находятся за городом.

На фабрике Йорк Стрит делают со льном все, что только с ним можно делать, и производят все, что можно из льна произвести. Сюда поступает в прессованных кипах балтийский лен и лен из СССР. Местный лен, связанный в кулитки, и бельгийский лен, лен куртрэ, о котором придется говорить особо. Выпускает фабрика всякие ткани: тонкие полотна, дамасские скатерти, все — до прозрачных разноцветных батистовых носовых платочков, вышитых гладью, простиранных, накрахмаленных и выглаженных. Фабрикаты выпускаются в виде, готовом к употреблению.

Нужны дни и недели, чтобы осмотреть внимательно хотя бы одни только вспомогательные отделения фабрики. В моем распоряжении были часы.

Вот мастерская, в которой ткань пропитывают каким-то составом. Жара маловероятная. Рабочие обнажены до пояса, как в горячих цехах. Спрашиваю:

— Какая здесь температура?

— 110 градусов.

— Что?!

— По Фаренгейту, разумеется.

— А, по Фаренгейту...

Немножко разочарован. Считаю в уме. Получается всего лишь 43 градуса Цельсия.

Всего лишь 43.

Вот светлый тихий зал. Какие-то черные перегородки, высотой человеку по грудь, тянутся параллельными рядами от простенков к проходу. Оказывается — машины, вышивающие гладью. Чудно́, что они плоски, как камбала, поставленная на ребро. Такой зверь работает одновременно пятьдесят или сто платков.

Следующая дверь — частый треск и несносное мелькание. Все пространство между четырех стен заполнено девичьими руками, плечами, ногами, наклоненными головами. Все эти органы и части тел ни на одно мгновение не остаются в покое. Мелькают и колеблются в странном быстром ритме. Он очень сложен, этот ритм, его не сразу уловишь и не скоро к нему приспособишься.

Тут на швейных машинах Зингера девушки вырабатывают мережки и строчки.

Швейные машины не стрекочат обычным своим меланхолически задорным стрекотом. Они давно захлебнулись от быстроты, от проворства де-

ничьих рук. Все машины, сколько есть в зале, воют единым голосом на мелодичной жалобной ноте. Жутко слушать, как воют швейные машины.

Но задерживаться на вспомогательных операциях никак нельзя — надо торопиться туда, где плотно уставлены и друг на друга нагромождены основные мастерские, — где чешут лен, прядут и ткут.

Здания фабрики Йорк Стрит не слишком стары, но и не новы. Пространства и размеры рассчитаны, как всегда в Англии, очень скупо.

Самая большая и самая тяжелая машина в льняном деле — это так называемый чесальный автомат, или геклинг машина. Геклинг похож на двугорбую гору из чугунных рам, стальных рычагов, деревянных планок и острых игол. Серия геклинг машин похожа на небольшой горный хребет. На Йорк Стрит геклинги плохо установлены. В нижнем этаже, в низком и темном помещении. Кажется, что машины уперлись в потолок. Резкий лязг их стальных частей несносен.

После того как лен расчесан, нужно превратить его в нетолстый, неплотный жгут — «ровницу». Для этого служат последовательно машины раскладочные, ленточные и банкоброши.

На Йорк Стрит машинам этим нет числа, они шуршат и звенят и мелькают бегом бронзовых роликов, шагом гребенок, движущихся все время только вперед.

Но все это пустяки, все это только подготовка.

Настоящее, стопроцентное льнотекстильное действие это — прядение.

Прядут лен на ваттерах. Толстую и грубую пряжу на сухих, тонкую на мокрых. В мокрых прядильных системах ровница проходит сквозь баки с горячей водой.

В отделениях, где стоят мокрые ваттера, воздух влажен от паров воды, густо от приторного запаха мокрого и перегретого льна. Пол влажен, и работницы босы.

Каждое веретено порождает небольшое вихревое движение. Вихорь от веретен захватывает слух, зрение и внимание. Говорить нельзя, да и не хочется.

63.000 веретен и каждое делает 4.000 оборотов в минуту.

Вместе это составляет 250 миллионов мельканий и 250 миллионов шорохов. Есть от чего задохнуться.

Каждому веретену приятно урчать и петь по-своему. И каждый из 63.000 голосов не совсем похож на остальные. Девушки по звуку слышат, когда с каким-нибудь веретеном неладно. Тотчас останавливают и исправляют.

Когда нужно остановить целую машину—80 веретен, — тогда все 250 миллионов звуков внезапно покрываются свистком бригадирши. Бригадиршин свисток прорывается сквозь вихорь мастерских, как свисток далекого скорого поезда, вылетающего из туннеля на простор открытого железнодорожного полотна.

Девушки сбегаются к машине и становятся в шеренгу против шеренги веретен.

Раз — и пальцы девушек на тормозных гирьках.

Два — гирьки отброшены в сторону. Одним движением.

Снимают готовые, полные пряжи шпульки, насаживают пустые. И 32.000 звуков под вторичный свист бригадирши возвращаются динамическому полноводию мастерских.

Химические отделения — для отбелки и окраски — не согласились мне показать. Оберегают производственные секреты.

Льноткацкое и льнопрядильное дело во всем мире на столько косно и технически отстало, что ни о каких секретах в отношении механики этих процессов и речи нет. Текстильная тайна в льняном деле, это только тайна составления смеси из разных сортов волокна. Особенно для полульняных тканей, производство которых так развилось в военное и послевоенное время.

Ко льну прибавляют все: и хлопок, и джут, и пеньку, и искусственный шелк, и сизаль, и маниллу, и все, что угодно. Эти примеси постепенно начинают вытеснять уже и самый лен и создают для него угрожающую конкуренцию.

Ревнивая охрана тайн смесей побуждает, повидимому, французов, отчасти и бельгийцев, никого на свои фабрики не пускать. Ирландская льняная промышленность работает в основной массе на богатого северо-американского потребителя. Она изготовляет чистые льняные ткани.

В сортировочных, чесальных и раскладочных отделениях на Йорк Стрит Спиннинг нет особых тайн. Здесь не видно ни пеньки, ни искусственного шелка, ни джута, ни других вредителей льна.

Никого из многочисленных супостатов льна я здесь не видал. Зато видел в расчесанном, рассортированном и прибранном виде, вполне готовый к отправке на раскладочные машины, знаменитый бельгийский лен к у р т р э. Из него делают пряжу до 300-го номера и лино-батист, тонкий, как запах парижских духов. В Брюсселе, в Валансьене и в Брюгге, в Малине и в Зеебрюгге, по всей рукодельной Фландрии кружевницы на ручных прялках прядут из льнов куртрэ пряжу до 500-го номера.

Кружевные плетения из этой паутины сделали города Фландрии знаменитыми по всему земному шару, а названия их — именами нарицательными, присвоенными соответствующим фабричным изделиям.

Каждый галантерейщик в любой стране и в любом городишке бойко продает местным модницам фабричный «малин» и «валансьен» и ничего не знает о полнолюдных и влажных городах Фландрии. Да и не к чему ему знать, что там орлиный профиль, заостренная бородка и блестящий взгляд черных глаз случайного прохожего выдают в нем потомка испанских угнетателей. Что там фабричный рабочий и портовый грузчик, возвращаясь домой, бесшумно ступает по каменным платим панели в своих деревянных башмаках. Что там молоко на тележках с собачьей упряжкой развозят в латунных бидонах, изобличающих производственную добротность прошлого столетия. Что там железнодорожные перроны длинны, как беговые дорожки.

Галантерейщик ничего не знает ни о Фландрии, ни о льне куртрэ.

Сырье обычно много грубей приготовленных из него изделий. На то оно и сырье. Волокна чесанного куртрэ тоньше всякой паутины, тоньше брюссельских кружев и наипрозрачнейших батистов. Лен куртрэ — это светлые золотые нити, теплые, нежные и ласковые, как собранные в пучок лучи сентябрьского солнца. Шелковистее шелка. Прочность их так велика, что стальные нити равной толщины не могли бы быть прочнее.

Кто видел лен куртрэ, тот знает, что это такое. А кто не видал, тот должен постараться увидеть как можно скорее.

Растет этот лен во Фландрии, мочат его в реке Лис, в Бельфасте из него делают лино-батист. Батист настолько прозрачен, что в куске он белее снега, на теле — телесно-розовый. И носят его богатые американки. Для этих самых американок тут же в Бельфасте строят титаники. Чтобы американкам, в сопровождении американцев, спокойно и удобно ездить в Европу. По дороге, в Атлантическом океане, американки танцуют фокс-тротт, а в каюте у них целая стена сплошь из зеркала. В этом зеркале по утрам американка рассматривает себя в белье из бельфастского батиста.

Дневник печальных событий.

Родион Акульшин.

Гениальный изобретатель.

Вчера купил простенькие в никкелевой оправе очки. В больших американских невыгодно раз'езжать по деревням — меньше доверия. Говоришь с бабой, а она с тебя глаз не сводит. Одна деревенская мать успокоила плачущего ребенка, пригрозив отдать его мне. — Вон энтому дяденьке отдам... Ребенок взглянул на очки и затих. Это уж совсем неприятно быть пугалом крестьянских детей.

Неблизорукие думают, что большие очки в роговой оправе существуют для шику. Они жестоко ошибаются. Только один день я поносил демократические никкелевые и у меня болит переносица и за ушами. Но приходится терпеть, потому что я еду в деревню. По пути на вокзал забежал в редакцию проститься. Машинистка пожелала не замерзнуть, бухгалтер дал авансом двадцать рублей, а секретарь одолжил для чтения рукопись гениального изобретателя. Рукопись очень большая, исписана бисерным почерком, лежит в редакции уже два года. Мне хватит ее на всю дорогу, тем более, что вечером в вагоне читать нельзя за скудостью света. При рукописи два сопроводительных письма. Пока я прочитал только одно. Вот отрывки:

«Товарищи редакторы!

Прилагая при сем совершенно готовое к печати мое большое стихотворение, написанное для подготовки масс к делу уничтожения войны и проведения в жизнь правильного, беспреступного и безбанкротного правоохраняющего строя, вместо существующего банкротного, необеспеченного строя, согласно сделанных мной для этой цели одиннадцати разных противовоенных и противопреступных изобретений, перечень которых я прилагаю в конце стихотворения, осуществляя свою идею по девизу: установление правильного общественного, государственного и мирового механизма, покорнейше прошу вас, так как цель стихотворения довольно ясна, а вы мысль, идею и поэтичность стихотворения сразу увидите, таковое немедленно рассмотреть; и, если понравится, то в трехдневный срок выслать мне за него гонорар за напечатание двести пятьдесят червонцев. Если же оно не понравится, то в тот же

срок возвратить мне стихотворение обратно. Стихотворение это, как особенно интересное для всех званий и сословий, о достижимом идеале жизни необходимо выпустить в количестве сорока миллионов экземпляров и распространить по всему населению страны, а несколько экземпляров отослать в Америку на американский конкурс по делу уничтожения войны. Убытку вам от этого стихотворения не будет, а большую можно извлечь пользу, ибо за каждый экземпляр охотно дадут три рубля, потому что такого канона не могло составить в тысячи лет все человечество всех стран мира, и оно интересно будет для всех, потому что выражает новую эру правильного жизнеустройства, согласно сделанных мной изобретений. Почему почтительнейше прошу вас: главное немедленно выслать мне деньги, ибо деньги мне теперь особенно и чрезвычайно нужны на постройку себе мало-мальски сносного жилища. Кроме того, деньги нужны и на продовольствие и на противовоенную конкуренцию в Америке и пр. и пр. и пр.

Еще я вам скажу, что это стихотворение я предназначил для конкурса при редакции «Красная Нива», да ошибся в расчетах, потому что если поведешься с людьми, не имеющими правильных идеалов жизни, то ошибешься. А я теперь повелся с двумя конкурсами: с центральным и американским президентом, — и окончательно от них разорился, ибо от обоих, как от козла, не получил ни масла ни молока, несмотря на то, что моя работа одна из лучших и полезнейших работ, и поэтому признал, что эти конкурсы — центры и президенты, чтоб их черти побрали, хуже для меня не знаю чего. Например, центральный журнал «Красная Нива» за посланную мной работу до сих пор не выслал мне денег и не прислал никакого письма, а от американского конкурса не получил никакого просимого ответа. Словно я какой капиталист и могу долго ждать, словно я вам раб или даровой работник, словно я нахожусь на казенной квартире, на казенном жалованьи и содержании, с одной стороны, а с другой,—словно вы ничему не учились и словно вас всех надо перевоспитывать и переучивать, как жить, и даже при этом показывать вам кулак или палку...

Да, не хотел я, а приходится заводить судебное дело. Вот тут при таких условиях и птичьем банкротном строе и работай. Трать последние деньги и вещи. И не работать нельзя. Нельзя же оставаться и вам, и нам, и всем в подобном строе, или быте жизни, где каждое собрание людей является советом нечестивых и всегда чем-нибудь опасным собранием, где на каждом шагу бедность и нужда, всякий обман, тупики и нерасчеты, где беспрерывно, ежечасно и ежеминутно происходят преступления и брызжет и льется человеческая кровь, и где воровство и грабеж обыденное явление. Для устранения в будущем этих явлений и направлена мысль моего стихотворения. По этому наперед вам скажу, что оно не нуждается ни в какой критике, ни в отзывах и вкусах современного общества. Ведь ясно, что все существующие безобразия жизни, все эти нужды, вся преступность общества и отдельных людей, все эти войны происходят от бесправия людей, и это бесправие людей в мировом масштабе не мог устранить своим умом или гением величайший Ленин и партия коммунистов. Почему механизм жизни остается попрежнему в безобраз-

ном, опасном положении, а люди такими же бесправными, как и прежде, а это происходит оттого, что у каждого человека нет другого подсобного кармана, которым бы он мог воспользоваться при нужде, или неимении денег для охраны и восстановления нарушенных эксплоатацией своих прав и выходить из тупиков, безденежья и нужды, не прибегая, как теперь, для этой цели к преступлениям, к убийствам, кражам, грабежу, мошенничеству, нерасчетам, захватам и проч. Почему моя цель, как изобретателя мирового изобретения, которое может уничтожить войну, и как частного, общественного, государственного и мирового врача, заключается в том, чтобы дать каждому человеку своим изобретением непроживаемый капитал, не отнимая ни у кого его собственного. Иначе жить мало-мальски сносно будет нельзя, ибо попрежнему на каждом шагу будет всякая нужда, преступность и нерасчеты, доказательство чего могут быть на-лицо. Оставь или потеряй должность, или заболей, и останешься нищим. Пошли письмо Калинину или Зиновьеву — ответа не получишь. Попроси у редакции выслать гонорар и получишь фигу, хотя чрезвычайно нуждаешься в деньгах и, может быть, даже сидишь без куска хлеба и ходишь, как босяк в опорках. Значит, вас такое столичное, шарлатанско-кулацкое воспитание, или кто-то и что-то прямо толкает в преступление, и так везде, как будто в центре нет денег, как будто все должны так безобразно жить и страдать только потому, что везде, во всех столицах и в центрах сидят банкротники, недоучки и неизобретатели, которые всем сулят журавлей в небе, а на деле и синицы в руки не дадут и, пожалуй, как раз вместо хлеба подадут камень. Так теперь в Америке является новый прохвост, вроде бывшего императора Николая II, а именно Американский Мирный Конгресс, который сулит мир народам, предлагая странам разоружаться в то время, когда война происходит от бесправия почти у 90% населения всего мира. Попробуй-ка сделай это разоружение, не освободив души и сердца людей от злобы и войны и тогда драться будут еще сильнее, кто чем попало, потому что бесправные люди всегда дерутся так.

Поэтому вы должны понять, что я действительно не даровой вам работник. Я с пяти лет работаю и кормлюсь своим трудом, не получая ни от кого поддержки на одну копейку. Работаю и кормлюсь и, между прочим, составляю изобретения и, следовательно, уже 58 лет, что только заработаешь, то и проживешь, а так как в 1912 году я выгорел: не то от поджога, не то от зажигательной способности солнца, а дом был не застрахован и все мое имущество погибло в огне, то десять лет странствую по квартирам и не могу справиться в материальном отношении и построить себе мало-мальски сносное жилище. Это обстоятельство, разумеется, меня страшно печалит. Пробовал было много раз обращаться к бывшему Николаю II: купить у меня все мои изобретения, которые были бы полезны и ему, и всему народу, и всему миру. И на несколько десятков просьб в несколько лет никакого ответа. Вот какая была коронованная сволочь, а ведь народам пускал пыль в глаза: предлагал разоружаться, как теперь американцы, и не скупился на журавлей в небе, и погиб, как я ему предрек, от своего механизма, оставив всех своих лакеев нищими.

Революция же у нас, разумеется, и теперь идет дуроломно. Ни одного изобретения, похожего на мои, не проведено в жизнь»...

Это только часть первого письма... Второе еще длиннее. Рукопись в несколько печатных листов. И все это переписывалось от руки много раз — для Николая II, Американского президента и Советского центра. Шестьдесят лет жить надеждой получить когда-нибудь гонорар, или ответ... Ждать шестьдесят лет и не получить ни разу... По приезде из деревни я обязательно напишу старику. От соседа пассажира я узнал, что старик крестьянин, самоучка, днем торгует на базаре старыми замками, а ночью читает и пишет красивым, убористым почерком. На ворчания жены, что их жизнь сплошная каторга, отвечает: «Подожди еще немного... Долго ждала, а теперь пустяки осталось... Должны прислать. Пришлют, обязательно пришлют».

Ошибаешься, гениальный старик. Из редакции ты ничего не получишь. Я тебе напишу... Но в постройке дома я бессилен тебе помочь, не имея возможности купить твои изобретения.

9 февраля в час ночи.

Находка.

На мне чужая шапка и чужой тулуп, я еду на чужой лошади с родной сестрой в родную деревню, занесенную снегом... И я не знаю, что кажется сном: светлая, шумная Москва, оставшаяся за тысячью верст, или этот ветер, снежинки, залетающие за ворот тулупа, боязливые и ободряющие понукания сестры и тяжелый храп надежной лошади... Когда поезд мчался сквозь снега и непогодь, я даже не знал, что творится за окнами вагонов, я надеялся на машину, я был спокоен вполне. А вот сейчас мне трудно дышать, метель может задушить нас вместе с лошадью... Стихия беспощадна с безоружными... А я еду как раз туда, где все безоружны, беспомощны перед метелями и ливнями, перед зноями и лютыми холодами. У моста лошадь остановилась, вздрогнула...

— Дорогу потеряли?

— Нет, лошадь учуяла что-то.

Отвернув овчинный воротник, я услышал заглушенный ветром не то вздох, не то стон... А через несколько минут в наших санях, под полою моего тулупа сидит новый маленький пассажир. Тело теплое, а дышит тяжело и на вопросы не отвечает... Сестра боится, как бы не умер в дороге, погоняет лошадь... Из села слышны через большие промежутки колокольные протяжные удары. Метель дразнится. Колокольные удары захлебываются... Вдруг яркое пламя. Я подумал — пожар. Сестра говорит:

— Нас ждут... Вышли на проулок и жгут солому, чтоб видно было.

С проулка кричат:

— Э-е-ей.

Сестра отвечает:

— Э-й...

Нас услышали, и в знак этого горящий сноп подбросили высоко вверх. Соломенная ракета в метель, и колокольные жалобные звуки и эта тревога за нас и наша подняли мое настроение... Согретый тулупом пассажир зашевелился... — Пить, — попросил он... — Подожди немного, скоро приедем...

Дома кипел самовар. С десятилетнего малыша сняли лохмотья, потом его искупали и одели в белье племянника. Мальчик ожил, хотя говорил мало и как будто с недоверием оглядывался по сторонам... После второй чашки чая ласковыми вопросами я расшевелил найденыша... Он стал рассказывать свою жизнь, и, слушая его, казалось, что он живет не десят лет, а по крайней мере пятьдесят...

Были у него отец и мать, жили они на Кавказе. Потом пришли белые, отца увели и расстреляли... Мать плакала, а один раз сказала: «Коля, уедем отсюда в Тифлис, там моя хорошая знакомая живет... Тут нам с тобою нельзя оставаться».

«Поехали, а мать была больна. В дороге, недалеко от Тифлиса она умерла. На станции ее вынесли из вагона, а на меня никто не поглядел. Где знакомая живет, я не знал. Я никогда не просил милостыню, а тут пришлось. Мне тогда было лет шесть... Стал я по улицам ходить. Нашлись товарищи Из Тифлиса мы перебрались в Баку, а оттуда на пароходе в Красноводск. Там товарищи от меня отстали. Я в Ташкент уехал и жил там года два с половиной. Ночевал на вокзале. Ночью с вокзалов выгоняют, а я прятался за шкафом, он не плотно к стенке был придвинут. Только ложиться было нельзя, милиционер ноги мог увидать. Но я привык так: прислонишься к стенке и спишь. Потом еще один узнал про мое место, стали двое за шкафом жить. Третий просился, мы сказали: «Не поместимся... и узнают про нас, тогда всем зарез... Лучше поищи другой шкаф». Мой товарищ стал в Москву меня звать, говорит: «Все в Москву едут, об'явление, говорит, было, чтобы все сироты в Москву собирались»...

Я вспомнил, что у меня в Москве дядя живет, мать говорила про него. Картины дядя рисует. Поехали. На одной станции кондуктор заметил товарища и стал сгонять. Товарищ прыгнул и угодил под поезд. Его всего раздавило. Дорога из Ташкента длинная. Там было тепло, а как поехали, все холодней делалось. Сначала я на станциях кусочки просил, или песни пел возле окошка. Потом публика стала сердиться: «Что каждый день пристает». И не стали ничего давать. Я придумал другое. Слез с поезда, в село пошел, набрал хлеба и опять на станцию. С того дня я много поездов сменил. Как все кусочки выйдут, так я в село. На этой станции я слез, спросил у дяденьки: «Далеко до деревни?» — Он говорит: «Версты три». Я пошел, а тут стало темнеть, ветер поднялся, а я хотел есть, обессилел и упал»...

Мать, сестра, и сноха, и соседки, собравшиеся по случаю моего приезда, слушая рассказ маленького бледного русоголового мальчика, утирали концами платков слезы.

Кто-то сказал:

— Видать, не избалованный... В приемыши пойдешь?

— Нет, мне надо в Москву, там дядя картины рисует и меня научит..

— Куда ж тебе сичас в Москву?.. Шеечкя-то оборваться хочет... Поживи тут, отдохни.

— Там видно будет, — сказал вспотевший от чаю Коля.

Спать его уложили на печке. Он сейчас сладко сопит. Все спят. Поздно. Надо уговорить Колю пожить в деревне. Дядя, рисующий картины, вероятно, фантазия. Москва и так захлебывается беспризорными.

Метель не стихает, ударяет в ставни, словно медведь лапой, свистит в щелях по разбойничьи, завывает в трубе... На церкви все звонят. Сидя в избе, я чувствую, как шатается ветхая колокольня, вот-вот развалится под напором ветра.

12 февраля.

Фокусник из Читы.

Утром 10-го село поразила небывалая новость: приехал фокусник. Никто не видал, как он афиши по заборам расклеил:

«Проездом из Читы в Москву только четыре дня знаменитый ученик великого Дурова покажет умопомрачительные фокусы за пустяковую плату в 20 копеек».

Ночью расклеил афиши фокусник. Утром бабы пошли к колодцу — ахнули.

— Батюшки, либо война с Китаем... Заставили девчонку прочитать... Музюкала, музюкала девчонка, а потом об'яснила бабам:

— В Москву едут читать четыре дуры... И будут фокусы показывать за 20 копеек.

К вечеру пошел буран, а народ повалил в клуб на церковную площадь. Буран сыпал всю ночь, и все следующие дни не затихали метели, ветер сваливал с ног прохожих, но несмотря ни на что холодное помещение клуба в продолжение четырех дней не могло вместить всех желающих, начиная от шестилетних дошкольников и кончая семидесятилетними беззубыми старухами.

Публика ревела от восторга, когда фокусник находил пропавшие деньги в носу седого старика, когда из пустой наволочки извлекался десяток яиц. У одной девицы фокусник попросил головной платок. После одной процедуры в середине платка оказалась дыра.

Обрадовалась девица:

— Не возьму я этот платок, давай два целковых.

Платок стоит 50 копеек, хотела девица нажить полтора рубля.

Пригорюнился притворно фокусник, давай платок мять, вертеть, а потом махнул платком,— глядь и дыры никакой нету.

Гогочет публика.

А когда с горящими факелами стал оперировать знаменитый ученик Дурова, вструхнули старухи:

— Как бы пожар не сделал...

Многие из'явили желание научиться фокусам. Недорогую цену назначил фокусник: десять рублей за усвоение двадцати пяти фокусов. Согласились

многие, задержался артист в нашей деревне. Расплодятся теперь фокусники в нашей местности. Не знаю, радоваться этому или нет...

13-го, утром.

Терпинатура.

У соседей радость и смятение. Сноха из города вернулась. Туда поехала одна, а оттуда с сыном. Не примяла того во внимание баба, что последние дни сносях ходила. На улице и приспичило. Милиционер, спасибо, до родильного довел. Век не забудет город, сначала испугалась, как час неминучий настал. Первыми-то двумя в родной деревне разрешилась. А в деревне, известно, попросту это дело делается. Положат на печку, не выходит долго — косы засунут в рот... А после дня четыре в баню водят, а младенцу жевку с кулак, — привыкай с первых дней к хлебушку-кормильцу...

— Ну, в городу совсем не так... Градусы какие-то ставят... И что бы вы думали — помогает как — страсть... Сначала я все никак не могла расслухать, как их хожатели называют. Осмелилась — спросила, а хожалка говорит:

— Это, — говорит, — терпинатура для узнания жару...

То-то, думаю я, и терпеть оттого вольготно, что в них сила для натуры человеческой, а особливо бабской... Городской-то язык не враз раскумекаешь.... Доктор утром спрашивает у меня:

— Слабило?

А я ему:

— Уж как, — говорю, — слабило-то, всю ночь пóтом обливалась...

— Не о том я, — доктор смеется, — надворное было?

— А... это насчет живота, — догадалась я. — Слава богу, в час молвить, не слабило и не крутило, так середка на половинке...

— Ну, хорошо... А ребенок покойный?

— Да, уж на диво ребенок, словно его и нет...

— Смотри, — говорит, — в деревню приедешь, жевку не давай...

— Ну, и не даю, потому этот у меня по культурному вылупился, гляди, комиссаром будет.

13-го, вечером.

Большая доза купороса.

Коля живой и веселый. От меня не отходит, просится в Москву. Не знаю, что делать. Перед вечером пошли с ним на улицу и увидели переполох. Девки, бабы, мужики и ребятишки бежали в конец деревни.

— Пойдем, поглядим, — сказал Коля...

Не доходя до места, мы услышали пронзительный бабий крик. Старухи возле окон сокрушенно качали головами...

— Что-ж, видно тому быть... Сам виноват... Пожадничал.

— Что тут такое? — спросил я.

— Да вот человек помер сам от сибе...

— Каким образом?

— Вот то-то и оно, что без образа, по собачьи...

— Убил кто-нибудь?

— Убил, не убил, а похоже на то.

Я уже потерял надежду добиться от старухи толку, но подошедший мужик без просьбы с моей стороны начал рассказ:

— Тут как сказать... Конешно, тут и жадность повредила... Самогонку курил, а в самогонку купоросу для крепости клал... Кажному охота, чтоб покрепче, за воду кому охота деньги платить... В своем-то селе эту самогонку он не продавал, а все в Кураповку отвозил... Ну и довозился... В энтот раз от его самогонки четверо померло... А вчера, как привез, мужики кураповские говорят:

— А ну-ка зайди в избу... И ведь вот что ты думаешь — какие терпеливые, ни дубинками, ни кулаками не тронули, а только в избу привели, за стол посадили, собственной самогонкой потчевать стали... Он сначала куражиться, что, дескать, меня угощаете, я сам хозяин, когда хочу, тогда и пью... А парень один, у какого отец с купоросной самогонки помер, наливает чайный стакан и говорит:

— Пей...

Выпил. За одним другой, за другим третий, да так две бутылки и заставили опорожнить...

После двух его и развезло, с места не сдвинется, забормотал чевой-то, а хозяевы взяли да за ворота выкинули... Замерзнуть он не мог, в шубе на снегу лежал, не в рубахе одной. Дома ждать—пождать, нету... Нынче днем лошадь с пустыми санями пришла, все испугались, поехали искать, и нашли... Так возле забора и лежал... Живой лежал, а дорогой помер... Насчет битья — могу сказать — пальцем никто не тронул... От купоросу помер... От своего купоросу. Переложил лишку... Купорос в самогонку надо умеючи класть.

14-го, воскресенье.

Нужно записать, как подарок Д. Бедного сделал переворот в убеждениях многих наших стариков, как хоронили деревенского революционера и как происходила драка на дороге... драка из-за того, что из двух встречных никто не хотел посторониться со своею подводой. Посторониться, правда, некуда, дорога узкая, справа и слева рыхлый снег. Лошадь тонет в снегу с головой. Столкновение кончилось все-таки тем, что один с проклятиями застрял в снегу, а другой проехал...

Об этом надо записать подробнее...

Изобретатель, беспризорный, фокусник, купорос, драки, смерть... Как будто все это я выдумал нарочно... Нет, нет, это не выдумано... Это невесело. Что ж... Но это побуждает искать радость, а если она нигде не валяется, побуждает к созданию радости и счастья.

О пролетарской культуре.

(Из неопубликованных материалов).

В. И. Ленин.

Проект резолюции о пролетарской культуре был составлен В. И. Лениным в связи с 1-м Всероссийским с'ездом Пролеткульта, происходившим в октябре 1920 г. Проект остался в рукописи, дальнейшего движения не получил и опубликовывается в первый раз.

«Из номера «Известий» от 8/X видно, что тов. Луначарский говорил на с'езде Пролеткульта прямо обратное тому, о чем мы с ним вчера условились.

Необходимо с чрезвычайной спешностью приготовить проект резолюции (с'езда Пролеткульта), провести через ЦК и успеть провести в этой же сессии Пролеткульта. Надо сегодня же провести от имени Цека и в коллегии НКПроса и на с'езде пролеткульта, ибо с'езд сегодня кончается [1]).

Проект резолюции [2]).

1. В Советской Рабоче-Крестьянской Республике вся постановка дела просвещения как и политико-просветительной области вообще, так и специально в области искусства должна быть проникнута духом классовой борьбы пролетариата за успешное осуществление целей его диктатуры, т.-е. за свержение буржуазии, за уничтожение классов, за устранение всякой эксплоатации человека человеком.

2. Поэтому пролетариат как в лице своего авангарда — Коммунистической Партии, так и в лице всей массы всякого рода пролетарских организаций вообще должен принимать самое активное и самое главное участие во всем деле народного просвещения.

3. Весь опыт новейшей истории и в особенности более чем полувековая революционная борьба пролетариата всех стран мира со времени появления «Коммунистического Манифеста» доказали бесспорно, что только

[1]) С начала и до сих пор написано чернильным карандашом.

[2]) Слова: «Проект резолюции» написаны черным карандашом, а самый проект резолюции — черными чернилами.

миросозерцание марксизма является правильным выражением интересов, точки зрения и культуры революционного пролетариата.

4. Марксизм завоевал себе свое всемирно-историческое значение как идеологии революционного пролетариата тем, что [он] марксизм отнюдь не отбросил ценнейши[е] { x } завоевани[я] { x } буржуазной эпохи, а напротив усвоил и переработал все, что было ценного в более чем двухтысячелетнем развитии человеческой мысли и культуры. Только дальнейшая работа на этой основе и в этом же направлении, одухотворяемая практическим } опытом диктатуры пролетариата как последней борьбы его против всякой эксплоатации, может быть признана развитием действительно пролетарской культуры.

5. Неуклонно стоя на этой принципиальной точке зрения, Всероссийский с'езд Пролеткульта самым решительным образом отвергает как теоретически неверные и практически вредные всякие попытки выдумывать свою особую культуру, замыкаться в свои обособленные организации, разграничивать области работы Наркомпроса и Пролеткульта [и т. п.] или устанавливать «автономию» пролеткульта внутри учреждений Наркомпроса и т. п. Напротив, с'езд вменяет в безусловную обязанность всех организаций Пролеткульта рассматривать себя всецело как подсобные органы сети учреждений Наркомпроса и осуществлять под общим руководством Советской власти (специально Наркомпроса) и Российской Коммунистической Партии свои задачи, как часть задач пролетарской диктатуры.

Т. Луначарский говорит, что его исказили. Но тем более резолюция архинеобходима» [1]).

Справка от редакции. Для информации ниже помещается речь тов. А. В. Луначарского на Всероссийском с'езде Пролеткульта в изложении «Известий» от 8 октября 1920 г., № 224, на которую ссылался В. И. Ленин:

«На вчерашнем пленуме с'езда председатель международного бюро Пролеткультов тов. А. В. Луначарский обратился с следующей речью:

— Даже в это тяжелое время, — сказал тов. Луначарский, — вы сумели многое сделать. Идеи самостоятельной пролетарской культуры стали популярными, и пролетариат потянулся к организации, на знамени которой ясно написано: «Пролетарская Культура». Пролеткульт сделался притягательной силой не только для русских, но и для западных трудовых масс, и приезжавшие к нам заграничные друзья чрезвычайно интересовались задачами пролеткульта. В Берлине уже имеется «Общество пролетарской культуры». Международное бюро Пролеткультов ставит одним из первейших стремлений дело широчайшей пропаганды идей Пролеткульта. Необходимо международное издательство для выпуска прокламаций на всех языках тру-

---

[1]) Приписка: «Т. Луначарский говорит»... написано в начале первой страницы чернильным карандашом.

дового мира, необходимо ознакомление с произведениями русских пролетарских писателей широких трудовых масс Запада».

Касаясь отношений Наркомпроса и Пролеткульта, тов. Луначарский указал, что за Пролеткультом должно быть обеспечено особое положение, полнейшая автономия, так как Пролеткульт, главным образом, стремится к выработке новых форм пролетарской культуры, к выявлению из недр пролетариата творческих талантов; необходимо, чтобы такой громадной важности организация, как Пролеткульт, со всем вниманием отнеслась к задачам Наркомпроса, оказывая свое воздействие путем делегирования своих уполномоченных в художественные и просветительные коллегии Наркомпроса.

Области Наркомпроса и Пролеткульта при глубоком внимании к задачам того и другого должны быть разграничены: дело просвещения и, главнейшим образом, образования рабочей молодежи находится в руках Комиссариата Народного Просвещения; дело пролетарской культуры — в Пролеткульте. И внешкольный отдел и Пролеткульт организуют свои клубы, и никаких трений, кроме соревнования, не должно быть. Представитель Пролеткульта должен находиться в Главполитпросвете. У Пролеткульта нет даже своего помещения для театра. Пролеткульты нуждаются в самом необходимом. Нужно сделать так, и это будет сделано, чтобы Пролеткульт был первым заказчиком во всех наших государственных предприятиях, первым потребителем государственного имущества. Необходимо предоставить Пролеткульту все возможности к изучению всех видов искусств, к использованию всех культурных учреждений.

В заключение тов. Луначарский еще раз подчеркнул, что Пролеткульт должен сохранить свой характер самостоятельной деятельности, и поздравил с'езд с расширением работ Пролеткульта до мирового масштаба.

Теперь, — закончил т. Луначарский, — даже скептики убедятся, что доброе зерно пролетарской культуры посажено в бесконечно благодарной почве.

После ответа на многочисленные записки тов. Луначарский выступил с докладом о профессионализме в искусстве и, главным образом, в искусстве театральном.

Доклад возбудил живейший интерес. Между прочим, докладчик отметил, что так называемое любительство драматического искусства грозит потопить всю культурную работу. Три тысячи крестьянских театров подражают самому худшему, что было у буржуазии. Ставятся пошлые и глупые пьесы, и никто не думает о том вреде, какой приносит это любительство.

Основные мысли доклада тов. Луначарского, изложенные в следующей резолюции, были приняты с'ездом:

«Заслушав доклад тов. Луначарского о профессионализме, Всероссийский с'езд Пролеткульта находит:

1) Пролетариат в своем научном и художественном творчестве должен критически использовать навыки профессиональных художников всех родов искусства как академического, так и новаторского направлений, выбирая из них то, что способствует организации нового коммунистического искусства.

2) Вместе с тем пролетариат должен сознавать, что профессионалисты отнюдь не являются подлинными носителями какого-то истинного искусства. Наоборот, они либо владеют ослабленным ремеслом, достигнутым в прошлые эпохи искусства, либо ищут первых шагов еще неопределенных новых путей, при чем в смысле содержания живут прошлым, а вторые определенного содержания вообще пока не имеют.

3) Пролетариат видит перед собой задачу, совершенно чуждую профессионализму прошлого, создания массового монументального искусства (в особенности театр) и выражения совершенно нового, великого коммунистического содержания.

4) Пролеткульт должен выделить из рабочего класса талантливые единицы и содействовать выявлению и специальному образованию их и превращению в мастеров нового социалистического искусства.

5) По отношению ко всей массе Пролеткульт, не останавливаясь на любительстве, должен позаботиться о развитии способности массы воспринимать искусство и участвовать в массовых художественных проявлениях, как хоровом пении и ритмических действиях».

Художественная литература и рабкоры.

(О простых истинах и простом писателе).

А. Воронский.

Об этих рассказах, очерках, стихах, написанных обычно непритязательной и неопытной рукой рабкора, следует поговорить. Не потому, что эти рассказы становятся или стали значительным художественным явлением нашего времени. К сожалению, этого пока нет. И надлежит с большой осторожностью относиться к легковесным заверениям, что рабкор вошел в художественную литературу и уже вносит в нее свой освежающий, новый и ценный вклад. Еще недавно у нас раздавалось немало таких и подобных утверждений. Пролетарская литература создается рабкором, у рабкора уже есть свой стиль и язык. Не десятками и сотнями, а тысячами и десятками тысяч исчислялись рабкоры поэты и художники-прозаики, при чем речь шла не о рабочих корреспондентах, пробующих перейти от заметки к рассказу, а именно о литераторах-художниках. Недоумевали по поводу слепоты коммунистов, плененных буржуазным эстетизмом, сомнительными попутчиками, клеветниками на революцию и не воздающих достойного молодой рабкоровской смене. Одни по своей наивности, другие из-за побуждений мелкого кружкового политиканства и крохоборства старались «заработать» на рабкорах, при чем сами-то рабкоры чаще всего сидели где-то в стороне, мусолили старательно карандаши над клочками бумаги в коморке, в клубе, в общежитии и не торопясь, но вдумчиво, делали свое дело: писали о заводских и фабричных горестях и радостях, об успехах и недочетах, о повседневных нуждах и житье-бытье родной им среды. Для многих это было настоящим спасением. Крепкий инстинкт подсказывал им, что мандаты на звание художника-литератора, преждевременно раздаваемые направо и налево легкими критиками, не в меру горячими энтузиастами, юркими кружковых дел мастерами и вострыми юношами, ничего путного не принесут, тем более, что раздававшие эти мандаты вскоре в силу своих кружковых неурядиц, огорчений и склок как-то незаметно оттерли и оттеснили превозносимых рабкоров куда-то на задворки, а если и вспоминали о них, то больше для ловли голосов, для шумих (шумим, братцы, шумим!) и для преподнесения им статей в духе первой ступени. Никакой художественной продукции «многих тысяч» они нам в своих журналах не показали, да и жур-

налы-то от плохого ведения захирели и до рабкоров не дошли. Тех же, кто всерьез отнесся к прокламированию мандатчиков, как и следовало ожидать, постигли сомнения, разочарования, недоверие к себе, к литературе и к своим «вождям», ибо сказано в писании: «не уклони сердце мое в словеса лукавствия». Вопрос о рабкорах-литераторах оказался куда сложней, чем представляли его неунывающие всегда левейшие россияне.

Но дело сейчас не в этих источавших лукавые словеса россиянах. Кое-кто из мусоливших карандаши и стоявших в стороне от вавилонского критического столпотворения и празднословия мало-по-малу от газетных заметок в 20 — 30 строк стал переходить к небольшим очеркам, зарисовкам, к рассказам и стихам. Разбросаны эти первые опыты в газетах, в еженедельниках, в профессиональных изданиях, не делающих большой литературной погоды. Напечатано таких произведений не много, но и не мало. А еще больше их пишут. Их пишут не профессиональные литераторы, а люди разных возрастов, но преимущественно из рабочей молодежи, до сих пор связанные с фабрикой и с производством, их пишут в промежутки, между «делом», в немногие свободные часы для отдыха, их пишут неустановившимся, ломающимся почерком, с грубейшими грамматическими и синтаксическими ошибками, их пишут потому, что не могут не писать, под напором, под наплывом мыслей, чувств и настроений, — потому, что эти чувства и настроения требуют бумаги и пера, их пишут многие, хотя они и не являются еще художниками.

Поэтому о них следует повести разговор, нелицеприятный, спокойный, чуждый вспышкопускательства и суесловия.

В моем распоряжении находится 20 — 25 таких произведений, написанных почти исключительно рабкорами «Правды». Часть напечатана, другие — в рукописях. Их размер не превышает авторского полулиста. В этих рассказах и набросках много общего. Можно сделать кое-какие выводы.

Темы рабкоров-литераторов. Они — узки и примитивны. На первом плане стоят рассказы и бытовые очерки, в которых изображается героическая борьба рабкора на своем заводе. На заводе, в мастерской непорядки. Рабкор написал о них газетную заметку. Рабкора зовут в контору, директор злыми глазами сверлит ненавистного «бузотера». Разумеется, у директора жирное лицо и, разумеется, он рассчитывает рабкора. Рабкор ищет правды; если он не находит ее в завкоме, в ячейке, он идет дальше вплоть до Мих. Ив. Калинина. Правда торжествует, директор посрамлен. Когда в рассказе отсутствует директор, его место занимает мастер, пьянчуга, придира, грубиян, утеснитель рабочих. Таких рассказов большинство, эти темы преобладают у В. Безродного, у Погонченкова, наиболее талантливых из этой группы.

Иногда рассказ отдает довольно явным спецеедством. Таков, например, рассказ тов. Гива «Выдвижение». Рабкор Чагов посрамляет легко не только директора, инженера и мастера, но и секретаря ячейки. Мастера высокой квалификации он замещает с полным успехом. Правда, ему в этом помогают рабочие, но он и сам, что называется, не лыком шит. Нужно

исправить машину: «Чагов у этой машины первый раз, до всего приходится смекалкой доходить. После получасовой возни, машина заработала. Чагов отдувается, но торжествует, а мастер недоволен». Вскоре он уже докладывает на производственном совещании, что у него «дело налаживается» и «дело идет». Это уже не спецеедство, а своеобразное рабкоровское чванство и бахвальство.

Дальше идут рассказы о смычке города с деревней по закрепленному образцу: рабочие отправляются в подшефное село, помогают крестьянам, исправляют машины; крестьяне премного благодарны.

Наконец, следуют рассказы, в которых рабкоры разгоняют тьму тем суеверий, иллюзий, религиозного дурмана, невежества, неграмотности, забитости в деревне и в городе.

Этим обычно исчерпываются основные тематические установки. Отклонения, конечно, бывают.

Намеченные темы величественны и являются знамением нашего времени, но обработка, но подход, но развитие их банальны, наивны, схематичны и больше свидетельствуют о благих намерениях авторов, чем о достижении положительных результатов. Рассказ, очерк, стих втиснуты в хорошо известную рамку, писатель все время боится отойти от шаблона. У начинающих рабкоров-беллетристов воля хотеть явно преобладает над волей видеть, а нужно, чтобы и то и другое сочеталось в определенной гармонии. В их литературных опытах еще не видно ни индивидуального авторского лица, ни значительной и содержательной художественной идеи. Отчасти это об'ясняется слишком ограниченной отправной точкой зрения. Поясню примером. В разговоре с одним тов. рабкором по поводу его рассказа было указано, что пьянчуга-мастер, которого он изобразил, и вся бытовая обстановка слишком фотографичны и локальны.

— Совершенно верно, — согласился молодой литератор; — когда я писал рассказ, я взял мастера, хорошо известного мне по заводу. Надоел он нам всем. Хотелось, чтобы обратили внимание и чтобы его или уняли, или совсем уволили.

— Ну, и что же, помогло?

— Помогло. Выгнать — не выгнали, а заставили вести себя тише.

— Да. Но если бы вы взяли за образец вашего мастера, прибавили ему черты, подмеченные у мастеров других заводов, кое-что убавили, лишнее, случайное, — может быть тогда обратили бы внимание на многих мастеров?

— Возможно, но я думал, когда писал, о своем заводе...

Вот это «я думаю о своем заводе», этот узкий, чересчур непосредственный практицизм и утилитаризм и мешают сейчас многим и многим рабкорам перешагнуть от газетной корреспонденции к художественному рассказу. То, что хорошо для заметки, вредно для рассказа. Надобно от такого цеховизма отказаться, надобно понять, что искусство покоится на обобщении, что основное настроение, коим вдохновляется художник, неизмеримо глубже и шире заботы о *данной* фабрике, о деревне. Без этого невозможно стать настоящим художником.

Нужно дальше усвоить, что рассказ, повесть, роман, любое художественное словесное произведение не есть простое изображение жизни. Интересный случай, любопытное событие, занимательный человек только тогда становятся фактами художественной значимости, когда в них, как в куколке личинка бабочки, скрыта художественная идея, эмоция, открывшиеся по особому в конкретных образах писателю. Интересных случаев, поразительных, страшных и комических событий каждый из нас знает великое множество и, если он хорошо грамотен, то способен занятно о них поведать печатно. Но самый красочный рассказ и повествование останутся пустыми и лишними и не будут иметь никакой художественной ценности, раз с их помощью не выражены по своему какое-либо глубоко прочувствованное настроение или мысль. Художник открывает истину как и ученый, но он являет ее в образах. На одном из собраний рабкоров произошел такой случай. Лектор долго и подробно пояснял положение, что художество не есть простая и живая передача интересных событий и происшествий. Во время обмена мнениями поднялся молодой рабкор и заявил:

— Очень долго я ходил по редакциям с рукописями. Мне отказывали. Не понимал я, почему отказывали. Приду домой, раскрою журнал, прочитаю какой-нибудь рассказ и думаю, почему вот этот напечатан, а мой отвергнут. Как будто и написан гладко и об интересном, а не принимают. Теперь понял. Верно, я старался найти что-нибудь занятное и описать, а к чему и для чего — об этом я не задумался. Оказывается, нужно знать, кто́ ты хочешь сказать своим рассказом. — Помолчав, он прибавил: — Завтра беру рассказы из редакций. Надо подумать. —

Это было сказано просто, хорошо и искренно.

Подумать об этом надобно не только рабкорам, но и более опытным писателям, загромождающим редакции рукописями с разными сюжетами, но лишенными большого чувства и серьезной мысли.

Упорство, с каким рабкоры пишут о сомнительных и упитанных директорах, о мастерах, действующих по старинке, о рабкорах, подвергающихся гонениям, показывает, что на советских фабриках и заводах до сих пор осталось еще много отрицательного, казенного, бюрократического, что не только старые специалисты, но и фабзавкомы, но и красные директора зачастую не умеют установить дружеских, твердых, но товарищеских отношений. Иногда об этих директорах, мастерах, бухгалтерах пишут с таким же настроением как «в доброе старое время», когда прибегали к тачкам, прекращали работу из-за грубого обращения и пред'являли требования удалить таких-то и таких-то лиц из заводской администрации. «Кому ведать сие надлежит» пусть повнимательней отнесутся к этим незатейливым, но упрямым рассказам и очеркам.

Тематическая узость обеспечивает и крайнюю несложность сюжетного построения рабкоровских рассказов. С первой, со второй страницы становится известным, чем и как заключит повествование автор. Если в начале говорится, что молодой партиец предлагает поехать в подшефную волость и «отремонтировать кое-что», а в волости сидит дед и у него «скорежился

лемех», то безошибочно можно сказать, что в заключение лемех будет исправлен на славу, а дед почувствует себя на десятом небе. Если автор начинает рассказ о «гулящей» Насте, то уж, конечно, она в конце концов вступает в партию, либо становится делегаткой. Все без исключения рассказы с благополучными концами. Правда в них неизменно торжествует, порок же наказуется. Молодой — автор — рабкор, опрошенный в связи с неизменными благополучными окончаниями в его рассказах, усмехаясь, заметил: — Конечно, в жизни часто бывает не так. Я вот написал о директоре, что его отстранили от должности. Ничего подобного, живет и иногда действует попрежнему. А почему все-таки хорошо кончается? Кто ее знает... И так много невеселого видишь. Смотришь, смотришь, да и скажешь себе: эх, дай-ко я хороший конец придумаю. И придумаешь... —

Признание неожиданное и довольно правдоподобное. Люди хотят, чтобы хорошо кончалось, — желаемое и ожидаемое принимают как бы в настоящем.

Но главным образом несложность сюжетного построения следует отнести за счет литературной неопытности и подражательности. Кто не знает, сколь много у нас стандартизированного, шаблонного, подогнанного в литературе наших дней. Не мудрено, что и рабкор идет в своих первоначальных художественных опытах по проторенному руслу. Великое безобразие и порчу вносят у нас все эти стопроцентные критические охранители, орудующие дрекольем и обухом.

Нашим рабкорам-литераторам необходимо усложнить сюжет и не злоупотреблять благополучными окончаниями. Занимательность в художественном словесном произведении не должна стоять на первом месте, но и пренебрегать ею так, чтобы с первой страницы делался известным весь ход и исход, тоже не след. Любую тему о рабкоре и директоре, о подшефной волости, о гулящей Насте можно так усложнить, так конкретизировать и обставить такими жизненными подробностями, что она — эта тема — совсем по иному будет восприниматься читателем. Нужно научиться сталкивать, сводить интересные типы и характеры, обнаруживать их черты и свойства в своеобразных положениях, когда эти черты проявляются с наглядной выпуклостью, надо учиться создавать напряженность положения и умело и во время разрешать коллизии, оставаясь всегда верным основному художественному заданию. Что же касается благополучия, то никогда не следует забывать завета Г. В. Плеханова: одно из главнейших условий истинной художественности произведения есть правдивость. Без правдивости в искусстве как и в науке нельзя ступить шагу, нельзя ни увлечь, ни подчинить, ни уверить читателя.

В неуклюжих попытках рабкоров-беллетристов отразить новый заводской быт есть смутное, верное инстинктивное чувство, что именно здесь подобает искать подлинного нового героя нашего времени, того самого безымянного героя труда, который молча, безвестно и без наград несет на своих плечах тяжкий груз самой черновой созидательной и боевой работы. Но рабкоры еще не научились отражать типичное в индивидуальном, в неповтори-

мом и конкретном, они не овладели тайной художественной детали, они не умеют показать особый душевный изгиб, психологическую особенность, подметить и выразить, как по своему у их персонажей растопыриваются пальцы рук, растет борода, торчит вихор, сходятся над переносицей брови. По силе этого их Иваны, Дарьи, Николаи похожи друг на друга, сливаются в одно серое пятно, их трудно отличить, они не живут, не действуют, а проходят пред нами аскетическими тенями. Было бы очень неплохо, если бы молодые автор, нашли время и охоту присмотреться к таким художественным образцам, как, скажем, рабочий Михаил Иванович у Г. И. Успенского, «уволенный за бунты». Они увидели бы, каким образом наши лучшие художники создавали живые типы рабочих.

Положительное во всех этих рабкоровских начатках все же есть. Рабкоры стойко держатся за фабрику и за завод. Не раз и не два мы отмечали, что криков о пролетарской литературе у нас сколько угодно, а рабочего-середняка, связанного с производством в современном художестве почти нет. Рабкоры берутся за темы, совершенно не использованные современной литературой. Такие попытки надлежит всемерно поддерживать. Пусть первые шаги робки, пусть слишком ограничен и локален подход, пусть не создано еще ничего сколько-нибудь примечательного, но есть многочисленные кадры, которые не за страх, а за совесть намереваются поднять новую целину. Из этого впоследствии выйдет толк. Эпоха 1907—1917 годов выдвинула целую группу рабочих писателей. Они сгруппировались позже преимущественно в «Кузнице». Условия, быт с того времени радикально изменились. Прежнее поколение рабочих писателей, очевидно, не всегда и не во всем может поспешать в ногу за этим быстрым многообразием жизни. Требуется новое поколение, прокаленное на фабриках и заводах с новым накопленным и приумноженным материалом. Вредно думать, что только рабкоры способны художественно переработать этот материал, но их среда должна дать своих поэтов и прозаиков, свое слово они должны сказать.

Непомерное преувеличение считать, что наши рабкоры в значительной мере уже создали свой стиль и язык. Такие заверения раздавались на Вапповском с'езде писателей в 1924 году. Этого нет. Но у некоторых рабкоров есть известные, отрадные успехи в слове. Живой, бойкий, яркий и выразительный язык, например, у тов. В. Безродного (рассказы «Гришина маевка», «Мухорыш», «Лемех»). Этот язык еще не очищен и шершав, но есть в нем сочная терпкость, весенняя свежесть и переливчатость. В короткой фразе, в меткости определений, в крепости и живости диалога что-то напоминает рабочую околицу, бодрую, смешливую, молодую, немного озорную, не скупую на ответы, умеющую сказать твердо, увесисто, без лишних слов, по трудовому. Темы же и сюжет не выходят из обычного круга рабкоровских писаний, они далеко отстают от языка. У тов. Погонченкова язык бледней, но ровней. В описаниях завода чувствуется человек, знающий то, о чем он пишет (рассказы: «Изобретатель», «Индюк» и другие). Он уже умеет подметить, что у крановщика лицо «прокопченое, как свиной окорок», что в прокатном цехе раскаленная полоска «в последних парах вальцев тянется тоненькой,

огненной змейкой. Беспокойно движется ее петля по чугунному полу туннеля и кажется она злым, беспощадным зверьком, наровящим уцепить зазевавшегося и за ногу, и за бок, а то и на шее повиснуть мертвой петлей.

Стихи рабкоры пишут в изрядном количестве. Обыкновенно это — рифмованная проза на тему о необходимости подтянуться, повысить производительность труда на благо республики советов, послания и обращения к деревне с призывами сомкнуться и поддержать рабочего и т. п. К подлинной поэзии эти с трудом срифмованные строки имеют мало отношения. Подражают больше всего Демьяну Бедному, обычно неудачно пока; иногда, тоже неудачно, Сергею Есенину. Демьян Бедный стоит выше всех, Есенина знают многие, футуристические уклоны редки. В том ворохе стихов, который лежит предо мной, приятно отметить большую в 400 строк, еще не напечатанную поэму поэта-рабкора А. Николаева «Яшка». Поэма о детстве в деревне, о заводе, снова о деревне и о тракторе. Поэма разнообразна и не утомительна по ритму, проста, песненна и не лишена ярких и сочных мест.

Осень: Расстилает ночью инея полотна,
Вышивает сочно клюквою болото...

...Начертили журавли в тучах ижицу,
Тучи сели до земли, к лесу лижутся...

...Вспомнил много наговоров и былин
И про ведьмин, поздно вечером, зажин,
Когда пòтемну, усевшись на метлу,
Ведьма в поле собирает спорынью...

«Селезень — трактор в нивах полощется» — это тоже хорошо.
Есть свои, душевные стихи у Румянцева.

Литературная среда рабкоров-писателей здорова, деловита и честна. В ней пока незаметно борьбы и мелочных столкновений уязвленных и оскорбленных самолюбий, богемы, нездорового индивидуализма, склочничества, взаимных подсиживаний, всего, чем богаты наши квалифицированные литературные кружки и об'единения. Люди жадно слушают, учатся, работают, участвуют в общественной жизни. Эта среда скромна, она не расталкивает плечами, не протискивается напропалую чем и как попало к литературному столу, не открывает литературных рыцарей на час, не требует преждевременных признаний, не толкует горделиво о «совершенно» новой пролетарской культуре. В этом порука, что рабочие писатели преодолеют тот наивный бытовизм и узость, от которых страдают сейчас их первые опыты, тем более, что большинство из них в возрасте 22—25 лет и на новом поприще работают кто 1½, кто 2 года.

Читатель, друг рабкора, его товарищ и сосед по станку, ждет от него не зарисовок и эпизодов, не штампованных и стандартизированных вещей, а содержательных, волнующих, свежих, возвышенных и углубленных художественных преображений жизни.

Новый реализм в живописи.

Ф. Рогинская.

I.

В настоящий момент крушение левых течений и возрождение станковой живописи в форме нового реализма общепризнано. Однако что же это за «новый реализм»?

Посмотрим, каким представляется он в глазах самих художников-реалистов:

«Революционный день, революционный момент — героический день, героический момент, и мы должны теперь в монументальных формах стиля героического реализма выявить свои художественные переживания». Так гласит декларация АХРР, составленная в начале 1922 г.

Обратимся к художникам, стремившимся воплотить в жизнь намеченную линию героического реализма. Еще недавно «отгремела гражданская» и тень ее отблеском пожаров ложится на их первые полотна и озаряет их тем самым желто-оранжевым светом, который заставляет Н. Пунина снисходительно пожимать плечами и заявлять, что они «смотрят на мир, словно через солому». В известной степени этот «пожарный» тон преемственен, он перешел с плакатов, которые по традиции подчеркивают картину борьбы оранжевыми или фиолетовыми мрачными цветами. Не только фоны заимствованы у плакатов. Плакатный пафос, плакатный романтизм, плакатный героический жест — все это можно найти на первых картинах АХРР. Что же тут удивительного? Ведь в сущности плакат остался единственной формой, близкой станковой живописи в предшествовавшие годы. Это вовсе не парадокс. Ведь только плакат в период засилия беспредметничества предоставлял возможность изобразительного сюжета.

При всем том влияние плаката сказывается только в деталях. Оно проскальзывает то в той, то в другой части картины, но не накладывает печати в целом, и если пришлось на нем сперва остановиться, то лишь для того, чтобы не возвращаться к нему в дальнейшем.

Самое характерное для картин героического уклона — это крайняя сложность их замыслов, почти всегда многоликих, многоголосых, нераспутанных для самого автора. Они стремительно вырываются на волю, ища вопло-

щения. Но их слишком много. Они недостаточно выношены, они теснят и давят друг друга. К тому же художники недостаточно еще владеют техникой. Они не могут композиционно распределить и разработать весь этот богатый сырой материал на огромном пространстве своих полотен.

Чтобы уяснить, какие трудности пришлось преодолевать художникам при попытках создания нового монументально-героического стиля, приведу довольно длинную, но в высшей степени характерную выдержку из статьи Пунина «Первая выставка АХРР в Ленинграде». «Прежде всего, выяснилось, — пишет Пунин, — что формальным строением картины авторы (ахрровцы) называют такие, например, проблемы, как изображение толпы или красного директора. Попытки мои раз'яснить им, что все это отнюдь не есть формальная сторона в искусстве и что искусство живописи есть прежде всего искусство живописно разработать поверхность, не имели никакого успеха... Они упрямо твердили, что человек — это одно, а толпа — это совсем другое и что изобразить толпу с точки зрения формальной во столько же раз трудней, во сколько раз количество изображенных в толпе людей больше одного человека». В этом споре правы были, конечно, авторы картин. Задача изображения толпы с формальной точки зрения есть именно задача распределения ее по поверхности полотна, т.-е. задача композиционная, а композиция, как известно, основа и стержень формального строя картины. Но мнение Пунина важно постольку, поскольку отражает мнение всей предшествовавшей полосы живописных исканий, отвергших сюжет, как чуждый живописи элемент. Оно об'ясняет, почему ахрровцам пришлось вступить на совершенно невозделанную почву, искать и строить самим новые способы разрешений.

Помимо чисто формального построения картины художникам пришлось столкнуться с вопросом о взаимоотношениях между сюжетом произведения и его темой, между сюжетом и той основной мыслию, проводником которой он является. Например, в «Пугачеве в Казани» Горелова (Музей Революции) сюжет представляет определенную сцену: Пугачев сидит на импровизированном кресле, к нему подводят дворян и т. д., но тема, конечно, шире этой сцены, тема — отражение Пугачевщины. Точно также «Повстанцы» Карпова изображают группу крадущихся крестьян, но тема их — повстанческое движение и т. д. Этот вопрос отражения темы сквозь сюжет — вопрос основной важности для всей сюжетной живописи, не только героически-монументальной. Это наиболее ответственный момент всякой станковой картины, потому что здесь мы соприкасаемся с моментом общим любому другому искусству, например, литературе. Здесь именно кроется опасность пресловутого «литературного анекдота», на который столько нападали в предшествовавшие годы. Между тем, «литературный анекдот» получается только тогда, когда сюжет — по тем или иным причинам — заслоняет и тушит тему. Тогда зритель воспринимает, действительно, только изображение частного эпизода. У Карпова это произошло, например, из-за чрезмерной, более, чем фотографической портретности персонажей, их одежды и всех деталей. У Горелова потому, что основная мысль тонет в обилии пестро-разработанных фигур, придающих картине вид восточного базара.

Такие картины — независимо от их размеров — могут быть прекрасным этюдом или зарисовкой или точной фотографией, но не могут быть значительным художественным произведением, произведением большого стиля, монументальным.

Мы видим таким образом, что художникам пришлось столкнуться с нелегкими задачами. В применении к таким грандиозным и сложным темам, да еще после длительного периода полной заброшенности, они оказались художникам не по плечу — и не мудрено.

В конечном итоге, монументальная картина не создается. Создается очень большая иллюстрация. Иногда удачная, как — «Пугачев в Казани» Горелова, но большей частью неудачная, загроможденная деталями и лишенная необходимого центрального момента, который завладел бы вниманием зрителя и через посредство которого воспринялась бы вся картина в целом (например, «Усмирение Пугачевского бунта» того же Горелова). Художники сами это чувствуют. Начинается падение их интереса к теме. Оно выражается в понижении колоритных исканий — их удовлетворяют грязно-серые тона. Понижаются композиционные задачи — художники довольствуются шаблоном или случайностью. Тот самый Горелов, который, несомненным увлечением дал Пугачевскую серию, очень холодно отнесся к «Девятому Января» (7-я выставка АХРР) и замкнул свою композицию в казенный полукруг. Другая картина той же выставки «Расправа с рабочими» Дроздова — типический пример случайной композиции. Это как бы моментальный фотографический снимок с натуры, без необходимого в искусстве отбора нужного и ценного от случайного и мешающего, без того «строгого выбора», за который Микель Анджело с гораздо меньшим основанием упрекал фламандскую живопись, отмечая, что «ее порок в том, что она хочет изображать в совершенстве множество вещей столь значительных, что достаточно было бы остановиться на одной».

На ряду с понижением качества картин, стремящихся к реализации монументально-героического стиля, наблюдается другое любопытное явление — значительно более высокий уровень картин, посвященных мирному быту, порой просто небольших созерцательных и беспритязательных картин, в которых художник, как бы стыдливо, отдает дань личной слабости.

Возьмем, например, Шестопалова. Его революционные картины бледны, а бытовые восточные насыщены ленивым знойным колоритом и по-своему превосходны. «Бомбист» Никонова, несмотря на техническое мастерство, холодно-риторичен, а семейный портрет в саду излучает какую-то внутреннюю солнечную теплоту. Таких примеров много. В результате последняя выставка АХРР'а казалась какой-то скрытой ареной борьбы между тем, что художник д о л ж е н — по его мнению — рисовать и тем, что ему х о ч е т с я рисовать.

Впрочем, необходимо оговориться, что с самого начала возникновения нового реализма в нем было довольно крупное ядро художников-бытовиков. На художниках героического уклона пришлось остановиться, прежде всего,

для того, чтобы указать, что и они силой обстоятельств принуждены перековывать свои «мечи на орала».

Помимо формальных трудностей героического эпоса, в притягательной силе бытовых сюжетов есть и другие, пожалуй, более существенные причины порожденные переходом жизни к полосе мирного строительства. «Героический день революции» остался позади, ушел вглубь истории, подернулся романтическим флером. Он потерял для художников свою первичную, заряжающую и впечатляющую силу, и в этом причина внутренней статичности композиции, преодолевающей внешнюю динамичность сюжета. В то же время вошедшая в рамки жизнь, даже в самых обыденных своих проявлениях, приобретает в глазах художника всю прелесть новизны, весь тот *живописный* интерес, который необходим для создания художественных произведений. Разбираясь в причинах возникновения и расцвета голландской жанровой живописи XVII века после войны за освобождение, Тэн пишет. «Только что испытанное великое потрясение стирает с вещей однообразный налет, которым покрыли их предание и привычка... Все самые обыденные действия получают особую прелесть и интерес». Аналогичное явление наблюдается и сейчас. Оно усугубляется еще тем, что художники целые годы отказывались от изображения действительности. Было бы очень соблазнительно прибавить, что главная притягательная сила заключается для художников в новых формах быта, еще не нашедших себе выражения. В действительности это не так. Из дальнейшего будет видно, что именно самые простые, самые привычные моменты больше всего привлекают художников. Они как бы открывают окружающий мир вновь.

Что это утверждение не голословно, доказывают характернейшие строки Кацмана («Как создался АХРР»):

«В чайной около завода мы обедали весело и шумно. С нами обедали извозчики, рабочие и деревенские мужики. «К чорту беспредметников, — говорили мы, — *посмотрите на эти великолепные лица, затылки, полушубки, смотрите, как они сидят, разговаривают, едят, все это живописно и великолепно*». Что ж, неужели следует предположить (как это сделал Чужак на диспуте АХРР'а «Леф и Мы»), что Кацман никогда не видал «деревенских мужиков»? Конечно, нет. Надо полагать, что особенно в эпоху гражданской войны все художники видели достаточное количество кожухов, рабочих и крестьянских лиц, и не только в обстановке пивной, но и в полумраке теплушки и в пламенных отсветах костра. Видели, но не воспринимали их художественно. В противном случае, разве возможен был такой непосредственный восторг, как перед вновь открытой красотой.

Кацман отнюдь не одинок. То же радостное сознание впервые открытого художественного момента не так восторженно, но умиленно струится с картин Чепцова. В этих небольших полотнах, за тихими детскими группами, купающимися в ласковом солнечном свете, открываются безмятежно-мирные небесные просторы. Здесь нет и следа рериховских «небесных боев». Это вообще не небеса, а ласковые голубые дали с ленивыми облаками. Та же любовь к вновь

обретенному миру реальности заставляет Рянгину в картине «На кухне» с такой бесконечной точностью передать картошку и ведро и все нехитрое окружение кухонной утвари. Тугендхольд не без улыбки называет Рянгину и родственных ей художников «новоявленными голландцами». Между тем, здесь действительно существует какое-то подлинное родство.

Что ж из окружающей жизни становится материалом для воспроизведения и как эта действительность преломляется в творчестве художников? На постоянной выставке ВЦСПС имеется картина, изображающая одно из отделений фабрики Москвошвей. Она показательна и на ней следует остановиться. На переднем плане картины сидит молодая девушка. У нее очень нежный изгиб шеи, свежая кофточка и от всей ее склонившейся фигуры веет спокойной деловитостью, чистеньким уютом. И от этого все остальные рабочие, шьющие за тем же столом, создают впечатление дружной семейной группы. Здесь благодушная, почти до умиленности, зарисовка мирного, не тяготящего труда. Почти все картины бытового характера носят именно этот характер не мудрствующей лукаво, спокойной или любовной зарисовки. Тщетно пытались бы мы найти на выставках хоть одну картину негодующую или сатирическую, трагическую или юмористическую. Мало того, художники даже не затрудняют себя выбором типического, выразительного момента. Любое спокойное, любое н о р м а л ь н о е положение кажется художникам достойным воспроизведения. Вот «Колбасная фабрика» Яковлева, бесчисленное количество зарисовок работы на металлических заводах «Солеварни» и т. д. Всякий каталог продемонстрирует целую серию таких сюжетов. Художник даже не чувствует потребности в компановке сюжета, в изобретении жанровой сценки. Жанра нет. Есть только зарисовка, иллюстрация: рабочий у станка, крестьянка в избе или за околицей, прачка стирает и т. д. И даже в пределах этой зарисовки нет творческой переработки художником действительности. Эта действительность преподносится зрителю в сыром виде. Она просто радует автора, как живописный момент — и это, конечно, хорошо. Но он не испытывает ни малейшего желания зарядить ее известным психологическим содержанием, дать свою внутреннюю оценку этой действительности — и это плохо. Я не хочу вовсе сказать, что художник должен обязательно писать тенденциозно или агитационно. Поясню свою мысль примером. Обращусь к натюр-морту, оставляющему, как известно, очень мало простора для психологии. Возьмем для сравнения натюр-морты Машкова, Фалька и традиционную «Дичь», составляющую классическое украшение столовых. Психологический заряд натюр-мортов Машкова заключается в том ощущении плотской чувственной полноты жизни, которое они сообщают зрителю. «Курица» Фалька («15 лет левых направлений», окт. 1925 г.) со своими трупными тенями и свисающей головой вырастает в символ нищеты. «Дичь» представляет только точную или приукрашенную копию действительности и ее психологический заряд равняется нулю. И в то время, как работы Машкова и Фалька — значительные художественные произведения, художественное значение «Дичи» ничтожно. То же самое и в пейзаже. Почему пейзажи Левитана расцениваются, как большое художественное явление? Потому что он

вложил в них то внутреннее содержание, которое выявило своеобразие русского пейзажа. Тем существенней психологический подход, психологическое содержание в сценах бытового характера. Отсутствие его не дает им подняться за пределы мелкого описательного иллюстративного бытовизма. Мы сталкиваемся здесь, в сущности, только в другой форме, с вопросом о взаимоотношениях между сюжетом и темой, о котором говорилось выше.

II.

Из всего сказанного в предыдущей главе следует, что произошло своеобразное перерождение героического реализма в иллюстративный, бытовой. До сих пор приходилось останавливаться, преимущественно, на рассмотрении АХРР'а. Не потому, что эта ассоциация первое или единственное художественное об'единение, ставшее на путь реализма, а потому, что она вынесла на своих плечах всю тяжесть борьбы за его утверждение. Отход к реализму, как средство спасения от самоубийства беспредметничества, начался еще и до возникновения АХРР, а потом протекал параллельно с ее развитием. Такие робкие художественные группировки, как «Союз», Московская Школа» и т. д., которые предпринимали кой-какие вылазки в область левого, немедленно замкнулись обратно в улитку наивно-беспритязательного реализма. Тяжелой поступью отошла и вся группа бывшего Бубнового Валета, с Машковым во главе. Историю этого медлительного отхода можно было проследить на выставке «15 левых направлений» (осень 1925 года). Однако весь этот отход никого не заразил. Именно потому, что это был отход назад на «заранее заготовленные позиции». В нем не было никаких элементов, обеспечивающих жизненность вновь занятых позиций. Его можно было рассматривать только как реакцию чисто-формальную по существу. Надо было АХРР'у подвести базу содержания, как исходного момента, снять veto с «литературного сюжета», так долго подвергавшегося преследованиям, чтобы реализм с пути отхода назад, из течения консервативного превратился в течение, обладающее всеми возможностями для поступательного движения. Поэтому именно АХРР становится центром притяжения для художников и лучше всего отражает характер нового реализма.

Но если обратиться к любому из художественных об'единений, вступающих на путь реализма, будь то «4 Искусства» и «Жар-Цвет», где реализм только кое-где пробивается, или «Бытие» и «Маковец», которые целиком идут под его флагом, всюду мы замечаем то же прорастание реализма в иллюстративно-бытовой.

Как оценить это явление? Выше указывалось на законность возникновения бытовизма, на некоторые причины притягательной силы именно такой немудрствующей иллюстративной его формы. Поэтому, если предположить, что иллюстративный период олицетворяет исходный собирательный, накопляющий момент в развитии нового реализма, его приходится принять как первый этап. Совсем другой оценки он заслуживает, если предположить, что эта первичная форма удовлетворяет художников и кажется

им уже найденной формой, в которую надлежит отлиться новому течению. Например, в высшей степени опасно, когда предисловие ко II выпуску художественной библиотеки АХРР'а торжественно заявляет, что успех последней выставки свидетельствует «с несомненной достоверностью о том, что мощные струи героического реализма начинают все ощутимей пробиваться в русском искусстве». В этих словах звучит своеобразная слепота художников по отношению к собственным произведениям. Вообще говоря, явление довольно обычное. Если предположить, что живопись надолго застрянет в таком созерцательном состоянии, ей придется раньше всего отказаться от надежды, что ей «будет принадлежать честь формирования и организации психики грядущих поколений» («Очередные задачи АХРР»), так как живопись, лишенная психологического заряда, живопись чисто описательная, не может претендовать на формирование психики. В лучшем случае, она может быть использована, как документальный материал. Но в конце концов фотография и картограмма могут выполнить эту задачу значительно полней. И нужна ли такая узурпация их прав?

Последние выставки несколько рассеивают эти пессимистические мысли. На любой из них при явном разливе иллюстративно-бытовых, попадается несколько картин, которые можно рассматривать, как первые ростки новой, более значительной фазы развития нового реализма.

Наиболее характерна в этом отношении выставка «ОСТ» (общество станковистов), молодое об'единение, возникшее летом 1925 года, как феникс из пепла старых лефов. Это лефовский «молодняк» — и самый факт перехода этого молодняка к реализму очень значителен. Он знаменует прекращение борьбы. Вместо двух враждующих лагерей в станковой живописи создаются два родственных, идущих к одной цели несколько разными путями.

Правда, и в «Осте» — по сюжету — бо́льшая часть работ иллюстративного характера: «Перед спуском в шахты», «В штреке», «Шарманщик», «Пионеры», «Хронометраж», «Лыжники» и т. д. Но подходят к ним художники совсем иначе. Возьмем, например, «Перед спуском в шахты» Дейнеке. Глядя на жесткие, сумрачные лица рабочих, на их глаза, привыкшие к мерцанию лампочек в тьме шахт, зритель проникается и суровой тяжестью ожидающего труда, и неотвратимостью и нужностью его. Здесь через голову сюжета властно звучит мысль этого произведения, она сообщает ему силу выразительности, психологический заряд и делает его гораздо значительней простого фотографирования.

«Перед спуском в шахты» взята, как характерный пример. Аналогичные по тенденциям работы можно найти и в «Бытии». Например, работа еще совсем не зрелая технически «Хор». Автор не ограничился зарисовкой. Он подчеркнул нарочитую разухабистость усталой хористки и ее партнеров и сразу превратил случайный хор в типичный, от частности перешел к обобщению. В «4 Искусствах» П. Кузнецов дает прекрасный, напоенный зноем страдной деревенской поры «Отдых».

Успех (VII) выставки АХРР целиком основан именно на картинах, вырастающих за пределы зарисовки в обобщение, не отвлеченное, а бытовое,

социально-психологическое, например, портреты «Беспризорных» Богородского. Или на картинах, дающих характерный, выразительный момент, на который так отрадно смотреть после целой серии безличных, например, Котова «Последний лозунг», «На кухне» Рянгиной и т. д.

Конечно, одновременное появление картин социально-психологического содержания следут признать очень положительным фактом. Все же не надо его переоценивать и закрывать глаза на то, что пока еще они тонут в массе чисто-зарисовочных.

III.

Если со стороны содержания общие этапы развития нового реализма почти очевидны, в смысле формальном трудно установить общую линию. В настоящее время в этом отношении царит полнейший разброд, не только между отдельными группировками, но и в среде любого художественного об'единения. Среди работ, о которых приходилось говорить, трудно найти два общие по принципам изображения. На 3 выставке «Маковец» (янв. 1926 года), например, ренуаровский дух Шевченко мирно уживается с глубоко-передвижническими портретами Родионова и с неумелыми попытками Чернышева пересадить изысканный ритм Ходлера на изображения пионерок, которые превращаются у него в боттичелевских отроковиц. АХРР, бывшая центром притяжения для художников из самых различных лагерей, представляет не менее пеструю картину. Этот разброд об'ясняется тем, что большинство художников, примкнувших к реализму, еще не успели ассимилироваться в какое-нибудь единство и пытаются оперировать старыми приемами, которыми пользовались прежде.

Было ли что-нибудь сделано в смысле хотя бы проложения вех новых формальных путей, органически слитых с новым содержанием?

От этого вопроса АХРР отмахнулась ничего не говорящими словами о неизбежности создания нового «невиданного дотоле» стиля. Кацман более конкретно говорит, что реалисты должны «уметь п о н я т н о разговаривать на языке народных масс». Немецкий художник Гросс тоже заявляет: «Я опять пробую дать абсолютно реалистическое изображение мира. Я стремлюсь быть п о н я т н ы м всякому»... Вслед за Гроссом и все художники немецкой «Красной Группы» находят, что рисовать надо понятно. Пожалуй, это желание быть понятными единственное общее формальное устремление реалистов. Но в том-то и беда, что под словом п о н я т н о все художники понимают разное. Это достаточно ясно выступает из сравнения работ хотя бы того же Кацмана с Гроссом.

Представление о понятности, действительно, довольно сложное.

Его можно отчасти вскрыть сравнением «Сеятеля» Милле с его перефразировкой у Ван-Гога. «Сеятель» Милле исполнен со всей точностью натурализма. Фигура крестьянина дышит благоговейной религиозностью, а простор неба раскрывается за ней, как бы благословляя. Ван-Гог, казалось бы, сохранил картину в неприкосновенности: та же поза, тот же пейзаж. Но он наполнил его неудовлетворенностью. Его небо лишено способности благо-

словлять. Это взбудораженное небо. «Сеятель» сжал зубы, он работает, негодуя. Сейчас его протянутая рука кажется более подготовленной для удара, чем для разбрасывания семян. Надо полагать, что, каждый из авторов хотел сделать понятным не просто портрет крестьянина, но ту идею, которую он в него вложил. И вот, для первой оказались возможными приемы полного натурализма, а для второй — неприемлемыми.

Как видно из предыдущего изложения, новый русский реализм в настоящей стадии своего развития не задается вопросами проведения определенной идеи, определенной общей мысли. Представление о понятности у него сливается поэтому с представлением о полном сходстве. При этом наблюдается следующее явление. Художники пытаются достигать это полное сходство при помощи того формального оружия, которое они принесли с собой, перейдя в стан реализма. Но это не всегда возможно. Так же, как в литературе одно и то же событие, изложенное торжественным гекзаметром или коротким ямбом, производит различный эффект, так же и в живописи различные формальные приемы значительно видоизменяют изображение. В результате художники ищут спасения в обстоятельной подробности передвижнического натурализма. Нельзя не заметить, что процент передвижнических работ беспрерывно возрастает. Можно смело сказать, что пока художники не подымут вопроса о проведении в своих работах определенного внутреннего замысла и будут ограничиваться простыми зарисовками, до тех пор в смысле формальном они будут катиться по инерции к передвижническому реализму.

Встречи.

Николай Никитин.

О милом нашем друге — надо говорить попросту. Очень немногое скажется сейчас, из вспомянутого не все скажешь, и ничего — зря, небрежно. Ужас его последней минуты был и страшен, и велик, и потому у свежего холма нельзя ни торопиться, ни истерически кричать. Смерть его, как тревожный сигнал в наших местах. Будем осторожны пока — и кратки.

Осенью 1923 года он вернулся из-за границы. Вот тогда впервые я встретился с ним — стройный, небольшого роста, элегантный юноша, с ярко-пудреным лицом — он вначале произвел на меня странное впечатление. Мы собрались в складе «Круга» на Леонтьевском — за дружеской беседой. Тут были все известные по Москве писатели. Многие тогда уже побывали за границей. И потому, может быть, разговоры вертелись на одну тему — о России и Западе. И когда спор разгорелся вкрутую — Есенин сидел тихим, чужим, улыбающимся незнакомцем — будто не понимал или не хотел понимать — о чем же тут, собственно, говорят. И уже гораздо позже — в один из приездов в Ленинград — он мне рассказал об этом.

Мы были на квартире Сах — ова, на Гагаринской. В передней валялся шапо-кляк и черное пальто пелериной. Есенин, оживившись, накинул пелерину, надел цилиндр и усмехнулся себе в зеркало.

— Видишь! Вот все, что я вывез оттуда. Идет это мне? Да? Нет? Ну, конечно, нет... Ну, а что мне надеть? Гречневый колпак?

И пожал острыми, худыми, выразительными, как язык, плечами.

Все еще помнят, как он держал себя в сборищах. Но он всегда чувствовал — как и где надо себя держать. Он хитрил. И по-настоящему раскрывался только вдвоем — и тогда начинались робкие и смешные мечты.

— А ведь у Пушкина-то в Полтаве 600 строк, а у меня в Гуляй-Поле 800... Я подсчитал.

Говорил и о том, как заживет...

Как-то после одной истории я сказал ему:

— Сережа! Оставим дебоши... Чего тебе? Чтобы издевались.... или какая-нибудь сволочь раскроит тебе череп бутылкой... Как ты не боишься?

Он улыбнулся мне белокурой улыбкой, мигнув по-рязански.

— Нет! Я зажмуриваю глаза, — ответил он.

Сборища, вино и пьяный гам — возбуждали его. Он натягивался, как резинка, становились длиннее руки, сжимались глаза, он выкрикивал несуразные слова, и темнело лицо от толпы дураков, спекулянтов и прихлебателей, лезших на него с кулаками. Точно укротитель, он держал в своих руках души, как зверей, и чувствовал, что вот сейчас он подымет ярость, зло, человеческую накипь, или наоборот — у всех опустятся кулаки, сядут на скамейку и заплачут.

Таких опасных нумеров было десятки. Но сейчас я хочу вспомнить об одном, наиболее, по моему, типическом.

Было это как раз после знаменитой «антисемитской» истории в московской пивной и не менее знаменитого суда. Литературная слава бежала впереди, беспрестанно подстегиваемая биографией и обывательским анекдотом об Есенине.

Ленинград. В зале городской думы был назначен вечер поэта Есенина. Огромная зала была полна. Он вышел бледный, пудреный, шатающийся. Лепетал несвязные слова о том, что когда в первый раз он приехал в Питер — ему очень хотелось носить штиблеты, и он отрезал голенища от своих сапог — и был очень горд...

Ему кричали: — Довольно о голенищах!

Он ругался. Переходил на другое. Бормотал об евреях.

— Вот говорят, что я не люблю евреев... Это те жиды, которые против Советской власти. А у меня все товарищи евреи... Вот они — имажинисты. Я, собственно, не имажинист...

Вздор был — и было очень неприятно. Зала начала кипеть. Стали кричать:

— Вон с эстрады! Пьяный хулиган! Деньги обратно!

Зала разделилась на два лагеря — за Есенина и против Есенина.

Тогда он крикнул:

— Я буду читать стихи.

Он читал — Кабацкую Москву. Тончайшая паутина свилась над залом, и в конце околдованный зал минуту молчал, как убитый. И мы помним — как его вынесли на руках.

Он владел даром Орфея.

Душа без удержу лопала жизнь — кусками, ненасытно. Если вино — так без меры. Если гулять — так с боем. Если жить — так, чтобы каждая собака знала. Если за границу, так не в Европу только, а и в Америку, да так, чтобы поднялись разговоры во всех столицах мира и в Нью-Йорке. Если нечего пить — так просто ходили по ночным улицам.

— Рано спать... Походим еще.

И в наивном, в забаве — все до предела.

Осенью 1924 года собрались мы в Рязанскую губернию, к нему в деревню — в Константиново.

— Там Ока! Купим в Москве много удочек. Таскать будем много рыбы.

Обстоятельства помешали мне поехать.

И вот потом рассказывал мне один его товарищ (Эрлих): — Приехали они. Есенин привез корзинку шампанского, константиновские мужички шампанского не пьют, вылили и купили самогону. Удочек привез целый транспорт — всех систем и всех фасонов. Еле тащил до реки. С особыми крючками, поплавками диковинными, со звонками. Расставили по всему берегу. И Сергей заснул у воды, на зеленой траве. И заснул крепко. И проснулся только тогда, когда пришла сестра Катя и разбудила. А на реке шел пасхальный звон. Звонила вся батарея удочек.

Он прекрасно понимал людей — эту человеческую породу. О чем у кого ноет душа, и что каждой породе нужно.

Год тому назад — поздним вечером мы отправились в Ермаковку. Каждый москвич знает, что такое Ермаковка. Это ночлежный приют в несколько этажей, где, кроме обыкновенных бездомников, собирается — шпана, — коты, воры, копеечные проститутки. Сначала мы пришли в женское отделение. Полуголые, грязные бабы, синие, желтые, грязные старухи, обдрипанная нищета, где кажется все замызгано, не только тело, но и душа. Как-то неловко было стоять здесь захожим, наблюдательным гостем. И я потянул Есенина за рукав.

— Подожди. Я хочу прочитать им стихи.

Он взгромоздился на нары. Стройный, красиво одетый и будто чужой всему.

Кто-то проснулся на нарах и впросоньи выругался.

— Артисты тут еще... вас нехватало!

А он прочитал «Письмо матери». Он верно нашел ту тему, всколыхнул детские чувства о доме и матери, о странном человеческом пути. Замолкшие женщины собрались около кружком, внимательно заглядывая ему в рот. Древняя старуха, стоявшая рядом, навзрыд рыдала. Это очень понравилось Сергею. А после мы узнали, что она была глуха. И потом долго мы рассказывали эту шутку, и Сергей веселился первый.

В мужском отделении он читал из «Москвы». Слушали хорошо, но искры нехватало.

— Ты знаешь почему... — сказал он по выходе.

— Цветочков нет. Он, скотина, нанюхался, а без цветочков не может. Это верно. Смертельно скушно жить без цветочков.

Приехали домой — он побежал в ванную. И, выскочив оттуда, крикнул мне:

— Обязательно промой нос. Там чорт знает чем могли заразиться. Там, понимаешь, сифилис на каждом вершке.

— Ну, а при чем здесь нос?

— Дышал же... Нет, обязательно промой. И Эрлих пусть промоет.

Странно многим думать, как он — бродяга, отмеченный той же «метой», боялся этого. А боялся он всю жизнь, до последнего предела. Он не смел коснуться и удирал, как Подколесин от невесты. Может быть, внутри была большая чистота и нежность, и брезгливость к мерзкому.

Ночь в квартире на Марсовом Поле — у Д.

Ранняя осень. Всю ночь он читал стихи, пел частушки. Мы возвращались по набережной. Небо лежало белое, сальное, плотное — как стеариновая свечка. Утренняя мертвая Нева. Картонная крепость и строгость зданий, едва озаренных.

— Смотри, как красиво. А у меня это никогда не выйдет.

Помолчал.

— Не ложится. Сюда приезжал начинать. К Блоку ходил, звонился. Аккуратный. Аккуратно со мной разговаривал. Гадость. А ведь здесь и умирать.

— Зачем умирать? Здесь ты отдохнешь. Мало друзей, много равнодушных. Это хорошо.

— Аа, верно! Хорошо. Москва навязла. Я вот здесь думаю поселиться окончательно.

Приезжал, подолгу жил и опять скрывался. Как птица. Ничего ведь не держало. Было лишь голое желание.

Он живал и у меня.

— Знаешь, вот ты ночью ходишь, а я с мамашей чай пил, часы с кукушкой, смотри доходишься...

Никакой кукушки, конечно, не было. Но он тосковал о какой-то внешней, формальной, приблизительной крепости жизни — о милых человеческих веревках.

Едем по Литейному, он мне показывает невдалеке от Симеоновской невысокий, темно-коричневый дом.

— Видишь! Вот в этом доме я жил, когда я первый раз женился. И у меня квартира была...

Или:

— И у меня были дети...

Это было прошлое, прожитое, несомненно оторванное, вспоминаемое с болью, но бестрепетно положенное на пороге. Так же, как на другом пороге он кинул свою душу.

Последний раз я видался с ним ровно за полтора месяца до смерти. Встреча, как всегда, началась стихами. Я не узнавал темного, мутного лица

Сережи, разрывались слова, падала и уносилась в сторону мысль, и по темному лицу бродила не белокурая, а подбитая улыбка. Он пробовал читать «Черного человека» и прекратил.

— Нет, ты любишь лирику. Погоди, я сейчас прочту.

Пошли другие стихи. Но чтение в этот вечер не заладилось и, почувствовав оборванность, он перестал читать. Я не мог его оставить так. Мы просидели с ним рядышком всю ночь до 10 утра в разговорах.

. . . .

Днем с друзьями и знакомыми я поделился о своей тревоге. Он внезапно уехал в Москву на следующий же день. Рассказали, что там лег в больницу. А несчастье уже лежало под ногами, как черная земля.

В эти три дня — с сочельника по третий день праздника — каждый день мне звонили разные лица и спрашивали — не у меня ли Сережа. Не знали, и я не знал — где его найти. Как будто все любившие чувствовали невнятную тревогу. Но было поздно.

Декабристы-поэты. Атеист А. П. Барятинский.

Иван Розанов.

Память потомства не всегда беспристрастна и часто одностороння. То, что поразило неожиданностью или было эффектнее, помнится лучше, чем явления, по существу более значительные. Так и с декабристами. У нас до сих пор они ассоциируются у большинства с «пассивным восстанием» на Сенатской площади, тогда как половина декабристов — «южане» и «соединенные славяне» — в этом восстании не участвовала. Из трех тайных обществ, об'единенных под названием «декабристы», «Северное», как известно, было по составу своему самым аристократическим и, соответственно этому, по своей политической программе самым умеренным.

Это отразилось и на приговорах Верховного Суда. В трех высших разрядах «северяне» составляют менее половины всех осужденных. Из пяти казненных двое «северян», трое «южан». В трех низших разрядах, т. е. наименее важных преступников, наоборот, почти исключительно «северяне».

Но события 14 декабря разыгрались в столице, при эффектной декорации (нарядная площадь, здание сената, памятник Петру); было много очевидцев, своими рассказами взволновавших весь город; у заговорщиков было много влиятельных родных и знакомых.

«Южане» и особенно соединенные славяне были, несомненно, гораздо более решительными революционерами. Их выступление, ликвидированное 3 января, отчего кто-то предложил называть их «январистами», далеко не было таким бескровным для членов общества, как в Петербурге 14 декабря, где много погибло солдат и простых зрителей, но никто из заговорщиков не был даже ранен. Здесь, наоборот, были раненые и убитые. Но южане и славяне действовали в провинции, менее нашумели и потому, кроме, может быть, казненных, остались как-то в тени. Только самое последнее время, вернее, в юбилейный год, началась переоценка ценностей, и стали останавливать на себе внимание и привлекать симпатии такие безвестные раньше, а теперь вырастающие в крупные фигуры, участники южного выступления, как Петр Борисов, Сухинов, не прекративший бунтовать и в Сибири, Кузмин, выбравший себе смерть, когда не удалась свобода.

До сих пор оставался в тени и член южного общества Александр Петрович Барятинский. Приходится удивляться, как это собиратели стихов

декабристов и исследователи их поэзии, обращавшие внимание даже на тех, кто написал всего одно—два стихотворения, совсем не заметили такого важного декабриста, как Барятинский, выпустивший отдельную книгу стихов, что можно сказать только о двух других декабристах: Рылееве и Кюхельбекере («Думы», «Войнаровский» первого, «Смерть Байрона» второго).

О Барятинском так мало помнили и так скоро его забыли, что декабрист Розен, знавший его лично в Сибири, в своих «Записках» перепутал его отчество и назвал «Иванович» вместо «Петрович». Ошибка эта была повторена исследователем декабризма Головачевым в его известной книге «86 портретов декабристов».

Первым указал на Барятинского, как на поэта, но мельком, Павлов-Сильванский в статье о «материалистах двадцатых годов». Там он подробно говорит о декабристах Крюковых, а Барятинскому уделяет несколько строк.

Несмотря на это указание, даже в только что вышедшем подробном библиографическом справочнике Селиванова Барятинский как поэт отсутствует. То, что Барятинский писал стихи по-французски — не меняет дела: стихотворное творчество Сергея Муравьева-Апостола ограничивается всего только одним французским стихотворением в шесть строк, да и то написанных случайно, на спор, и тем не менее во всех собраниях стихотворений декабристов он всегда фигурирует в качестве автора, равно как и в указателе Селиванова.

А между тем поэзия Барятинского представляет несомненный интерес, так же, как и его личность.

Считаем не лишним сообщить о нем некоторые биографические сведения, которых сохранилось сравнительно немного.

Родился он в 1798 г., т.-е. был почти ровесником Пушкина. Учился в петербургском иезуитском пансионе. Если бы осуществилось первоначальное намерение родителей Пушкина — отдать своего сына в этот пансион, великий поэт школьным товарищем имел бы не Кюхельбекера, а Барятинского.

Пушкин в детстве по-французски говорил лучше, чем на родном своем языке (лицейское прозвище «француз»), Барятинский таковым остался на всю жизнь. Он и в Сибири, в ссылке, писал почти исключительно по-французски.

После пансиона Барятинский слушал в Педагогическом институте лекции по физике и политической экономии. Некоторое время, как и Пушкин, служил или, может быть, только числился по министерству иностранных дел. Потом поступил в гусары. Был ад'ютантом главнокомандующего 2-ю армиею графа Витгенштейна. Здесь он сблизился с Пестелем и вместе с Юшневским стал его ближайшим приятелем и сподвижником. Красавец собой, со связями и хорошо начатой карьерой, Барятинский мог производить впечатление человека, пользующегося всеми благами жизни. Он ухаживал за дамами, писал им блестящие мадригалы и, как человек высшего света, конечно, только по-французски.

Таков, например, один из его экспромтов, адресованный княгине Трубецкой, урожденной графине Витгенштейн, дочери главнокомандующего. Отметим, кстати, что Витгенштейн тогда в глазах многих окружен был ореолом победителя.

В первом появившемся в печати стихотворении Пушкина было такое сопоставление: «хорошие стихи не так легко писать, как Витгенштейну французов побеждать».

Вот этот экспромт Барятинского в переводе:

> «Что написать мне вам? Я вижу ваши достоинства, не вижу недостатков. Конечно, великое преимущество быть дочерью героя. Его подвиги давно уже заполнили нашу историю. Вы обязаны ему жизнью, а все мы — нашей славой. Но чтобы хвалить вашу красоту и добродетель, нужно ли вспоминать об его подвигах! Пускай никакие валы и стены не могли остановить его победоносных шагов, но все же он меньше одержал побед над врагами, чем вы над сердцами».

Повидимому, сердечные увлечения играли большую роль в жизни Барятинского. По крайней мере в книжке его французских стихов, под заглавием «Часы досуга в Тульчине», отпечатанной в Москве, на Кисловке, в одной из лучших типографий того времени — у Августа Семена, половина стихотворений — мадригалы и послания женщинам.

Но много внимания, как и во всех стихотворных сборниках того времени, уделено и дружбе. Повидимому, он был дружен с блестящим кавалергардом Ивашевым, так же, как и он, ад'ютантом Витгенштейна. Из послания к нему Барятинского мы узнаем, что Ивашев тоже писал стихи. Барятинский указывает на его переводы из Лафонтена. Кроме того, Ивашев был прекрасным пианистом-импровизатором.

Очень изобразительно описывает Барятинский игру на рояли, как под искусными пальцами наклоняются клавиши и, отозвавшись на призыв, снова выпрямляются. Автор упрекает своего друга, что тот изменил музам: не пишет стихов и не импровизирует на рояли:

> «Твое вдохновение спит, и молчит рояль. Увы! На глазах у тебя томится твое перо в чернильнице, полной чернил. Рядом с ним на столе разложены в порядке, одна на другой, стопки чистой бумаги. Голова твоя свесилась на руку. Взор прикован к раскрытой книге. Пальцы же другой руки, протянутой праздно и лениво, машинально подпрыгивают, как будто играют чудесную прелюдию, отбивая безмолвный такт на полированной поверхности глухо-неподвижного стола».

Но, конечно, в Тульчине, при главной квартире, где был один из важнейших пунктов тайного общества, два ад'ютанта встречались не только для занятий поэзией и музыкой. Оба они были довольно деятельными членами «Южного общества».

Но в стихах, предназначенных для печати, об этом не могло быть речи. Конспирация, вероятно, удерживала от высказывания в стихах своих свободолюбивых взглядов.

Свою поэму о Начезах Барятинский посвящает другу Пестелю, и в этом посвящении мы видим преклонение перед своим другом, но без всякого указания на характер бесед.

Барятинский вообще был хорошим конспиратором. На допросах в следственной комиссии он поразил обдуманною осторожностью своих ответов. Когда его спросили о роли и деятельности Пестеля в обществе, он ответил осторожно: «Без сомнения, Пестель всех более был уважаем насчет ума и познаний политических».

Вот стихи, обращенные Барятинским к Пестелю:

> «Вот уже четыре месяца — страшно подумать — как мы разлучены с тобою, мой первый друг! Ты не забыл, конечно, тихих вечеров, когда, изливаясь друг перед другом, мы находили в дружбе столько неизведанного счастья. В те тихие вечера, желая отдохнуть от трудов твоих многообразных или устав погружаться в какую-нибудь из твоих великих дум, ты часто рукою своею ласкал мою музу. И вот я набросал для тебя рассказ о страданиях двух Начезов. Будь снисходителен к ним, а тем более к моим стихам!»

Членом Южного общества стал Барятинский с самого его возникновения в 1821 году. При совещании в Тульчине после того, как было об'явлено об уничтожении Союза благоденствия, он горячо примкнул к сторонникам решительных революционных способов действия, стоял за упразднение и истребление тех лиц, которые представляют к тому препятствия.

Пестель считал его своей правой рукой. В беседе с Поджио Пестель раз разговорился о числе лиц царствующего дома, подлежащих истреблению. Так же должно будет, — добавил Пестель, — покуситься на особ царской фамилии, в иностранных краях находящихся, — и вслед за тем сказал своему собеседнику: «Я препоручил уже Барятинскому приготовить мне двенадцать человек решительных для сего».

В 1823 г. при от'езде в Петербург, Барятинский имел поручение от Пестеля подстрекнуть членов Северного общества к более активной деятельности. В это-то время, вероятно, при проезде через Москву, он позаботился об издании книги своих стихов.

Революционного в ней, как мы видели, ничего нет. То, что там было упоминание о «великих думах» Пестеля, вряд ли тогда могло быть оценено надлежащим образом. Цензуре был тогда Пестель именем, ничего не говорившим. Скорей можно было придраться к книжке с религиозной точки зрения. В одном стихотворении говорилось о «небесных тиранах», о неумолимости, несправедливости и жестокости богов, но так как речь шла о греческих богах, то никакого «оскорбления религии» цензура тут не увидала. А между тем, это были отдаленные отголоски религиозного вольнодумства нашего поэта.

В этом отношении, как и во всех других, Южное общество было гораздо решительнее Северного. Еще до катастрофы 14 декабря большинство северян были людьми религиозными; арест и ссылка эту религиозность еще усилили. Исключений, как, например, Якушкин, Анненков, Репин, было немного. Наоборот, у южан и соединенных славян был целый ряд убежденных материалистов и атеистов, считавших нужным и пропагандировать свои взгляды. Таковы были Крюков 2-й и глава соединенных славян Петр Борисов. Последний, человек скромный и сдержанный, но твердый, старался и в Сибири, в ссылке, всем своим поведением показать, что можно быть высоко нравственным, оставаясь атеистом.

Самым убежденным материалистом был князь Барятинский. Это выражалось и в его стихах, конечно, не предназначавшихся для печати. До нас дошло одно только такое его стихотворение, но зато очень сильное и выразительное, дающее право назвать Барятинского Иваном Карамазовым 20-х годов. Стихотворение это отыскалось в Государственном архиве. Черновик со многими помарками. Очевидно, автор заботился о наибольшей выразительности. Написано на бумаге с водяным знаком 1824 год, т.-е. после выхода «Часов досуга в Тульчине».

Вот перевод этих стихов:

> «Восседающий на молниях, исполненный гнева бог вдыхает испарения дымящейся повсюду крови.
>
> Да, у всех народов, во все времена, всегда лилась кровь во имя твое, страшное всем.
>
> Ты дал им это всеобщее стремление: ты сам пил без конца, беспощадно кровь жертв.
>
> Когда темная ночь распространяет свои широкие завесы, читаю я твое величие на челе звезд.
>
> Но крик птички, попавшей в острые когти кошки, внезапно отталкивает от тебя мое упавшее сердце.
>
> Вопреки всему величию твоего творения, жестокость инстинкта кошки, отрицая благость твою, отрицает твое существование...
>
> Разобьем же алтарь, которого он не заслужил. Он благ, но не всемогущ, или всемогущ, но не благ.
>
> Для собственной славы бога, если бы он даже существовал, надо было бы его отвергнуть».

Бытие кошки, отрицающее бытие бога — этой мысли нельзя отказать в выразительности. В последней строфе Барятинский своеобразно переиначивает известный афоризм Вольтера. Тот сказал: «Если бы даже бог не существовал, его следовало бы выдумать», а Барятинский наоборот: «Если бы даже бог существовал, его надо было бы отвергнуть».

Когда пришло известие о смерти Александра I, Барятинский был провозглашен членами Южного Общества начальником Тульчинской Управы. Деятельность его проявлялась в принятии новых членов и в пропаганде. Мож-

но указать шесть лиц, принятых им в общество. Лучших, т.-е. наиболее сознательных солдат, он собирал в свою квартиру и вел с ними беседы.

Мы уже отмечали его пристрастие к французскому языку. Вероятно, он считал его международным. Этим, может быть, следует об'яснить, что он начал переводить на французский язык «Русскую правду» Пестеля, как раньше переводил на французский с латинского оды Горация, с русского трагедии Озерова.

Способности Барятинского не ограничивались областью словесности. В кругу товарищей он славился, кроме того, как отличный математик. Он много читал по философии и математике.

Он не успел принять участия во внезапно вспыхнувшем восстании Черниговского полка. После ареста он некоторое время сидел в Тираспольской крепости, а потом перевезен был в Петербург.

Отнесенный к первой категории и присужденный первоначально к отсечению головы, он потом, по смягчении приговора, осужден был на двадцать лет каторги и потом к вечному поселению.

Преступления его верховный суд выразил так: «умышлял на цареубийство с назначением лица к совершению оного; участвовал в управлении тайного общества и старался распространять оное принятием членов и поручений; и знал о приготовлении к мятежу».

После предварительного заключения в Кексгольме, в крепости, Барятинский отправлен был в Читу. Каторга и ссылка были для него особенно тяжелы. Во-первых, сказались последствия тяжелой болезни, приобретенной им еще в России: у него опасно болело горло. Во-вторых, родные, кроме сестры, когда его служебная карьера, столь блестяще начатая, так внезапно и трагически оборвалась, отреклись от него, чтобы не компрометировать себя в глазах правительства. В то время, как некоторые другие декабристы получали существенную денежную помощь из России, Барятинскому пришлось страшно нуждаться. К тому же самый характер болезни побуждал его все больше замыкаться в себе. В-третьих, он не сходился с большинством декабристов и по взглядам. Большинство декабристов, даже из числа прежних материалистов, как, например, один из ближайших прежде по миросозерцанию к Барятинскому, Крюков 2-й, в Сибири предалось религиозности, а Бобрищев-Пушкин образовал даже целую религиозную «конгрегацию». Лунин, как известно, ревностно исполнял католические обряды. Бобрищев-Пушкин написал трактат о происхождении человеческого языка, где стоял на чисто спиритуалистической точке зрения. Барятинский, оставшийся и в Сибири верным своим прежним материалистическим убеждениям, вступил в полемику с Бобрищевым-Пушкиным и написал на ту же тему на французском языке, так как знал его лучше русского, свой трактат. Можно предполагать, что та отчужденность и отрешенность, которую испытывал он в Сибири, особенно в Тобольске, куда он был отправлен на поселение в 1839 году, об'ясняется расхождением с другими декабристами по религиозным вопросам. Единственным другом Барятинский мог считать своего верного пса, никогда с ним не разлучавшегося.

«Кратковременное пребывание Барятинского в Тобольске, — говорит Головачев, — было сплошным физическим страданием. Здоровье его было подорвано еще в России вследствие особенностей его личного поведения. В Сибири он приобрел новые недуги, требовавшие продолжительного лечения и лишних расходов. Между тем он получал от сестры всего пятьсот рублей ассигнациями в год. Летом 1844 года болезнь его усилилась, он потерял голос, а так как не имел средств не только на лечение, но и на содержание, то принужден был поступить в тобольскую больницу общественного призрения». Вскоре после этого Барятинский и умер. Имущество, оставшееся после него, оценено было в одиннадцать рублей три копейки. У него была одна только рубашка. Его деревянная, некрашеная кровать стоила 15 копеек. Единственным богатством его были девять книг, сочинения по математике на русском и на французском языке, и грамматики и словари греческого языка.

Другое лицо сохранило сведение о том, в какой неприглядной и грязной обстановке умирал когда-то блестящий ад'ютант и дамский кавалер. За ним ходила какая-то простая, вряд ли грамотная женщина, с которою он был в связи и имел дочь. Последний год он, видимо, опустился и много пил. Когда был трезв, занимался странным делом: переводил для чего-то на французский язык акафисты богородице. Было ли это уступкой религии, или нет, неизвестно.

Когда его похоронили, верный пес трое суток выл и старался лапами разрыть его могилу, и потом на этом же месте издох.

И личность, и судьба Барятинского заслуживает того, чтобы ему уделено было должное внимание. Как мыслитель и автор, умевший выражаться образно, изящно и оригинально, он заслуживает того, чтобы ему отвести заметное место среди давно признанных поэтов-декабристов.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Пантелеймон Романов. Рассказы. Изд. «Московский Рабочий». Стр. 132. 1925 год.

Кроме попутчиков, у революции имеются еще и свидетели.

Они не выказывают ни симпатий, ни антипатий; они повсюду поспевают со своим фото-аппаратом и фиксируют все— от основного фона и до мельчайшей морщинки на лице.

Таков и Пантелеймон Романов.

Он точно передает все, что видел, не делая из этого никаких выводов, не синтезируя индивидуальных явлений и не анализируя явлений групповых. Оттого в его рассказах, при всей их художественной цельности, отсутствует сюжетная целеустремленность, оттого в них нет тенденции, и оттого в поле его зрения попал не тот или иной класс или борьба их, а деклассированная масса, мятущаяся по теплушкам еще не отстоявшейся России, либо по бывшим помещичьим имениям.

Пантелеймон Романов, несомненно, имеет свое наличное место в современной литературе, и, если найдутся охотники сравнивать его с тем или иным автором дореволюционной России, — эта их попытка будет совершенно бесплодна: Романов оригинален, хотя бы потому, что он — художник обстановки, и ни быта, ни внутренних коллизий, ни шутки ради шут и у него нет. И «обстановку» дает он не тщательным выписыванием мелочей, и двумя-тремя существенными штрихами.

Все остальное, даже люди, у Романова как привходящий элемент, и потому его мешочник завтра может стать у станка, его красноармеец завтра может сделаться мешочником.

Его нельзя сравнивать с другими авторами также и потому, что все его художественное творчество органически лежит в плоскости послереволюционных дней, рождено и вскормлено «побочными моментами» революции.

На этих «побочных моментах» построена и его книга «Рассказы».

Главный персонаж всех его зарисовок— всероссийский обыватель: деревенский ли, мещанин ли, но во всех моментах маленькой, суетливой жизни. Метко схваченный, он проходит через все рассказы: на крыше ли вагона, у постели ль умирающего, в борьбе за комнату и за свое комнатное существование.

Жадный, примитивно-трусливый, насмешливый, а подчас и добродушный — вот он на улице среди лабиринта учреждений, вот он в бане в погоне за осьмушкой мыла, или у себя за столом в муках заполнения анкет, — он самое действенное лицо, запутавшееся в обстановке.

И оттого, несмотря на внешнее добродушие рассказов, на незлобивый, в сущности, смех художника, остается впечатление словно от какой-то слякоти, точно художник приподнял застоявшуюся в сыром месте бочку, и из-под днища полезли, разбежались во все стороны мокрицы.

Обыватель Романова везде один и тот же, но его освещение меняется в зависимости от обстановки.

В деревне, например, он не так омерзителен, ибо незлобив, прост, примитивен (Три Кита, Рябая корова, Святая женщина, Рыболовы, Восемь пудов, Глас народа, Домовой, Хорошие места).

Не омерзение, а искреннейшее сочувствие вызывает к себе председатель сельсовета, обегающий все избы с самогонным приказом:

— Гаси, дьяволы, топку! Объявляю все заводы закрытыми...

... Агитатор по борьбе приехал. Держи ухо востро. Прячь.

Даже хитрый лавочник не так отталкивает от себя, как его прототип в городе.

На крыше вагона и на станции этот обыватель, пожалуй, и вовсе симпатичен, если не принимать в счет его жадного цепляния за свой мешок, свою крынку молока (Гайка, Бессознательное стадо и др.).

Наиболее хитер, изворотлив, наподобие мелкого зверка, пронырлив и антипатичен этот обыватель в городской обстановке.

Здесь кажется он таким еще и потому, что наивысшего героического размаха достигла революция среди каменных стен города, и потому на фоне этого размаха тем выпуклее мелкотравчатая дрожь обывателя за свою шкурку.

Оберегая свою квартирку от ордера, он поливает лестницу водой, чтоб она обледенела, и никакая комиссия не добралась бы к его норе; он рубит паркет в своей комнате (В темноте); накопляя, натаскивая в свою нору «про запас», он со злобой и завистью говорит о том, что все награбленное у генерала досталось «хамам» (Соболий воротник). И его, конечно, не великая разруха печалует— нет, он далек от этого: его грызет сознание, что «такого случая век жди — не дождешься» — и вдруг пятитысячный соболий воротник попадает не ему, Ивану Платонычу, а кому-то другому.

В этой книге многое, и даже большинство, в прошлом. Его уже нет; за год-два прошла целая эпоха, и опять же обстановка переменилась.

Но все же рассказы Романова не потеряли и еще долго не потеряют своей свежести, яркости и, главное, ценности, как материал, как показатель того, какой «человечек» хранится в человеке, отошедшем в сторону от великого действа.

Рассказ «Русская душа» несколько выбивается из общей манеры письма Романова. Здесь уже намек на разрешение большого и больного вопроса о русской косности, здесь целеустремленность сюжета. Небольшой по размерам мазок, но сильный по краскам, оставляет хорошее впечатление.

Из мелких недостатков чисто технического свойства следует указать на 2—3 небрежных расстановки слов:

(Стр. 34) ...неопределенно отвечал малый в картузе, к которому (?) он (?) обратился...

(Стр. 36) ...передразнил рабочий, уезжая на подножке, толстого кондуктора...

(Стр. 48) ...вещей пропасть да собак двух еще Андрея Степаныча угораздило привезти...

Кой-где попадается утрировка (Рябая корова, Спекулянты), но, конечно, в меру.

В рассказах о деревне часто фигурируют беднейшие, не как определенные лица, а как формула. Впрочем, это едва заметно, так как центр тяжести не в них, а опять же в обстановке.

Виктор Якерин.

Юрий Тынянов. Кюхля. Повесть о декабристе. 295 стр. Изд. «Кубуч». Л. 1925.

Появление данной повести должно быть, конечно, отмечено как приятное событие в области нашей исторической беллетристики, столь бедной хорошими произведениями. «Кюхля» читается с неослабевающим интересом, и уже это одно обеспечивает за повестью право на повторные издания.

Но этого еще мало. Перед автором, берущимся за исторический роман или повесть, возникает ряд трудностей, которых не знает обычный беллетрист.

Можно, в погоне за внешней занимательностью, присочинить такой сюжет, такую интригу, любовную или какую иную, которые никак не будут вязаться с данной исторической обстановкой.

Можно, стараясь приладиться к интересам своих современников, навязать людям прошлого такие поступки, речи и размышления, которые не свойственны были их времени. Можно просто недостаточно разграничивать разные минувшие эпохи.

Как классический пример особенно вопиющих анахронизмов приведем известный роман Мережковского, тоже из жизни декабристов: «14 декабря». Там одна героиня в 1825 году цитирует любимые «стишки» своего покойного папеньки, сподвижника Суворова, но читатель, не совсем равнодушный к родной поэзии, находит в этих стихах что-то знакомое и затем припоминает, что это ведь стихотворение Боратынского, написанное через пять лет после декабрьского восстания. Еще разительнее, когда декабрист Каховский цитирует, слегка искажая, известные строки Бальмонта: «Мир должен быть оправдан весь, чтоб можно было жить».

Противоположная крайность, когда автор, не доверяя своей художественной интуиции, психологической проницательности, заставляет исторических лиц говорить только те фразы, которые они действительно произносили, только то, что документально засвидетельствовано в различных письмах и мемуарах. Тут другая опасность. Таких документально подтвержденных фраз не так уж много, а опускать их жалко, и вот автор заставляет своего героя все изречения, сказанные им в течение всей жизни и при совершенно различных обстоятельствах, выпаливать под-ряд, часто в один какой-нибудь вечер.

Наконец, самая большая опасность: удовлетворив рядовых читателей занимательностью изложения, исторический беллетрист почти беззащитен и беспомощен перед любым знатоком данной исторической эпохи. Знакомый с теми же самыми источниками, какими пользовался автор, этот подготовленный читатель не может не замечать закулисной стороны и всей скрытой механики: он все время видит, как это сделано и откуда что взято. Всякая иллюзия исчезает, а если к тому же такой читатель замечает ряд промахов, он совсем отвернется от автора.

Является вопрос, как Юрий Тынянов боролся со всеми этими трудностями и что в результате получилось. Повторяем, ведь одной внешней занимательности мало: и Вербицкая казалась кому-то занимательной и читалась когда-то на расхват.

Но Юрий Тынянов выдерживает и это испытание. Можно удивляться, с каким искусством старается он избежать подводных камней и мелей. Начнем по порядку. Прежде всего трудная задача крепкой спайки, плотной прилаженности исторической «правды» с «выдумкой» беллетриста. У самого Пушкина в «Капитанской дочке» здесь не все ладно, и критика была права, когда, восхищаясь и исторической стороной и чисто беллетристической — каждой в отдельности,— находила некоторую невязкость в согласовании этих двух сторон.

Из этого затруднения Юрий Тынянов выходит благополучно, потому что отказывается от придуманной интриги, не вводит в центр повествования придуманных лиц. Весь его вымысел ограничивается подробностями, мелочами, описанием наружности выводимых лиц, часто, кроме своих имен, ничего для потомства не сохранивших, изображением обстановки, где происходил тот или другой документально доказанный исторический факт, наконец, некоторыми разговорами исторических лиц и, конечно, их тайными размышлениями и даже снами.

Так как все внимание обращено на главного героя «Кюхлю», т.-е. Вильгельма Кюхельбекера, известного декабриста, поэта и лицейского товарища Пушкина, а все остальные лица без исключения выводятся только эпизодически, то повесть приобретает уклон в сторону художественной биографии, никогда, впрочем, в нее не переходя. Последнему мешает постоянное угадывание автором тайных размышлений своего героя в тех или иных случаях. Ни один биограф не решился бы, конечно, рассказывать читателям, о чем, например, думал Кюхельбекер умирая. Так же успешно избегает Тынянов и другой опасности: анахронизмов. Он слишком хорошо изучил эту эпоху, и у него вовсе нет желания делать исторических лиц проводниками каких-либо личных авторских взглядов.

«Исторические фразы», документально подтверждаемые мемуарами, автор «Кюхли» ~~так же~~ употребляет с тактом и осторожностью.

Наконец, и против последней опасности — встречи с хорошо подготовленным

читателем, — Юрий Тынянов принимает свои меры. Необходимо указать прежде всего на необычайно удачный выбор темы. Хорошо, что взято героем малоизвестное лицо и притом с такой выгодной для беллетриста своеобразной фигурой и плачевной судьбой, а Пушкин и Грибоедов являются только эпизодически. Много ли найдется читателей, хорошо знакомых с биографией Кюхельбекера и имеющих возможность проверять автора?!

Этим Тынянов сильно сократил число лиц, неспособных поддаться иллюзии при чтении его повести. Но и для этих немногих автор «Кюхли» приготовил сюрприз: он пользовался не только всем доступными печатными источниками, но и архивными материалами, им разысканными. Тут он вырывает почву из-под ног тех критиков, которые стали бы упрекать его в искажении известных ранее печатных данных: кто их знает, что там в архивах!

Таким образом Юрий Тынянов выходит победителем из указанных выше затруднений.

Но это еще не значит, что вновь появившаяся повесть совершенно свободна от каких-нибудь художественных или исторических промахов.

Возникает ряд вопросов и недоумений. Почему, например, приводя письмо Грибоедова к сестре Кюхельбекера, автор ни словом не оговаривается, что написано оно было по-французски? Это было бы важно для колорита эпохи: даже такой завзятый руссофил, как Грибоедов, считал необходимым даме писать по-французски. Тынянов приводит это письмо в позднейшем чужом переводе. Лучше было бы автору перевести самому, стараясь сохранить эпистолярный стиль 20 г.

Почему почти совсем не упоминает автор об одном физическом недостатке Кюхельбекера? Герой его был глух на одно ухо, и уже в лицее это ставили в связь с некоторыми особенностями его характера и поведения.

Далее, в повести Кюхельбекер умирает зрячим. Перед смертью он «осмотрелся кругом. Окно было медное от заката. Он посмотрел на свою руку» и т. д.

Но известно, что за год до смерти Кюхельбекер начал «совершенно слепнуть». Автор может ответить: я пишу повесть, а не биографию. Но его повесть могла бы включать в себя и художественную биографию и заменять ее. А так получается, что и после книги Тынянова Кюхельбекер должен еще ждать своего биографа. И там, в биографии, облик его будет несколько иной, чем в повести.

Отметим также некоторую несоразмерность частей. Автор подробно рассказывает о жизни своего героя на свободе. И вы все время видите перед собой совершенно неприспособленного к жизни благородного чудака, пламенного поэта и политического вольнодумца.

Этому посвящено 260 страниц, а следующим 20 годам его жизни, скитаниям по крепостям, его мытарствам в Сибири, хотя эти годы не менее интересны и материалов о них более чем достаточно,— всего только 35 страниц.

Кроме того, автор в этих главах почти совсем забывает, что перед ним поэт, и при том поэт, именно в крепости развернувший свое дарование, и видит в нем только несчастного узника и несчастного ссыльного. Для эмоционального воздействия на читателей и особенно на читательниц, это прием, конечно, очень действительный, но не слишком ли автор упрощает в этих заключительных главах свою задачу художника? Духовная жизнь героя здесь почти совсем не показана.

Вероятно, первоначально повесть задумана была шире, а заканчивалась спешно, уже при других условиях.

Все эти отдельные промахи не мешают признать повесть Тынянова очень удавшейся. Некоторые же места повести, например, сравнение Москвы с Петербургом и изображение революционных выступлений в северной столице в виде «борьбы площадей» — прямо превосходны, и мы должны поздравить читателя с новой хорошей книгой.

Иван Розанов.

Александр Малышкин. Падение Даира. Рассказы. Изд. «Круг». Стр. 150.

Редко случается, чтоб книга до такой степени была проникнута одним настрое-

нием, как рецензируемый сборник рассказов А. Малышкина. Перед нами словно одна большая поэма о гражданской войне; отдельные рассказы — ее главы. Автор рассказывает о днях борьбы, о фронтах, Перекопе и теплушках не как сторонний наблюдатель, а как участник, как солдат революции — и потому в его голосе то дрожание живой страсти, тот пафос, который воссоздать не в состоянии самое изощренное мастерство. Пафос Малышкина романтически окрашен. Эта романтика гражданской войны особенно явственно выступает в рассказе «Поезд на юг». Автору как будто жаль, что минули дни напряженной борьбы, жаль, что слиняли Яковлевы, превратившись в послушных, виновато - услужливых мужей и отцов семейств, жаль, что Григории Ивановичи неуклюже стеснительны и «не те» в мирной обстановке и что «в канавах, за околицей, куда сбегают из древних лет колья со ржавой колючей проволокой, густо пошел лопух, гусятник, крапива — паутинная темь в канавах от травы и квохчут куры; заросло, затучнело, сытью завалилось и глухотой».

Первый рассказ книги — «Падение Даира» — наиболее известен и в своем роде образцов. Автору удалось справиться с труднейшей задачей: дать бессюжетное и лишенное героя произведение. Несмотря на свою бессюжетность, «Падение Даира» представляет нечто художественно-целое, законченное; это — род лирико-эпической, героической поэмы.

Стиль Малышкина развивался, видимо, под сильным влиянием Андрея Белого. Об этом говорят такие описания: «И за портьерой открылось: в звонах и светах, замкнутых сияющими плафонами пространств, вселенная блестящего: проборы, орхидеи, белые снега грудей, бриллианты, голое плечо, летящие в блаженную беспечность выдыхи сигар, смех и говор беспечных. В берегах огней и цветов пьянели залы, опеваемые смычками». Отсюда, от общности литературных влияний, сходство с Пильняком. Впрочем, может быть здесь сказалось и прямое влияние последнего. Но оно ограничивается только формой. Тематически и идеологически — это два разных, несхожих писателя.

А. Лежнев.

«Свиток» № 4. Изд. «Никитинские субботники». М. 1926 г. 364 стр.

Есть писатели Тверских и Невских. Они делают в литературе погоду, создают школы, выступают на диспутах. Их шумно хвалят и шумно ругают. В лицо их знают люди и мало причастные к искусству. Имеются писатели и другого типа. Писатели «арбатских переулков», которые незаметно и плодотворно работают. О них мало критических статей, их не интервьюируют по половому вопросу и другим «насущным» проблемам. У них нет с е з о н н о г о и м о д н о г о цветения. В прошлом—ярким примером п е р е у л о ч н о г о писателя—Лесков. В хороводе «типов» русской литературы нет ни его героев, ни героинь. В наши дни одним из самых т и х и х, п е р е у л о ч н ы х писателей является Александр Яковлев. Художник чуткий и вдумчивый. — В «Человек и пустыня» Яковлев живописует тот же купеческий мир, что и в горьковском романе «Дело Артамоновых», с избыточной его энергией, разворачивающей вширь и вглубь свою творческую сметку.

«А дед такой торжественный, — говорит и серебряную аршинную бороду поглаживает.

— Ни прохода, ни проезда не было по Волге тогда. Чуть кто, змей вскинется и проглотит сразу. Не только человеку, аль птице, — рыбе не было проходу. Вот в этих местах вся Волга пустой стала, века целые пустой лежала. Ну, потом пробил час: пришел богатырь русский и отрубил змею голову, а самого змея в куски иссек. Голова-то, ишь, куда отскочила. А тулово — вон оно, зачинается возле нашего сада.

И дед клюкой в белую гору, что как раз за забором сада.

Витьке хоть задохнуться впору:

— А потом, дедушка?

— Ну, что ж потом? Вот голова закаменела, и тулово закаменело, — горами стали. Змеевы горы теперь прозываются. И некому защищать пустыню, — пришел человек с полуночной стороны, дороги провел, хуторов настроил, села да деревни пошли,—любо-дорого смотреть. И почти все, брат, на моей памяти. Завоевали матушку-пустыню мы.

— И ты воевал?

— А как же? И я воевал. Победили, разделили. Вот теперь отец твой воюет, а придет время, — ты воевать будешь...».

Клокочет сила в этом купеческом гнезде. Старик Андронов, чуя приближение смерти, торопится в последний раз окинуть хозяйским глазом свои владения и палкой тычет во все углы. Не от скупости, не от жадности. Скоро ничего ему не понадобится кроме могильного погоста. Но и последний вздох — пар творческой машины.

Роман описателен, без резких переходов от одного эпизода к другому. Сюжетно он мало волнует, напоминая этим семейную хронику Аксакова. Но в каждой его отдельной части — живость красок, убедительность социально-бытовых черт и положений. В частности, очень хороши моменты принудительного втягивания бабушкой в старообрядческую молитву молодого Вити, сцена на гимназическом балу, когда в юноше просыпается мужчина, эпизод на реке, когда Витя пытается кончить самоубийством и потом, раздумав, страстно цепляясь за жизнь, ползком лезет по льдинам из воды на берег.

«Хороший рассказ» Неверова ничего не прибавляет к тому, что мы знаем об этом писателе. Если он чем-нибудь и замечателен, то, пожалуй, тем, что он свидетельствует об упорной учебе Неверова в последние годы его жизни и о попытке преодоления наивной композиции первых его вещей: в «Андроне Непутевом» — удачная стилистическая вылазка, в «Хорошем рассказе» — композиционная.

Слаб стихотворный отдел. И здесь, к сожалению, пальма первенства принадлежит тов. Луначарскому. Его собственный «Концерт» оказался значительно слабее его выступлений на чужих концертах. Автор здесь во власти немощного словесного кружева, отдающего декадансом образа и ритма. По замыслу поэма, быть может, не плоха, но выполнение..:

И нет конца...
И нет конца и краю...
Пространствам нет конца и краю.
Лети, лети, лети.
Лети с предельной быстротою света.
И вечности тебе не хватит,
Чтоб облететь хоть часть пространства.
Конечное — не часть
Для бесконечности.
Нет у нее
Ни половины, ни миллионной части.
Все части бесконечности — она же
бесконечность.
Бесконечность.

Я думаю, что после этой цитаты меня не обвинят в голословности.

Исключение надо сделать для очень хорошего перевода с древне-греческого Вересаева «К Аполлону Пифийскому». В отделе критики поражает бестактностью и брюзжанием статья П. П. Перцова «Русская поэзия тридцать лет назад». Речь по существу сводится к изданному когда-то Перцовым сборнику «Современная поэзия», и автор обрушивается с «молодым» задором на Михайловского, Вейнберга и др., которые «не дооценили» «подвига» составителя. Каков состав имен, в целом, вошедших в сборник, явствует из письма Брюсова к Перцову:

«... Как все это бледно и бесценно (бесценно с точки зрения искусства)».

Почему же, спрашивается, не могли быть этого же мнения о сборнике и критики того времени?!

Для Перцова Михайловский — «острый ум» в кавычках, Петр Вейнберг — «литературный Фамусов», Скабичевский — «авторитетнейший готтентот».

Насчет последнего определения мы не спорим. Могли быть и были большие ошибки и у Михайловского и у Вейнберга. Но если в истории отказаться от ретроспективной терпимости, слишком много дураков наберется. Сомневаемся, чтобы такая «переоценка ценностей» была в интересах автора.

Цветист и «ложно-классичен» в трех своих работах Л. Гроссман [«Последний отдых Брюсова», «Анна Ахматова», и «Поэма о двойнике» (Липскерова)].

Не говоря о первой «воспоминательной» статье, анализ поэзии Ахматовой импрессионистичен не в лучшем смысле этого слова. Этой статье одинаково чужд и социологический и формальный метод. В интуитивно же читательской оценке поэтессы Гроссман далеко отстает от

мастера этого жанра Корнея Чуковского. Замечания случайны и не типичны для Ахматовой. Много верного в статье Е. Ф. Никитиной «Русь у Романова», интересны статьи Воровского о Чирикове с примечаниями Н. К. Пиксанова и И. Н. Розанова «Запоздалая слава» (о Тютчеве). Не лишне вспомнить, что в числе недооценивших великого поэта был и сам Пушкин, что возрождение имени Тютчева начинается в годы Некрасова, когда «чистая поэзия» меньше всего, казалось бы, должна была быть почитаема. Здесь есть над чем призадуматься «упростителям» истории литературы. Не лишена интереса статья С. В. Шувалова «Рылеев и Байрон».

Замыкается сборник отчетом о собраниях «Никитинских субботников», свидетельствующим, что через эти собрания проходят значительные явления современной литературы.

Федор Жиц.

М. Алексеев. Большевики. Стр. 197. Изд. «Прибой». 1925.

Сомневаюсь, была ли эта книга отмечена в печати, но то, что ее безусловно следует отметить и порекомендовать самым широким образом — в этом я не сомневаюсь. Это не роман, хотя здесь имеется «любовное привходящее», но только как боковой момент; это и не повесть приключенческого типа, хотя здесь есть кое-что от авантюры.

Вернее всего это произведение можно было бы назвать дневником (хотя оно и не помечено датами) — дневником оттого, что события с некоторыми отступлениями записаны хронологически и чувствуется, что их ведет одно лицо под углом личных переживаний. Кстати, первые две главы намеренно переданы автором в виде дневника с протокольным уклоном.

Повесть эта подкупает не одним протоколированием событий, свидетелями которых были многие из нас: этого было бы недостаточно, чтобы признать ее ценной. Эти непритязательные записи с редкой глубиной, теплотой и правдивостью раскрывают перед нами частицу механизма революции, совершенно не прикрашивая ее «фальшивыми» красками. И хотя в книге нет «своего языка» и даже сюжет нам давно знаком (партизаны и белые), но все-таки повесть оставляет сочное и порой даже сильное впечатление.

Таких сильных моментов в повести попадается немало. Так, напр., веет глубокой трагедией революции от сцены в санатории, где лечатся развинченные ответработники-партийцы.

«Трое больных истерически всхлипывали. Один бился в припадке на ковре. Другой — высокий, худой—стоял на коленях у зеркала с закрытыми глазами...»

Это не описание дома для умалишенных, а санатория, жизнь которого на миг была выбита пустяковым моментом: один проиграл другому в шахматы.

Трагедией веет также от простых, безыскусных слов старика-крестьянина, у которого казаки изнасиловали дочь. Ко всему этому нет в этой повести того, что все благополучно, что все красные «спасены»; нет прилизанных мест, от которых разит лживой натянутостью. Люди, как люди — не штампованные на фабрике «Красный борзописец»: — военком, который боится смерти (стр. 98), красноармейцы и партизаны, ропщущие на недостатки; любовь, ревность — все это настоящее.

Здесь также немало шуток и остроумных выражений.

Есть, конечно, некоторые недочеты, которые слегка отравляют общее благоприятное впечатление. Так, напр., разговор эсера-доктора с больным коммунистом (стр. 24) не вполне правдив; веет бутафорией от тайного заседания белых; нет правдивых красок в передаче сна большевички-Фени (стр. 70): уж слишком связный и стройный сон; не нужны некоторые биографии, рассказываемые самими участниками: эти биографии надо давать 2—3-мя штрихами, словами и между прочим, а не отдельными частями, ибо мы уже научились по нескольким фразам определять удельный вес субъекта.

Самым основным недостатком надо считать растянутость 2-й части, так как это сильно замедляет темп повести. Здесь идут повторения, здесь идет уже оформление любовных концов, и повесть сбивается на понижение. Главой 4-й можно было бы дать заключительный аккорд, нисколько не заботясь о прилизанном конце повести.

Может быть, имеются еще недочеты, но, когда повесть читаешь, не отрываясь от нее, — это уже лучшая рекомендация, и мелкие недочеты можно простить.

Виктор Якерин.

А. Лежнев. Вопросы литературы и критики. Изд-ство «Круг». М.—Л. Стр. 214.

В рассматриваемой книге автором собран и объединен ряд статей и отзывов, напечатанных им за последние 3—4 года в разных местах (журналы «Печать и Революция», «Красная Новь», альманах «Наши Дни» и т. д.). Первая часть книги заключает в себе шесть статей теоретического порядка и два отзыва о книгах Чужака и Горлова. Вторая содержит критические наброски о «Перевале», Есенине, Сейфуллиной, Эренбурге, «Барсуках» Леонова и последних произведениях Горького. Первый отдел занимает три четверти общего числа страниц, и его статьи доминируют в книге, определяя ее заголовок. В них автор своевременно отзывался на более острые проблемы текущей литературно-критической жизни, на теоретические позиции других ее представителей, и поэтому почти все они носят полемический характер.

Автор хорошо ориентирован в классической литературе марксизма и в затрагиваемых вопросах твердо стоит на ее позициях, убедительно возражая своим теоретическим противникам. Последними, главным образом, являются представители «Лефа». В статье «Из истории марксистской критики» автор сообщает о полемике среди немецкой социал-демократии в 1910—1912 г.г. по поводу литературного наследства и пролетарского искусства, имеющей много аналогий с нашими современными спорами, и присоединяется к позиции К. Цеткин: «пролетарское искусство входит в общую цепь культурной преемственности, связываясь при этом не столько с ближайшим к нему по времени искусством, сколько с искусством классическим». В статье «Плеханов как теоретик искусства» автор, возражая Л. Д. Троцкому, характеризует Плеханова не как критика-публициста, а как основателя научной эстетики, изучающей законы искусства, и излагает проблемы, им разрешенные. В статьях «Леф и его теоретические обоснования» и «Пролеткульт и пролетарское искусство» он убедительно показывает слабость и запутанность теоретических позиций «Лефа» и «Горна» и т. д.

Однако все это уже было напечатано, являлось откликом на злободневные темы и имело, главным образом, полемический смысл. Вопрос в том, нужно ли собирать теперь эти статьи в особую книгу и имеет ли она актуальное значение? Острота многих затронутых в ней вопросов несколько притупилась, иногда совсем исчезла, — «Лефа» больше нет. Думается, что книга небесполезна: под злободневной полемикой в ней вскрывается ряд проблем литературной критики, не потерявших своей актуальности, и решение их в общем последовательно и верно. Но все-таки нельзя не пожалеть, что автор, издавая целую книгу, не постарался выдвинуть эти проблемы более четко и более углубленно проработать ответы на них, уже не отвлекаясь полемикой, не стесняясь размером журнальных статей. Автор указывает, что марксистская критика еще не достигла степени науки, но что она должна ею быть. Она имеет поэтому много неразработанных, едва намеченных вопросов. Автор имеет все данные, чтобы в книге, специально посвященной этим вопросам, хотя бы поставить их во весь рост.

Каково взаимоотношение научной критики и литературоведения? В чем конкретно должно состоять усвоение старого искусства и верен ли второй тезис статьи Циммера, противопоставляющий художественность и тенденцию, к чему присоединяется автор, в диалоге о Сейфуллиной считающий их адэкватными? Как сочетать друг с другом учения об эмоциональности и образности искусства и верно ли, что, рядом с этим оно есть «деятельность, направленная к удовлетворению эстетических потребностей человека»? Верно ли, что говоря о социологическом и формальном анализе, Плеханов не подразумевал именно эту их последователь-

ность? и т. д. Повторяем, в полемических статьях всего этого можно было коснуться мимоходом, — от книги хочется ждать большего.

Второй отдел книги, посвященный критической практике, показывает, что теоретические исследования автора не висят в воздухе, что он с успехом избегает догматического и импрессионистического обращения с художественным материалом, особенно удачно используя диалогическую форму.

Г. Поспелов.

П. Н. Сакулин. Синтетическое построение истории литературы. Кооперат. изд-во «Мир». М. 1925 г. Стр. 93, с прим. 116.

Книжка представляет собой последнюю заключительную часть (XV очерк) большого труда «Наука о литературе, ее итоги и перспективы». Она выходит ранее почти всех предыдущих очерков, за исключением XIV: «Социологический метод в литературоведении», которые должна собой завершать. Об остальных 13 мы знаем только их заглавия, указанные в предисловии обоих вышедших очерков, сами они должны еще постепенно появиться. Помимо вступительного очерка, все сочинение делится на две части: в первой 9 очерков; там трактуются проблемы поэтики, поэтической формы, звука, как ее элемента, поэтических слова и образа, композиции поэтических речи и произведения, литературной морфологии, литературных стилей. Во второй части 5 очерков: о процессе восприятия поэтических произведений, о литературной критике, о историко-литературных методах и два уже вышедшие. Имея все это только в проекте, на основании заключительного выпуска еще невозможно, конечно, иметь обоснованное суждение о том, каковы реальные результаты и осуществления большого замысла, какова их общая, в частности, практическая стоимость. И хотя рецензируемый очерк— итог всего предыдущего и к нему трудно относиться иначе, приходится его рассматривать скорей изолированно.

В книжке восемь глав. В первой же автор говорит о необходимости синтетического построения, которое «должно удовлетворять трем условиям: 1) оно охватывает литературу во всей сложности образующих ее элементов, 2) последовательно проводит известное единство методологических принципов и 3) дает органически цельную картину всего процесса литературного развития». В дальнейших главах он развивает это, указывая на необходимость: единого методологического фронта во всех областях литературоведения, применения синтеза формы и содержания в работе любого объема, определения всех элементов литературной жизни, изучения всех ее слоев. Далее он говорит о необходимости типологических обобщений, при которых не надо забывать и индивидуальное творчество, о принципах периодизации, наконец, о возможности номологических обобщений, из которых, примерно, намечает законы: противоположностей и скачков, исторической инерции, сохранения творческой энергии, внутреннего единства.

Самая тема разбираемого очерка—синтетическое построение истории литературы — вызывает к себе, рядом с исключительным интересом и вниманием, большую долю недоумения. О каком синтезе идет речь? Можно ли говорить о нем? Есть ли что синтезировать? Это недоумение невполне разрешается даже и по прочтении книги. Оказывается, что автор имеет в виду главным образом синтетическое построение историко-литературного курса, не больше. В первой главе, указывая на разветвление специализации и методологический разнобой, он считает своевременным подумать именно о такой возможности и далее постоянно говорит о курсе, об его отделах, способах его изложения, даже об удобствах читателей; изложенные проблемы, главным образом, проблемы построения курса. Но рядом с этим в первой же главе он говорит: «Когда такой синтетический план, хотя бы в качестве рабочей гипотезы (курсив наш), будет стоять перед нашими взорами, он обнаружит наиболее существенные пробелы науки и подскажет те проблемы, которые еще ждут своего разрешения». И в других

главах нередко упоминается о проблемах, задачах, но о проблемах науки, а не «курса». Наконец, иногда автор говорит о синтетическом построении п р е д м е т а; так в послесловии: «...когда историк литературы приступает к построению с в о е й н а у к и в ц е л о м (курсив наш), перед ним одна за другой вырастают частные проблемы и требуют разрешения. Я поставил себе целью прежде всего собрать и систематизировать эти проблемы». И далее: «В настоящее время никто из нас не осмелится взять на себя синтетическое построение истории литературы во всем ее объеме. И если я сейчас говорю об этом как об очередной задаче, то единственно потому, что я хотел не только подвести итоги нашей науке, но и раскрыть ее возможные перспективы».

Итак, что же мы имеем: план научных работ, проспект курса или замысел синтетического построения... науки? Если это план, то ему место не в XV, а в I выпуске. Там удобнее было бы дать общую методологическую концепцию, чтобы потом на ее фоне рассмотреть итоги работ в частных проблемах из нее вытекающих, исходя из нее, наметить дальнейший их ход. Здесь же от всего предыдущего остались лишь «форма и содержание» (III гл.) да упоминание о социологическом методе; круг намеченных проблем очень беден и общ; о плане конкретной исследовательской работы нет ни звука; много говорится о том, что надо изучать, но ни слова о том, как это надо делать. Если это проспект к у р с а, то так и надо бы озаглавить книгу; при выполнении всех указаний автора курс, действительно, получится хороший: стройный, обоснованный, всесторонний. Но ведь всякий курс — п р о п е д е в т и ч е с к о е п о с о б и е к научной работе, и только. Отождествляя курс с наукой, автор влечет нас назад к тем временам, когда «курсы» играли большую роль в научной литературе и были основными работами большинства ученых. Это отождествление явно донаучно. Для получения хорошего плана курса не стоило бы выпускать целых 15 очерков теоретического порядка. Кроме того, этот хороший курс еще далек до осуществления; автор сам видит это, постоянно говоря о неизученности тех или иных областей, которые, однако, должны найти «органическое место в курсе». Наконец, предполагать, что это перспективы синтетического построения истории литературы в целом, «во всем ее объеме», да еще в качестве «очередной задачи», кажется невозможным. Если не разуметь под этим, опять-таки, развитой методологической концепции с разработанной системой понятий и приемов, или итогов целой сети исследовательских монографий, которая у нас почти отсутствует, то приходится понимать это, как «органически цельную картину всего процесса литературного развития». Под этим кроется, кажется, несколько статическое понимание научных задач, что подтверждается в Послесловии: «Выявить внутреннее единство литературного процесса на основе социологических и других номологических обобщений — вот та конечная цель, к которой должны быть направлены коллективные усилия историков литературы». Как мы бесконечно еще далеки даже от этой «конечной цели» в процессе, доказывает и то, что все номологические обобщения, предложенные автором, неизменно формальны. А картина литературного процесса должна быть, повидимому, конкретна. Автор указывает, что надо начать с установления единства в русской литературе, но его номологические обобщения применимы всюду. В перспективе, следовательно, выработка метода.

Так кружится и двоится мысль в процессе чтения. Быть может, причиной этому является отсутствие предыдущих тринадцати выпусков. Быть может, автор даст там много нового для науки, хотя там и обещаны итоги, и тогда заключительный выпуск покажется стройнее и понятнее. А пока мы стоим между «курсом», методологическим планом и «органически цельной картиной всего процесса», не удовлетворенные ни одной из этих возможностей, не зная, что предпочесть.

Но несмотря на это, а может быть, и еще более поэтому, тем, для кого писалась книга, — молодым ученым и учащимся — она и весь труд в целом дадут очень много. Как ни смутно намечены, видимо, «перспективы», за «итоги» автора

надо благодарить. В книжке по каждому вопросу дана его история, привлечены не только русские, но и европейские ученые, проведены параллели, сделаны сопоставления. Обращено внимание на науку в целом, на необходимость уяснения ее путей и задач. В этом бесспорная ценность труда. Неясность рецензируемого очерка не губит его, она будит мысль, ставит проблемы, заставляет яснее разбираться в общей концепции науки и ее частных задачах.

Генн. Поспелов.

Оскудение белой юриспруденции.

(Archiv der Sozialwissenschaft und der Sozialpolitik, B. 52. H. I. Tubingen. Сборник статей, посвященных П. Б. Струве ко дню 35-летия его научно-публицистической деятельности, Прага 1925.)

В советской печати появились кое-какие сведения об изданных эмигрантской профессурой книгах по вопросам действующего советского права. Сведения эти, к сожалению, слишком отрывочны, а между тем стоило бы уделить больше внимания самому факту интереса, проявленного белыми учеными к советскому праву, за которым еще совсем недавно они отказывались признать какое бы то ни было значение права. Положение юристов-эмигрантов, правда, затруднительно. О каком русском праве могут они говорить Европе? Еще студентам, вынужденным посещать аудиторию русских университетов Праги, Берлина и др., можно толковать об уголовном праве по Уложению о наказании 1885 года и о полицейском праве по уставу благочиния и безопасности. Но ведь иностранных ученых эти законодательные памятники если интересуют, то лишь с чисто исторической точки зрения. А «представлять» какую-нибудь русскую науку права ученой эмиграции необходимо. И вот выход найден: общие юридические проблемы, о которых можно толковать вне времени и пространства, становятся излюбленным достоянием русской профессуры за границей.

Где-то в Остервике, маленьком городке Гарца, который и не на всякой карте попадается, отыскались издатели, согласившиеся издать упражнения эмигрантских ученых в качестве отдельного выпуска серии «Философия и право», озаглавленного «Русская философия права». Редакция этого выпуска поручена г. Новгородцеву, в настоящее время декану русского юридического факультета в Праге, совместно с приват-доцентом того же факультета г. Георгием Гурвичем. Книжка содержит следующие статьи: П. Новгородцева «О своеобразных элементах русской философии права»; Е. Спекторского «Русский анархизм»; Гурвича о «Величайших представителях русской философии права», каковыми автор признает Чичерина и Владимира Соловьева, и, наконец, Ландау о психологической теории права Петражицкого. Немецкая редакция серии, в лице мало кому известных Эмге и Рааба, предусмотрительно оговорилась, что никакой ответственности за содержание сборника не несет, и хорошо сделала. В самом деле, исключая Петражицкого, о котором особо, и Чичерина, авторы сборника остановили свое внимание на писателях, с правом имеющих очень мало общего. Новгородцев пишет о Достоевском, Спекторский — о Бакунине, Кропоткине Толстом, Гурвич—о Владимире Соловьеве. Правда, все эти писатели являются русскими, в полном значении слова, мыслителями, чего нельзя сказать о заквашенном на гегельянстве умеренном либерале Чичерине. Зато больше сомнения возбуждает отнесение к русским ученым Петражицкого, ныне украшающего, если не ошибаюсь, Варшавский университет. При том же и первые крупные работы этого автора, как «Lehre von Einkommen», появились на немецком языке. Но, конечно, нельзя отказывать пражским авторам в праве заткнуть именем Петражицкого зияющую умственную пустоту, в которую вынужден глядеть читатель, ищущий юридического содержания в их сборнике.

Реферирующий эту книжку на страницах «Архива» г. Сергей Гессен вежливо изумляется, почему для характеристики русской философии права П. Новгородцев обратился не к специальным работам, а к сочинениям Достоевского. Но г. Новгородцев для сведения таких непонятливых читателей разъясняет, что Достоевский был величайшим знатоком русской

души и что, благодаря этому, он с особой отчетливостью мог начертать основы «русского миросозерцания» и заодно глубочайшие начала русской философии права. Г. Новгородцев не питает ни малейших сомнений в том, что и «миросозерцание» и «право» являются продуктами именно этой описанной у Достоевского русской души (какой именно: Федора Карамазова, Смердякова, капитана Лебядкина, «инфернальных» женщин?). Вопрос же, откуда взялась душа, как известно, давно разрешен в том смысле, что она от бога, и здесь г. Новгородцев стоит не на песке материалистической науки, а на несокрушимых устоях религии. Соответствующим образом рисуются пражскому профессору и основные черты заложенной автором «Идиота» русской философии права. Черты эти сводятся к следующему:

1. Высший общественный идеал — это свободное внутреннее единство всех людей, осуществляемое в законе Христа. 2. Путь к этому единству лежит через самообновление каждого отдельного человека, достижимое лишь при помощи божией благодати; попытки осуществить общественный идеал без бога обречены на неудачу. 3. Право и государство—лишь вспомогательные ступени на пути к идеалу. Сами по себе они не могут преобразовать жизнь общества, а могут лишь приблизить его к высшей ступени, каковой является церковь. 4. Право и государство должны почерпать свое содержание в любви, как главнейшем завете господа. 5. Поэтому и общественная гармония не может мыслиться, как продукт естественного органического развития. Мир придет к ней через чудесную катастрофу, которая послужит к искуплению грехов человечества. Перестроить мир силами одного разума невозможно; земной рай без бога — жалкая, хотя и постоянно повторяющаяся утопия. Г. Новгородцев предвидит разного рода возражения против этой... теории, но он заранее победоносно опровергает их указанием, что приведенные суждения полностью отвечают идеям русского народа и что находят они живейший отклик в русских сердцах. Даже г. Гессен не мог пройти хладнокровно мимо этой галиматьи и отметил ее жирным восклицательным знаком. Нам остается лишь пожалеть доверчивых немецких издателей, поверивших в серьезные намерения пражского декана. И если б еще у них осталось хотя твердое убеждение в благочестии и добролюбии русского народа, а то сотрудник г. Новгородцева проф. Спекторский непосредственно вслед за редакторской статьей решительно заявляет, что русский народ привержен к анархии и к анархизму.Такой мыслитель, как Вл. Соловьев, ценивший и любивший государственность, представляется г. Спекторскому исключением из общего правила. С последней точкой зрения несогласен, повидимому, третий автор, г. Гурвич, немецкому же читателю остается лишь недоуменно развести руками и погрузиться в размышления об истинных свойствах русского народа. Будем надеяться, что в этом случае читатель найдет какой-нибудь более надежный источник для осведомления.

Писания г. Новгородцева и его товарищей были бы сами по себе мало любопытны, если бы не выражали некоторого социологически интересного факта, а именно — полного идеологического опустошения русской ученой эмиграции. Она совершенно утратила какие бы то ни было классовые корни. Болтовня о «русском народе», разумеется, просто смешна. Но даже та часть буржуазии, которая нашла за границей приют для своих капиталов и вожделений, вряд ли усмотрит что-нибудь ценное в старческом сюсюканьи пражских идеалистов. Тридцатипятилетний юбилей г. Струве, дата весьма заметная в развитии русской буржуазной мысли, мало способствовал укреплению научного тонуса этих людей. Любопытно, что г. Ильин, человек при всем своем мракобесии бесспорно талантливый, счел возможным для юбилейного сборника, вышедшего в 1925 году, предложить свою статью «О принятии права», написанную в 1916 году. Этим сроком написания объясняются, повидимому, некоторые фразы, попадающие не в тон всему сборнику. В одной из них упоминается неизвестно чья «хищная и властолюбивая душа», которая «попрежнему ищет себе илота и находит его в лице неорганизованного пролетария, колониального инородца или беззащитного иностранца». Это звучит чуть ли не революционно, но

пугаться и удивляться преждевременно. Задача г. Ильина — утвердить свободное приятие права, как духовной ценности, а отнюдь не как организованной силы, ибо силовое понимание права есть продукт правосознания озлобленного раба, покорствующего свистящей над его головой плети.

Г. Изгоев, вопреки принятому в литературе взгляду, находит, что общинное право не только не коллективное, но и не коллективистическое. Оно есть право индивидуальное, управомоченным лицом при котором является не «мирской сход», а домохозяин. Г. Изгоев твердо убежден, что логическим продолжением и завершением этого права должно явиться — и явится — право полной неограниченной собственности на землю. Он указывает, что по начертанному логикой вещей пути вынуждены двигаться и «коммунисты», своей политикой землеустройства и допущением выдела на хутора продолжающие... политику Столыпина. Г. Изгоев надеется, конечно, что не коммунистам будет принадлежать честь окончательного водворения столыпинских земельных порядков. Но, в отличие от монархистов и дворянских организаций, этот идеолог буржуазии хочет иметь свободными руки на аграрном фронте. «Бывшее нельзя объявить небывшим», соглашается г. Изгоев.

«За крестьянами необходимо признать прочное право «навечно» на то количество земли, которое фактически находилось в их владении к определенному моменту». Остальное довершит разумная и свободная воля собственника.

Статья Изгоева имеет по крайности то достоинство, что ее можно понять. Значительно хуже обстоит дело с г. К. Зайцевым, питающим русское студенчество в Праге наукой административного права. Этот писатель готов согласиться, что государство укоренено «в мире социальных явлений, в мире фактов». Но отсюда он немедленно делает вывод об укоренении государства и в мире идеальном. Дальше поясняется, что государство есть единство лица, но единство не простое, а двоякое: «не всегда и не только оно есть субъектное, слагающееся, становящееся изнутри, это вместе с тем есть и единство объектное, предметное, образуемое извне, единство извне творимое и промышляемое».

Г. Гронский, в результате сделанного на 9 страничках книжки анализа, приходит к следующим, весьма интересным выводам: 1) Советский Союз не есть Федерация; 2) он не есть также государство; 3) что такое Советский Союз, в сущности, неизвестно. В самом деле, как можно считать государством организацию, части которой имеют право свободного выхода из нее в любое время, и которая, с другой стороны, в любое же время готова принять в свой состав всякую вновь образовавшуюся советскую республику?

Одним словом, не государство, а китайские тени.

Так утешаются белые юристы за границей. В нашей литературе неоднократно отмечались факты идеологического распада буржуазной юриспруденции на Западе. Но нельзя и сравнивать, скажем, французскую литературу права с писаниями наших эмигрантских юристов. В первой чувствуется мощь и уверенность класса, пусть дряхлеющего, но все еще достаточно сильного. Писания наших эмигрантов отдают запахом тления. Здесь все в прошлом. Да будет им земля пухом!

И. Ильинский.

Редакционная коллегия: А. Воронский. В. Сорин. Ем. Ярославский.

Издатель: Государственное Издательство.

Адрес редакции: Москва, Кривоколенный пер., 14. Тел. 5-63-12.

СОДЕРЖАНИЕ

За рубежом:

От земли и городов:

Литературные края:

Критика и библиография: